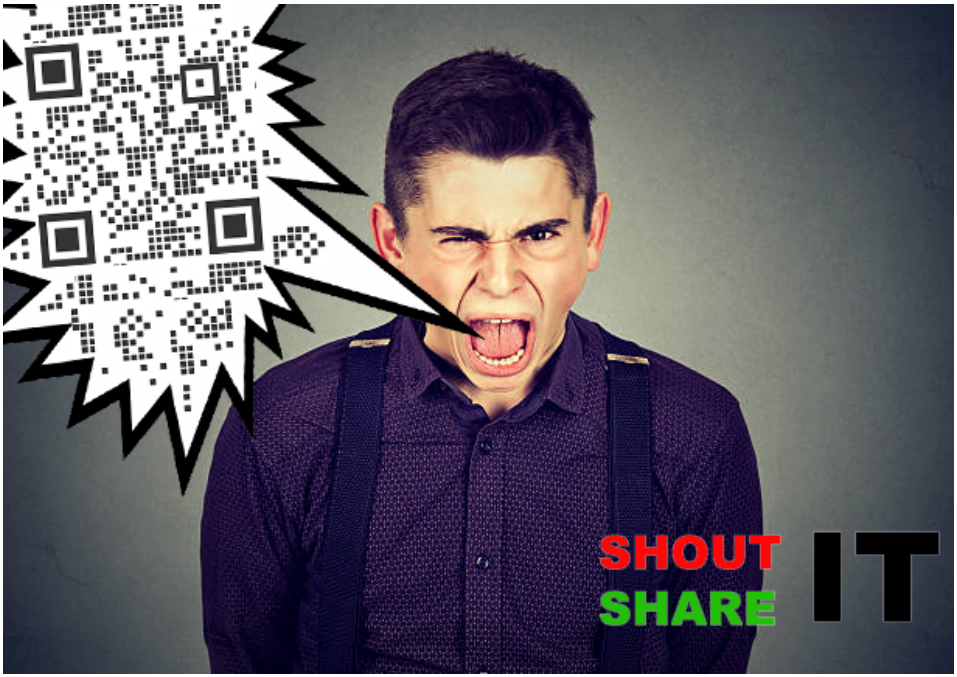
Беспризорники коммунизма
Я твой бессменный арестант

Илья Поляк

CreateSpace


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В основе автобиографической повести «Я твой бессменный арестант» — воспоминания Ильи Полякова о пребывании вместе с братом (1940 года рождения) и сестрой (1939 года рождения) в 1946–1948 годах в Детском приемнике-распределителе (ДПР) города Луги Ленинградской области после того, как их родители были посажены в тюрьму.

Как очевидец и участник автор воссоздал тот мир с его идеологией, криминальной структурой, подлинной языковой культурой, мелодиями и песнями, сделав все возможное, чтобы повествование представляло правдивое и бескомпромиссное художественное изображение жизни ДПР.

- Илья Поляк
  -
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27

- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- Выдержки из рецензий
- Автобиография

Илья Поляк
Я твой бессменный арестант

Автобиографическая повесть

Огрызок этой повести был опубликован в журнале «Октябрь», № 1, 1990 под названием «Песни задрипанного ДПР» и был включен в список 100 лучших книг всех времен в жанре «автобиография», см: http://www.100bestbooks.ru/index.php?

tag_id = 123

Книгу можно купить: http://www.ozon.ru/context/detail/id/16688058/

1
Половодье

В полусонном сознании стыло ощущение надвигающегося несчастья, и только когда пригородный поезд нервно задергался, загромыхал буферами, притормаживая у высокой платформы, притаившийся страх ожил и побежал ознобам по телу. Выбираясь из душной утробы вагона, я пытался усмирить частые толчки сердца и подрагивание пальцев, преодолеть сминавший меня трепет.

Остатки дорожного оцепенения развеял серенький осенний денек, дохнувший в лицо освежающим, попахивающим гарью ветерком. Поток пассажиров, запрудивших перронное русло, подхватил нас и, омывая здание вокзала, понес к массивным чугунным воротам.

Вплотную за женщиной в линяло-бордовом пальто, тянувшей за руку моего брата, я вел сестренку. Иной раз мы натыкались на мягкий широкий зад женщины, и тогда кисловатый запах пота, вазелина и лекарств заползал в ноздри.

Необходимость быть внимательным в толпе и плывущее над ней слитное шарканье множества ног несколько отвлекли от муторной внутренней сосредоточенности на постигшей нас катастрофе.

За воротами поток пассажиров распался и освободил нас. Мы свернули в узкий проулок, сжатый огромными зданиями, и неожиданно вырвались из путаной людской сутолоки. Рядом вокзал, лязг вагонов, шипение и кашель паровозов, возбужденная круговерть толпы, а здесь безлюдье и затишье.

Из-за угла проулка двое, мужчина и женщина, вывели маму.

— Прощайтесь, — спокойно приказал мужчина и обратился к провожатой в бордовом пальто: — На Песочную?

— Да, — коротко кивнула она. — В Кресты?

— Да.

И в том, что маму везли не вместе с нами, а в другом вагоне, и в том, что остановились мы по-видимому в заранее обусловленном месте и даже в деловито кратких репликах взрослых чувствовалась обыденность и скука привычно свершаемого ритуала.

Едва сдерживая рыдания, мама с лихорадочной торопливостью прижимала к груди маленькие головки сестры и брата, целовала их исступленно, безудержно. Потом повернулась ко мне. Темный с проседью завиток спадал на ее лоб. И сейчас же

свет и тьму заслонили огромные, полные прозрачных слез глаза. Невыносимая боль билась в них.

Эта давняя, застывшая в памяти боль иногда оживает, разгорается, выжигая горечью и печалью случайные ростки безмятежности и благодушия. Как будто рядом дрожащие губы безнадежно шепчут:

— Ты теперь старший. Смотри за ними!

— Время! — звенит неумолимый возглас, и немые спины заслоняют искаженное болью лицо. Три темных, сливающихся силуэта плывут на фоне белесого неба и вдруг пропадают за серой стеной. Все! Лишь недобрая пустота в груди, мамины слезы на щеках, да море равнодушия в глазах сопровождающей.

На остановке трамвая в меня пытливо вглядывались две пары родных встревоженных глаз. Я держался, не пикнул, хотя слезы были близки. Я держался и тогда, когда красный вагончик с металлическими барьерчиками-дверьми покатил вдоль нескончаемой череды домов. Барьерчики были составлены гармошкой у входа. В открытые дверные проемы тянуло сквозняком.

Плакать стало поздно. С непролитыми слезами и непогасшей тревогой было неуютно и боязно, словно над нами висело что-то огромное и тяжелое, готовое в любой момент сорваться и расплющить в лепешку.

Скверное чувство давило с раннего утра, когда мама хлопотала над нами, пичкала остатками черствого хлеба, натягивала слой за слоем разномастную одежонку. На меня поверх рубашки и свитера она напялила трофейную лисью шубейку, купленную по дешевке у демобилизованного солдата. Не терпелось поскорее добраться до места, скинуть горячую шубейку и свитер и взглянуть на новое обиталище, в котором предстоит жить долгие годы. Пытаясь отвлечься от горьких мыслей, я принялся читать вывески. Читал по складам:

— Гас-тро-ном. Ап-те-ка, — это понятно. Но что такое Оптика? Наверное тоже аптека, ошиблись в написании.

Сестра притулилась рядам, посматривая мне в рот с доверчивым уважением. Читать она еще не умела и очень хотела научиться.

Людные жилые кварталы сменились заводами и пустырями. Проурчит грузовичок, вывернет легковушка, промелькнет одинокий прохожий, процокает ломовик. Мы сидели молча, пригорюнившись, и встрепенулись только однажды: в развалинах копошились пленные немцы.

Беспокойство ныло по-прежнему, и этот ковыляющий по

рельсам, притормаживающий с кошачьим визгом трамвай вытягивал последние жилы. Хотелось определенности и поскорее.

Утомленные и слегка обалдевшие, вышли на пустынной набережной у темной громады моста. Маслянистая темень воды зыбилась и вспухала буграми, полизывая замусоренный песчаный берег. Закопченный буксир со связкой плотов усердно выгребал против течения, густо дымил.

Табличка у проходной гласила:

ДЕТСКИЙ ПРИЕМНИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (ДПР)
УПРАВЛЕНИЕ НАРКОМАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (НКВД)

Вдоль просторного коридора выстроились два ряда белых больничных дверей. У одной из них мы понуро поджидали решения своей судьбы. Переговоры затягивались. До нас доносились препирательства: напористые, требовательные выпады провожатой и, пресекающие их, чьи-то ответные реплики.

Издалека выплеснулся глухой детский галдеж, и сразу же зачастила упругая топотня множества ног. Орава стриженых мальчишек высыпала в коридор и ринулась к одной из закрытых дверей, слипаясь беспорядочным плотным роем. Задние напирали, передние нетерпеливо приоткрывали дверь и совали в щель пытливые носы. Послышалось гулкое бряканье посуды, вкусно потянуло горячими кислыми щами.

Из толпы зазвучали выкрики:

— Снова щи, хоть портянки полощи!

— Битки в дверях, гуляш по коридору!

Столовая легко поглотила ребят, а к нам вышла расстроенная провожатая с незнакомой женщиной. Женщина размахивала рукой и убежденно доказывала:

— Начальство то же скажет. И приемник, и колония переполнены. На кроватях спят по двое. К тому же карантин. Не можем принять!

— Дождемся начальства. У меня направление. Не имеете права!

— Зря время теряете. Если бы одного привезли.

— Так маленького возьмите. Он устал, спать хочет. С утра маемся.

— Еще с блокады было указание: братьев и сестер не разлучать!

— Дак то про блокадных сирот, а эти …

— Не можем, поймите! Дети пусть во дворе подож дут, здесь нельзя.

Неопределенность сгущалась, но в пререканиях женщин не

было ничего пугающего, бросить нас на произвол судьбы они не намеривались. Тревога пряталась во мне, и заботы взрослых с их нервозностью и желанием отделаться от нас во что бы то ни стало на нее не влияли.

Темная туча с белой рваной каймой волочилась низко над крышей. Ветер гулял в вышине, но к нам во двор не задувал. Провожатая куда-то скрылась, и мы одиноко скучали на скамейке напротив широкого балкона, огражденного балюстрадой с лепными балясинами.

Балкон поначалу пустовал, но вскоре туда просочилась группа девушек в серых одинаковых платьях. По-видимому, девушки оставили открытой дверь во внутреннее помещение. Оттуда послышалось тягучее пение:

> … А по углам четыре башни, посередине дом большой.
> Это не дом и не больница, а настоящая тюрьма.
> Сидел там мальчик православный, да лет семнадцати дитя.

Голос звучал так чисто и жалостно, что я невольно привстал и открыто глянул на женские фигурки, теснившиеся на балконе. Одна из девушек, перехватив мой любопытный взгляд, скорчила гримасу, сопроводив ее неприличным жестом. Я смущенно отвернулся и, не поднимая головы, сосредоточенно вслушивался в печальную, безнадежную песнюплач.

> Вот захожу я в перву залу, и что ж я вижу пред собой?
> Сидит там мать моя родная и заливается слезой.
> Вот захожу в другую залу, и что ж я вижу пред собой?
> Сидит она, моя халява, и все смеется надо мной.
> Смейся, смейся, б… худая, все докладывай суду,
> Как приду дак покараю, а сам опять в тюрьму пойду.

Девушки на балконе тихо подпевали красивому, долетавшему из глубины комнаты голосу. За первой песней слаженно и мягко полилась другая:

> Я живу близ Охотского моря,
> Где кончается Дальний Восток.
> Я живу без нужды и без горя,
> Строю новый стране городок.

— Колонистки, обедать! — прервал песню повелительный окрик.

Балкон опустел.

Провожатая пришла рассерженная, взвинченная. Видимо превозмочь начальство не удалось, и, оказавшись на пустынной набережной, мы подхватились и заспешили куда-то.

Мы скоро сопрели под тяжестью маминого облачения, шумно дышали. Шажок за шажком неуклюже косолапил короткими ножками братишка. Сзади с трудом поспевали мы с сестрой.

Обедали в милиции, остальное время потерянно мотались по Ленинграду на трамваях. Побывали ещё в двух ДПР, и в каждом раскаленная неудачами провожатая требовала и упрашивала зачислить нас. Но везде не хватало мест, везде ее напористость и запальчивые угрозы натыкались на непробиваемый карантинный барьер. Начальники всех ДПР как будто сговорились ни за что не принимать нас.

— Вот морока! Свалились на мою голову! — негодовала озабоченная женщина, устало отдуваясь и вытирая лоснящееся от пота лицо. — Куда вас девать? Одного бы давно спихнула.

Мы потерянно и робко жались друг к другу. Братишка совал мне горячую ладошку, а в трамвае прикорнул у моего плеча. Сестренка выжидательно заглядывала в глаза, молчала понимающе: виноваты, ничего не поделаешь.

Поздним вечером при последнем издыхании, в полусне добрались до нашего дачного поселка и заночевали в детской комнате милиции.

Следующие два дня были безотрадной копией первого: сурово и беспристрастно выпроваживали нас из переполненных, отгороженных карантином от всего мира приемников.

Брат умаялся и ныл, когда приходилось топать пешком. Скисла и похныкивала сестра. Я держался на одном самолюбии старшего. Понимал, стоит распустить нюни, и брат с сестрой поднимут неукротимый вой. Но и я чувствовал себя скверно. Изматывающая одурь туманила сознание. Впервые мы оказались бездомными и незащищенными. Впервые мама не хлопотала рядом, не прикрывала нас как большая сильная птица. Ощущение пустоты и открытости не давало покоя. Нас выставили напоказ со всем нашим позором и беспомощностью: вот она сопливая троица матери-арестантки. Смилуйтесь, возьмите в приемник. В ответ одно:

— Мест нет!

Отторжение казалось непреодолимым, и нам дозволили отдохнуть. Проведенный в детской комнате день запомнился обильной кормежкой и мордатыми, благодушными

милиционерами. Они вызывали доверие и чувство безопасности. В столовой меднолиций дядька приволок полный поднос тарелок с дымящейся кашей и хлебом и не выпустил из-за стола, пока еда не была истреблена. Горячая тяжесть в раздувшемся животе нагоняла тупое удовлетворение; если так будут кормить — жить можно!

Горемычной стайкой бродили мы по желтым улочкам, пока не притопали к дому, где жили всего три дня назад. Нашу убогую клетушку опечатали. Никто с нами не заговорил, даже не улыбнулся, — лишь невидящие взгляды вскользь, в спину. В этом знакомом мирке мы оказались чужими и ненужными. Если бы не дворовая псина, то хоть вой. Только она взорвалась невоздержанной радостью, ласкалась и целовалась как с близкими, и так усердно махала хвостом, что весь зад крутился за ним. Она увязалась следом и, понурив морду, до вечера добровольно таскалась за нами. Псовая доброта согрела нас последним теплом невозвратных дней.

У милиции столкнулись со знакомой дворничихой.

— И вы тута? — удивилась сердобольная женщина. — Утресь матку вашу встретила. Который день в родной КПЗухе. Местов в тюрьмах нетуть. Вот беда-то!

Мы бросились к предвариловке, но напрасно, туда нас не пустили.

От безделья и сытости рано завалились спать. Я долго лежал неподвижно, слушая легкое сопение брата. Что-то болело, никогда не болевшее, и охваченный неодолимой тревогой, я пытался уловить в ночи хоть тень определенной успокаивающей надежды. Мысли полнились цепью неотвязных сожалений о возможных, но не осуществленных во время, планах спасения. Я не корил маму, ее абсолютная невиновность не отделима от моего существа, моей жизни, но казалось, катастрофы можно было избежать. Нужно было уехать. Знакомые советовали одно: скройтесь на время. Но уезжать было не на что и некуда.

Ночные звуки шарили в душе, и не было сна, только хватающая за сердце неясная боязнь да отголоски пререканий:

— Карантин! Не можем принять, не можем!

Я зарылся с головой в одеяло, но от недобрых голосов не избавился. Они овладевали сознанием, раздергивали мысли. Слепая, непостижимая, исполинская сила ворвалась в нашу жизнь. Мы остались без мамы, и от этого никуда не уйти, в этом зловещая суть, отсюда гнетущее чувство утраты и открытости. Вокруг вроде бы ничего не изменилось, и лишь мы переступили невидимую черту, и возврата в старый мирок нет. В недосягаемом прошлом растаяли, распались привычные будни, впереди

неизвестность. Вот и не верь поговорке: от тюрьмы и от сумы не отрекайся.

Утром наша унылая, осточертевшая всей милиции компания пополнилась двумя мальчишками и маленькой цыганочкой. Поспешные сборы, и поезд снова помчал нас на поиски приюта.

2
ДПР

— Здесь очень трудные дети, — говорила начальница ДПР провожатой. — Добрая половина из концлагеря, бывшего во время оккупации неподалеку. Некоторые из неметчины вернулись. Понимаете, какова обстановочка? Может передумаете, другой приемник поищите?

— Что вы! В ленинградских карантин. И мест нет.

— И у нас нет. Ума не приложу, как новеньких устроить.

— Берите, обратно с ними не поеду!

— Документы на всех есть? — сдалась начальница.

— Пожалуйста.

Мы устроились рядком на обшарпанном кожаном диване. Сидели скованно, не ерзая; чуть шелохнешься, его продавленная утроба недовольно взвизгивала.

Допрос учиняла начальница. Белый халат плотно охватывал ее дородную стать, студень необъятных грудей разлился по письменному столу, по пачкам разлинованных анкет.

— Фамилия? … Имя?… Кличка? … Происхождение? … Национальность?… Был в колонии? … Кто из родственников был под судом и следствием?… Был ли в плену или на оккупированной территории? … Где родители? …

Обычная анкета, не всегда понятные и потому казавшиеся каверзными вопросы, въедливая манера выспрашивания. Запнешься, холодные капельки глаз хмуро выстреливают в тебя; плоское, с выпирающими скулами-картофелинами лицо подозрительно замирает, напоминая стоящий в углу металлический сейф. Начальница листает документы, сличает, медленно шевелит мясистыми губами, вырисовывая каждую буковку.

Допрос не был в диковинку. Чем-то подобным меня пытали и не однажды, и в школе, и еще раньше. Но сейчас пронизанность несправедливостью и позором порождала обрубленные и ущербные мысли, словно мне судьбой предназначено вечно трепетать перед исконной праведностью и чистотой клана вопрошающих.

Безотчетная антипатия к недоверчивой женщине овладевала мной. Я робел под ее неуютным взглядом, боязливо поджидал роковое слово «тюрьма» и не мог уразуметь, что значит «оккупированная»? То же, что и блокада? И о родственниках мало что знал. О некоторых слышал от мамы и, кажется, один из них,

или из знакомых, был осужден. На вопрос о родственниках, замирая от стыда, отрицательно качнул головой. Тут же пожалел: разнюхают, нагорит за вранье.

У девятилетнего мальчишки, Толика, мама тоже сидела в тюрьме, и это несколько ободрило и успокоило меня. Пацан постарше, по кличке Дух, удрал из какого-то приемника.

Порой начальница прерывала допрос и надолго исчезала. Оформление тянулось нудно, как строгий обряд посвящения в неведомое праведное братство.

Я прел в лисьей шубе, поглядывал в окно и думал о необходимости немедленно выслать тетке наш адрес, как было условлено с мамой.

Прикатили мы в город с час назад.

— Вытряхивайтесь живее! Стоим минуту, — подгоняла нас проводница.

Дружно сыпанули с высоких подножек. Осмотрелись. В отдалении два-три пассажира с баулами и сумками неспешно уползали прочь. На месте станции возвышалась бесформенная груда битых кирпичей и прилаженный среди них кусок фанеры с надписью «ЛУГА». Вдоль запасных путей ржавели горы путаной колючей проволоки, лома, причудливо выгнутых рельс, изуродованные останки паровоза и голые каркасы сгоревших вагонов. Такого мне еще видеть не доводилось.

Голодные и усталые, нестройной стайкой разномастных щенят побрели мы немощеными пыльными улочками полуразрушенного города.

Рваный лик войны проглядывал отовсюду. Квартал разметанных взрывами строений краснел обширными россыпями битого кирпича. Черные проплешины застарелых пепелищ с закопченными культями печных труб щетинились реденьким бурьяном и прущими вверх ярко сиреневыми цветами. Одичавшие палисадники заросли густыми кустами облетавших акаций и непролазными дебрями бузины.

Кое-где в этот хаос вторгались расчищенные островки огородов с белевшими венцами новых срубов и ребрами непокрытых стропилин. Попахивало смолистой мякотью свежетесанной сосны. На задворках на ветру полоскалось стиранное белье. Под окнами широко ржавели помойки. В них копошились грязные поросята и куры.

По расхлябанному настилу деревянного моста мы перешли затянутую водорослями речушку. Блекло рыжие камыши и серая осока сбегали к самой воде.

Сразу за мостом на пологом береговом склоне раскинулась

обширная усадьба, обнесенная редкой городьбой зеленого штакетника. От скособоченных, широко раздвинутых ворот дорога вела в глубь двора к двухэтажному деревянному дому с нависшими над крышей кронами деревьев. Дом примостился на взгорье, на самом его гребне, тяжело придавив грубо тесаные камни фундамента.

По периметру двора разбрелись неказистые подслеповатые постройки. Крохотная халупа, рубленная из толстых черных бревен, жалась к оградке слева от ворот. На ее сколоченных из горбылей дверях висела продолговатая полоска бумаги с надписью: «ИЗОЛЯТОР». Из окна канцелярии эта полоска белела светлым пятном на потемневшем от времени дереве.

Пепельно-серый дом, обветшалые серые сараюхи, серая земля, усыпанная истлевающими серыми листьями, нагоняли серое отупение. Что б ни сулил нам этот дом, выбирать не приходилось, и я с надеждой подумал: только бы приняли.

Тем временем в канцелярию пришаркала согбенная старушенция с продавленной переносицей и запавшими глазами.

Покончив с трудами праведными и выудив из нас все до третьего колена, начальница приказала:

— Тетя Дуня, обработайте детей. Этих, — кивок в сторону сестры с братом и цыганочки, — в младшую группу.

Страхолюдина, — то и дело приходило в голову, пока расторопная тетя Дуня обрабатывала нас в баньке за домом. Блестящей машинкой она ловко и быстро облапошила всех наголо, потерла мочалкой спины, раздала чистое бельишко с черными расплывшимися штампами «ДПР».

Я избавился от горячей шубы и влез в серую казенную форму. Тоненькая бязевая рубашка с черными металлическими пуговицами и широченные шаровары из ситца сидели на мне мешковато, но чувствовал я себя легким перышком, способным воспарить к потолку. Сплющенные к носку кирзовые рабочие башмаки радовали новизной.

— В мешки с домашними пожитками не забудьте сунуть записочки с фамилиями, чтоб потом не искать, — чопорно гнусавила тетя Дуня. — Польта цепляйте на гвозди.

Я натолкал три мешка скомканными шмотками и внезапно затосковал: обрывки с фамилиями показались такими исчезающе маленькими; затеряются, — не найдешь.

В приемнике было две группы: мужская, для подростков школьного возраста, и младшая, для девочек и мальчиков дошколят. Двери обеих групп, также как столовой и коридора, выходили в зал, расположенный в центральной части первого

этажа. Здесь на отшкрябанных до белизны досках пола празднично поблескивало черным лаком пианино. Над ним в серебристой раме висела выцветшая картина с медведями.

Чувствуя холодок, струивший по стриженному влажноватому темени, я переступил порог группы. Она была пуста. Справа до самого потолка возвышалась обитая железом, круглая печка. Над чугунной дверцей топки расползлось прокаленное темное полукружье. Впритык друг к другу стояли растрескавшиеся голые столы со щелями, забитыми черной грязью. Оспины порезов, неприличных рисунков и похабных надписей испещрили каждый сантиметр их поверхностей. Разнокалиберные стулья и табуретки лепились вдоль облупившихся стен. Воздух пропах табачным дымом и был тяжел, как по утрам в зале ожидания вокзала.

Во всю противоположную от входа стену распростерлись широкое окно и стеклянная дверь, запертая снаружи на огромный, в рыжеватых потеках ржавчины амбарный замок. Окно и дверь выходили на открытую веранду с крыльцом. По-видимому раньше здесь был парадный вход.

За навесом веранды среди деревьев, кустов и цветочных клумб, обрамленных зубчатыми кирпичными бордюрами, ковырялись дети. Они сгребали палую листву и жгли ее на костре.

Мы не сразу заметили, что с порога нас пытливо обшаривает пронзительным взглядом светлоголовый шкет с кругляшками проплешек на темени и затылке, с белыми бровями и губами-ниточками на острой мордашке. Во взгляде его сквозили наглость и неприязнь, и я поспешно отвел глаза.

— Нагнали фитилей-заморышей, — буркнул он. — Спать то негде. Одно знают: всех впущать, никого не выпущать.

Комната полнилась возвращающимися с прогулки ребятами. Здесь было густо намешано пацанвы разного возраста, но большинство выглядело лет на тринадцать — пятнадцать. Выделялся один: здоровенный отечный увалень с тестообразным лицом, узким покатым лбом и всклокоченными лохмами черных волос. Он единственный не был острижен, и в первый момент я принял его за воспитателя, но тут же смекнул, что ошибся: из-под широких бровей его тлели бездумно-холодные, узенькие глазки.

— Эй, черти! — крикнул он нам. — Гроши есть?

Я замотал головой. Толик кротко заморгал. Ответил Дух:

— Есть на хрену шерсть!

— Где бегал?

— Везде! В Харькове.

— Да ну, халява! И я там бегал, глаз отдам!

На миг выражение его мятой физиономии оживилось. Он

неуклюже завертел черной башкой на короткой шее, как бы призывая окружающих ребят в свидетели такого удивительного совпадения. Внезапно спохватился и нахмурился недоверчиво:

— Заливаешь?! Божись!

— Сукой буду! Век воли не видать!

— Где там балочка, помнишь? — последовала проверка.

Дух сбивчиво растолковывал, как добраться в Харькове от вокзала до базара, а на лохматого верзилу нисходило довольство. Он окинул угрожающим взглядом группу и сказал Духу:

— Никого не боись. Тронут, ко мне бежи!

— Э, волки! Позырьте! Ну и рубильник! — гуднул над ухом прозорливый светлоголовый шкет и нахально ткнул пальцем в мою выразительную носопыру. — Откеда, красивый?

Тоскливо засосало под ложечкой, я не мог собраться с мыслями и молчал.

— Он еврей, лягавым буду! — опеределил меня Дух. — Ни бе, ни ме не понимэ!

— Ха, жиденок к нам затесался, — глумливо застрекотал светлоголовый.

— Узя, Узя, блоха на пузе! — присоединился к поддразниванию лохматый. — Скажи: бхгынза!

— Что выставился, шлимазл заморенный? Лучше сто раз прошипишь пш-ш-шенка, чем один раз кукухгуза!

Острое чувство враждебного окружения охватило меня. И не зря. Лохматый скосоротился и, ухватив мой нос костяшками пальцев, больно дернул.

— Ходячий труп, тяни нос до губ!

Я ошарашенно, в панике отпрянул, отбив его руку.

— Да ты ярый, протокольная морда! Рыпаться?! — Он вывернул губы и громко рыгнул мне в лицо. — Только жидов нам не доставало!

Что-то оборвалось внутри: этот стопчет просто так, без повода, не подумав. И из толпы не вырваться, мы были обложены, как волчата. На лицах обступивших нас пацанов корчились беспросветно презрительные гримаски, одна враждебнее другой.

Грохнула распахнутая пинком дверь. В комнату влетел горбатый гномик да еще с отвисшим, тяжело нагруженным подолом, который он придерживал руками. Горбатый опустился в углу на корточки и вытряхнул на пол кучу мелкой, пыльной картошки.

— Никола, Педя, пособляйте! — с трудом переводя дыхание, позвал он оплывшего верзилу и светлоголового шкета. Они принялись торопливо прятать картошку за печку.

Я получил передышку. Ошеломленный приемом и

беспричинной скоротечной расправой, вытирал потекший нос и обидные слезы. Поташнивало, тряско подрагивали руки. Первое отчетливое побуждение — реванути погромче! Но начинать жизнь на новом месте с ябеды было неприятно. И некому жаловаться. Придется терпеть. Возможно, церемония знакомства состоялась, обряд соблюден и меня оставят в покое. А если не оставят? Приметили слабину и прохода не дадут.

Меня и раньше частенько дразнили Жидом, но исподтишка, в сторонке. Здесь же прозвучавшее открыто оскорбление садануло по ушам ударом бича, громыхнуло похлеще устрашающей матерной брани.

Лохматый Никола, безгубый Педя и Горбатый привольно расположились у печки. Явно заправилы: держались расхлябанно, как будто в комнате никого, кроме них, не было. Переговаривались громко, отрывисто, с грубыми взмывами хулительной похабщины и резкими развязными жестами.

— К нам Жид прибился, — с заметной угодливостью протрезвонил Педя.

— В натуре?

— Клык отдам! — Педя рванул зуб ногтем большого пальца, чуть растянув в брезгливом изгибе тонкие губы. — Зырь, вон!

Горбатый привстал и повел по сторонам сморщенным рыльцем сушеного паучка. Был он тщедушен, косоплеч, с несуразно длинными мосластыми руками. Водянистые глазки сверкнули цепко и недобро.

— Еврей труский, лик плюский, совсем русский! — осклабился он вызывающе и обложил матом.

Недоброе внимание Горбатого всколыхнуло животный страх. Я невольно сжался и потупился, подавляя нервную дрожь. Мне не нравилось рассматривать увечных и раненых. То ли казалось неприличным, то ли опасался ненароком обидеть и без того несчастных людей. Еще неприятнее было встречать их ответный взгляд. Взгляд же Горбатого был не просто неприятен, он таил в себе тьму, давил и угрожал.

Педя неожиданно пропел, тонко, с надрывом:

Скоро, скоро строиться,
Скоро стол накроется,
Скоро ужинать пойдем,
Сердце успокоится.

Никола нафуговал полную топку дров, вздул огонь. Подымив, осиновые поленья занялись неярким, шипящим пламенем.

За окном темно-фиолетовая туча драконом ползла к

предзакатному солнцу. Лучи солнца дробились и играли золотистыми бликами на стеклянной глади реки. Пыльная дорога, по которой мы притащились в ДПР, кралась к серому горбику деревянного моста, а левее, на другом берегу, над порушенными домами и пегими купами деревьев одиноко маячил грязно-зеленый купол колокольни. Он торчал как часовой, стерегущий этот отстрадавший, отвоевавший городок.

Церковь уцелела, — подумалось с удовлетворением. Видимо построена очень прочно. Вот где прятаться от бомбежек и обстрелов.

Справа за излучиной реки ясно, как на блюдце, стлалось плоское заречье с низкими пойменными лугами. Бурые подпалины испятнали увядающие травы, далеко у горизонта окаймленные темной полоской леса. Открывшийся из окна простор был чист и широк, хотелось всматриваться в его бескрайнюю даль, не отрываясь.

Солнце исчезло в чреве тучи-дракона, огнем запалив ее кайму. День догорал багровым заревом.

Призывное треньканье звонка возвестило о времени кормежки.

— На линейку, малокровные! — всплеснулись обрадованные голоса сорвавшихся с мест ребят.

Все хлынули в зал, с галдежом выстраивая неровный живой частокол стриженных кумполов. Голос Горбатого проверещал:

— Кто последний? Я за вами брить на жопе волоса!

Мы, новенькие, замкнули строй. Рослый мальчишка с едва пробившимися темными усиками бойко отрапортовал воспитательнице:

— Группа построена на линейку перед ужином! Староста Захаров.

Гуськом потянулись в столовую, где два громоздких, составленных буквой Т стола распростерлись на всю комнату. Их опоясывали неустойчивые, топорно сработанные скамейки. На ядовито-сизых от скоблежки досках столов теснились ровные ряды розоватых пластмассовых мисочек с размазанной по донышкам жижицей перловки, подкрашенной мучной подливкой. Возле мисочек лежали тоненькие, строго взвешенные порции влажного ноздреватого черного хлеба с одним, иногда двумя крохотными довесками.

— Из столовой хлеб не выносить! — предупредила воспитательница. Она ужинала за отдельным столиком в углу.

Настал желанный миг. Глухо, вразнобой заскребли, забарабанили ложки. Кашу уписывали сосредоточенно, не поднимая глаз, а прикончив, насухо вылизывали языками

потертые донышки. Трапезу завершили подслащенным сахарином чаем.

С хлебом расправлялись по-разному. Одни торопливо хватали пайки и жадно совали их в рот, другие старательно обкусывали корочку, а кисловатый мякиш боязливо прятали за пазухи или в карманы.

Горбатый демонстративно глянул на кухню сквозь поднятый на уровень глаз почти прозрачный ломтик и не громко изрек:

— Видно, как повар обжухивает!

Его поддержали:

— Навар гребет!

— В шалгун к начальнице!

— Распиндяй!

— Поладили падлы!

— Он ей, она ему!

В приглушенных замечаниях сквозили обида и страх.

Словно услышав ребячьи реплики, из кухни выкатил малиновощекий, огромный брюхан. Потное бритое темя его поблескивало под съехавшим набекрень тюрбаном, а из-под замусоленного передника проглядывала сползшая до колен, расстегнутая мотня. Повар невозмутимо обогнул столы и, не взглянув на нас, как будто столовая была пуста, скрылся в зале.

Перестук ложек затих. Блаженные мгновения поглощения скудного ужина истекли.

Секунда за секундой, каплями воды из заржавленного крана, просачивался сквозь мой утомленный мозг первый вечер в переполненной группе.

Рдеющий волосок лампочки, прикрепленной к стене над дверью, поглотил сизые сумерки. Как заморенные мыши в заткнутой норе копошилась, попискивала живая масса ребят, предоставленных самим себе. Их лица, видимо, давно не озарялись радостью и смехом, глаза не лучились живым, теплым светом.

Охаянный и униженный, устроился я на подраненном колченогом стуле. От избытка впечатлений, незнакомого окружения, новых звуков и запахов голова шла кругом. Одолевала сонливость, но я крепился и украдкой всматривался в диковинный мирок, казавшийся значительным и сплоченным неизвестным мне прошлым. Чужой, я здесь совсем чужой, — подумалось тоскливо.

У окна мальчишки бойко резались в фантики. Прерывистый гул их голосов вплетался в ровный гуд печной трубы.

За приоткрытой дверцей топки опадало пламя, бурые головешки покрывались черным налетом. Горбатый расшуровал,

раздолбал их кочергой, высекая снопы искр, потом разгреб жар и в дотлевающие угли и горячую золу побросал и зарыл картошку.

Рядом склонился над пухлой книгой рыжеватый мальчишка с оттопыренными ушами по фамилии Царев. Он чуть старше и вроде бы не опасен. С ним изредка заговаривали ребята, обращаясь по кличке Царь.

В уши назойливо лезло повторяемое на разные лады имя Никола, и вскоре я догадался, что всю троицу кличут Николами: Никола Большой, Никола Педя и Никола Горбатый. Была еще пара Никол помладше. Сплошные Николы — по-свойски и просто. Мне бы такое имя, да и фамилия моя не на ОВ и дребезжит хуже оскорбительных и унизительных кличек.

— Слыш, Дух! Я в Харькове с урками спознался, — мотнул Никола Большой плоской, слегка раскосой мордой. — Подфартило, лабаз огребли. Хлеб, бацило, консервы, — невпроворот! Нарубались — не шелохнуться, гадом буду! Неделю гужевались. Покемарим, и снова штефать. Да наследили, попухли. Замели нас менты в кожанах, с пушками. Повязали и в воронок! Жратвы осталось — уйма!

Речь Николы обросла матом, походила на лягушачье кваканье.

Дух приоткрыл рот, растерянно, с немым восторгом постигая сказочные прелести своей недавней вольной жизни.

— А потом? — с нетерпением спросил он.

— Упекли баланду с заварухою хлебать. — И, завершая ритуальные откровения ритуальной же угрозой, Никола устрашающе бросил группе: — Слягавит кто, из земли выну! Раздавлю, как мокрицу!

Пока Никола распинался, мне припомнилась мамина давняя знакомая, которая опухла после блокадной голодовки и так и не поправилась, оставшись серокожей, рыхлой. Пожалуй, Никола выглядел еще хуже. Его бугристое лицо отдавало нездоровой желтизной, набрякшие подглазья ползли к вискам, в уголках мутных глаз пузырился гной.

Окружающая троицу ватага внимала Николиному рассказу с нескрываемым восхищением.

Лишь рябоватый Царь даже не поднял головы от книги. После ужина он вытянул из кармана хлебный мякиш и принялся размеренно и привычно давить его в ладонях, как тесто, пока не скатал плотный глиняный комочек. Не отрывая глаз от страниц, Царь отковыривал микроскопические щипки и, смакуя, сосал их. Осторожно, словно побаиваясь, мяли хлеб и другие ребята, время от времени поглаживая наслюнявленными пальцами давленый комок и подолгу слизывая налипший мазок.

Погас огонь в печи. Священнодействуя, Горбатый принялся выкатывать из золы обугленные клубни, с сухим потрескиванием шлепавшиеся на прибитый к полу металлический лист.

Группа замерла. Десятки голодных глаз, одни с нетерпеливым ожиданием, другие с тоскливой безнадежностью, впились в черные картофелины. Кто-то не выдержал, привскочил и придвинулся поближе. Несмело, потом громче, вразнобой нестройный хор заканючил:

— Дай кусить!

— Оставь малость! Корочку горелую!

— Махнем на пайку! С обеда вынесу, сукой буду!

— Чинарики кому притаранил, помнишь?

— Ломани кусман! Расквитаюсь, глаз отдам!

— Дай рубануть!

— Дай пошамать!

— Подкинь картохи! Падлой буду, не забуду!

Попрошайки выклянчивали подачки, а Горбатый фальшиво мурлыкал:

Падлой буду, не забуду этот паровоз,
Оторвало руки, ноги и побило нос!

И делил печеную картошку.

По картошине перепало трем-четырем избранным, льнувшим к троице весь вечер. Одарили и Духа, хотя он не цыганил унизительно, как другие.

Львиная доля досталась троице: Николе, Педе и Горбатому. Обжигая пальцы, они надламывали дышащие горячим парком клубни, припадали к ним губами и, сберегая каждую крошку, втягивали в себя и рассыпчатую, пропеченную мякоть и горелую кожуру.

Никола жадно почавкивал, оглядывая краем глаза тянущих руки пацанят, как бы вспоминая и взвешивая их заслуги. Изредка отрывал измятые корочки и скармливал им. Но не всем. Иным он хмуро бурчал:

— Отвали, курва! Жуй свою пасть! … И ты, жглот, не подчаливай! Не обломится!

Облизывал черные пальцы, вытирал их о темя ближайшего попрошайки, склабился:

— Люблю повеселиться, особенно пожрать!

Горбатый широко растягивал выпачканные губы, шамкал слюной, обнажая десны и выкрошившиеся зубы. Физиономия его была такой же искривленной, как и тело. Наворачивал он быстро, но успевал огрызаться:

— Ху-ху не хо-хо, лизоблюд кукуйский!?
Поиздевался над кем-то, надломив руку в локте:

— На …
Хрену сидела вошь.
На …
Понюхай и положь!

Насытившись, Горбатый покровительственно кивнул двум мальчишкам. Прижимисто прикрывая свое богатство, он выторговал по пайке с каждого, отдав взамен по картофелине.

Педя отвернулся к стене и шиковал в одиночку. С побирушками собачился нервно и зло:

— Не шакаль! … Бортиком, бортиком!.. Перебьешься! … Компот рубай, он жирный!

Неприятны были и попрошайки, и дарители, но хоть ослепни: ноздри чуют дурманящий аромат, рот заливает слюной, и рождаются тоскливые мысли, и сам себе кажешься несчастным заморышем, заброшенным в чужое, недоброе обиталище.

Вроде бы на сегодня достаточно. Глаза слипались, спать хотелось больше, чем есть.

Картошку умяли. Втягивая в рукав пальцы с мерцающим чинариком, Никола вздувал к потолку мелкие колечки дыма и сосредоточенно поплевывал им вслед крошками махры. Стряхивал пепел кому-то за шиворот, блаженно мурлыкал:

Чтоб как-то жить, работала мамаша.
Я потихоньку начал воровать.
— Ты будешь вор, как вор был твой папаша, —
Твердила мне, роняя слезы мать.
Пятнадцать лет ровнехонько мне стало,
Я ревизором стал чужих квартир…

Неслыханная песня, потом еще одна. Пела троица и ее прихлебатели. Разинутые рты рвали лица, вой затоплял сознание. Измочаленный бесконечным днем, я клевал носом под разноголосое выстанывание. А смысл песен все мимо и мимо, и только дурман безотчетной грусти пленял и околдовывал.

Отбой!

Под предводительством воспитательницы поднимались мы по осклизлым ступеням деревянной лестницы. Подозрительно повонивало. Пролет взбегал круто, и я боялся соскользнуть вниз.

На верхней площадке было две двери: прямо и направо.

Последняя привела нас в маленькую безоконную прихожую, соединенную пустым дверным проемом с длинной, как кишка, спальней, где три широких окна темно блестели вдоль правой стены. Свободных мест здесь не нашлось. Мы вернулись на лестницу и через другую дверь вошли в просторную квадратную палату — женскую спальню. Девчонки были в постелях, и я заметил, что сестренку уложили вместе с цыганочкой.

Миновав женскую спальню, мы оказались в комнате поменьше, занимаемой мальчиками младшей группы и теми из старшей, кому не хватило места в первой спальне. Почти все спали по двое. Я разделил постель с братом, юркнув под простыню, заляпанную черными штампами «ДПР», и привычно приткнувшись к теплому боку.

Свет низко свисавшей с потолка лампочки поплыл перед глазами мутно-желтыми кругами. Тревожный тяжелый сон навалился мгновенно, словно беспамятство.

3
Пробуждение

Неразборчивый говор, возня, пение впутывались в бессвязные картины сна. Сон не отпускал, держал крепко, и я продирался в явь с усилием, ломая мешанину невнятных видений, сквозь преследующие и пугающие голоса и шорохи, топот шагов, чье-то невидимое внимание и скрытую угрозу.

Тишина и неподвижность удивили меня. Пошатываясь, побрел к параше. Переполненная бадейка плавала в смердящей луже с подозрительными галушками. Ручейки потеков уползали далеко под кровати.

Не подступиться, — посетовал я и устремился в уборную, вниз. Лестница пахнула холодной, подванивающей сыростью. Глаза уперлись в сплошную тьму. Как слепой, ткнулся я вправо, влево и нащупал перила. Поеживаясь, остановился в нерешительности: спускаться полусонному, впотьмах, — на такое трудно было отважиться. Поколебался секунду и поступил естественно и непристойно, сиканув в пролет на ступени, перила, стены, куда попало. Спешил, замирая от неприличия, опасения обмочить кого-либо внизу и быть пойманным на месте преступления. Ковыляя обратно по проходу женской спальни, почуял недоброе и поднял глаза: полураздетый Никола, позевывая, сползал с постели. Рядом по подушке разметалась копна спутанных женских волос. В груди колыхнуло муторно и жутко: через пару коек от них сестренка, он может и к ней залезть.

Вернулся к себе, прилег, но сон отошел. Я всматривался в сизый сумрак оконных проемов, чутко прислушивался к малейшему шороху за дверью. Было тихо, только посапывал брат, да Толик сладко причмокивал губами на соседней койке.

Не привиделся ли мне Никола спросонок?

Я вынырнул в очередной раз из-под кроватей и, весь пыльный и грязный, замер растерянно посередине спальни. Не доискаться! Сомнений не оставалось: выданную мне чистенькую одежонку похитили. Со спинки моей койки свисали замызганные, без поясной резинки порты и засаленная рубашка с протертыми локтями. Кривые, растоптанные чеботы валялись в проходе.

Тщетные поиски расстроили и напугали. Клонило в плач. Я бы и разревелся, будь в спальне кто-нибудь из взрослых.

Комната быстро пустела, ребята торопились на зарядку.

Разбитной плюгавенький шкет больно торкнул меня в бок и угрожающе прошипел:

— Похерил барахлишко и прикидываешься, ё-к-л-м-н! Цепляй что есть!

Другой, походя, пхнул ногой и взлаял:

— Кончай хипиш! Настучишь, нос откусим, сука жидовская!

До меня давно дошло, что повешенную на прутья койки дранинку придется принять взамен чистых шмоток, и по полу я ползал так, от безнадежной растерянности. С отвращением, сдерживая обидные слезы, впялился в отрепья, прицепил кое-как штаны и поплелся вниз.

Приемнику, и взрослым, и воспитанникам, было не до моих неприятностей. Перед завтраком вместе с воспитательницей на линейку явилась начальница и сходу понесла:

— На картошку позарились! Кто паскудничал, мазурики?

Над бездыханным строем повисло гнетущее молчание.

— Трусите? Тырить по соседству мастаки? И у кого? У старухи, ее муж и сын погибли. Вас защищали! Вашу прекрасную родину! По хорошему спрашиваю: кто крал картошку?

Строй не шелохнулся. Начальница рыскнула гневным взглядом по непроницаемым лицам. Внезапно заалев разводьями нервных пятен, она крутнулась в сторону воспитательницы и сорвалась, как базарная торговка, взвинчивая себя каждым выкрикнутым словом:

— Так то вы надзираете детей! Где они ошиваются? Огороды грабят, завтра магазины громить попрут?! Вы что, в богадельне с дармовой похлебкой?

Воспитательница дрогнула и застыла с приоткрытым ртом и вымученной гримасой на лице. Тишина воцарилась такая, что из комнаты малышей явственно зазвенел одинокий слабенький голосишко:

— Что за умница козел! Он и по воду пошел!

Мы понуро вперились в серые доски пола. Было неловко наблюдать замешательство безгласной женщины.

— Будем сознаваться? … Что ж, поторчите на линейке. Эй, на кухне! Группа наказана, завтракать не будет!

Начальница понесла к выходу свое необъятное, подрагивающее седалище. За ней застучала каблуками и всхлипывающая воспитательница.

Строй всколыхнулся, зашептался и наконец загудел. Педя пророчески объявил:

— И этой простушке у нас не светит!

— Что, волки, зубарики заведем! — Горбатый сыпанул чередой грязных ногтей по неровным гнилушкам, выбивая частую дробь. Строй забелел скособоченными оскалами, зацокал беспорядочным звоном.

Педя гримасничал, напевая:

На рыбалке у реки
Кто-то стибрил сапоги.
Я не тырил, я не крал,
Я на шухере стоял.

Мы стояли, переминаясь с ноги на ногу, подгоняя дремавшее время. Начальница не показывалась. Лишь воспитательница набегала с уговорами и угрозами:

— Злыдни, чего молчите? Все одно дознаемся. Миндальничать не станем. Виновного — прямиком в колонию!

— Заладила: ко-ко-ко, ко-ко-ко, — проквохтал Никола себе под нос.

Женщина не разобрала слов и пустилась брюзжать еще занудливее:

— Оглоеды несчастные! То дерутся, то воруют! Что за дети такие!?

— Мы дети заводов и пашен! — пояснил Горбатый с обезьяньей бравадой.

— Не кощунствуй!

— Что я такого сказал, что?

Все понимали, что она страдает без завтрака за компанию. Строй распался. Мы стояли реденькой толпой, готовые в любой момент скакнуть к своему месту. Неровный гул голосов наполнял зал.

Новеньких за что морят? Мы ж только прибыли, — сокрушался я. Так и подпирало напомнить об этом взрослым. Но Дух и Толик помалкивали, не стоило и мне высовываться.

За окном опавшие листья густо усыпали покатые крыши приземистых развалюх, лепившихся к бесформенной, обвалившейся стене разрушенного кирпичного дома. Солнце неподвижно висело чуть выше стены, и его косые лучи врывались в окна и высвечивали мельтешащие пылью полосы над нашими головами.

Горбатый перекидывался отрывистыми репликами с Николой и Педей. Никогда не признается, пусть зудят хоть до вечера, — подумалось мне. Бессмысленное стояние подчеркивало бессилие начальства и сплоченность группы.

— Атанда! — трубанул кто-то.

Секундная неразбериха, и строй выровнялся.

— По вашей милости срывается репетиция, — завела начальница с порога в той же напористой манере. — Решайтесь, а то хуже будет!

— Хуже некуда!

— Поклеп это! Лепят напраслину! — пробасил Никола.

Начальница присела и спустила удила:

— Ты, обормот, дубина стоеросовая! Привезли раздутого, вшивого, в лишаях! Знала, — не малолетка! Пожалела, приняла! … Больше валандаться не буду! Баста! По тебе колония плачет! … И фамилия поди липовая?! Документы твои сыскать не могут!

— Отстань, не блажи! — огрызнулся Никола.

Взбеленившаяся начальница вплотную придвинулась к неуступчиво отлаивающемуся Николе и так гневно костила его, что казалось вот-вот вцепится ему в лохмы.

Хвост линейки, где я стоял, загнулся, и мы оказались за спиной начальницы. Пацаны шипели:

— Раздухарилась!

— Ярится, Николе вину паяет!

— Берет на понт, дешевка лягавая!

— На испуг.

Грызня разгоралась, и Горбатый рванул громче:

— Завтрак зажали! Нет такого права!

— Права качать! Я вам права покажу!

— Кажи! Ревизии пожалимся! — Сидора полные домой прешь!

— Что за ахинея? — начальница теряла терпение. — Ты, Большой, всех баламутишь, ты и отвечать будешь! Раздеть его и сегодня не кормить! … Проучить бы тебя палкой, сквозь строй прогнать! Да советские законы мягкие, не дозволяют!

Она сделала шаг к двери, но в этот момент Горбатай слегка выдвинулся из строя и захлопал реденькими ресничками:

— Это я …

— Ты? Ты! Субчик! А молчал! Я не я и хата не моя!

И с этого все сблочить и не кормить, пока не разрешу! Ворюга несусветный!

Разволновался и Педя, нервно задергал плечами и стало особенно заметно, что его несуразно короткие руки не вязались с туловищем, торчали слегка в стороны, под углом.

После обеда Горбатый поделился с Николой пайками, доставшимися в обмен на картошку. А галдеж в насквозь продымленной группе не стихал долго.

— Завтрак накрылся женской половинкой!

— Жаловаться нужно!

— Дуй в райком за пайком! Ждут тебя!

— Бодягой кормят!

— Суп из трех круп, крупинка за крупинкой бегает с дубинкой!

— Чистая водяра!

— Пей вода, ешь вода, с… не будешь никогда!

Раздраженные ребята наперебой поливали порядки ДПР, перемывали косточки начальнице и повару. Начавшийся на линейке скандальный хай то вспыхивал, то гас, но постепенно его смысл стал от меня ускользать, отдаляться, и только, как и вчера, непотребный лай выпадал из общего гуда.

Пусть ругаются, только бы меня не трогали. Подперев щеку, я уныло рассматривал зеленовато-бурые луга за окном, серые подпалины далеких бугров, подсыхающих под теплыми лучами низкого солнца. Предвечерние тени стлались по саду, наползали на веранду; ни одна веточка не качнулась, ни один кустик не дрогнул. Безлюдно было на берегу.

Я немного забылся и приободрился. Моя персона выпала из пугающего внимания обитателей ДПР, а о большем пока не мечталось. И зачесался язык. Так и подмывало завязать с кем-нибудь разговор, услышать если не доброе слово, то хотя бы спокойную речь и, главное, повыспросить побольше о ДПР. Я испытующе поглядывал на Царя, костлявого мальчишку, уткнувшего нос в книгу.

— Что читаешь? — наконец решился я на вопрос.

Царь приоткрыл обложку и показал название.

— «Железный поток», — медленно разобрал я.

— Третий раз мусолю. Дать почитать?

— Не, — сомнительно покачал я головой, глянув на мелкий шрифт. — Не осилить.

— Здесь мало книг, всего пара полок. У нас дома стеллажей было … И в коридоре, и в комнатах.

— Ты давно в приемнике?

— С прошлого года. Путевки в детдома приходят редко, и то сперва старших усылают. Нам здесь припухать долго.

— Мы в школу пойдем или прямо здесь будем учиться? — вступил в разговор Толик.

— В приемниках не учат, только в детдомах учат … Толик, ты в школу ходил?

— Да, год. Но читаю плохо. Снова пойду в первый класс.

— Зачем же в первый?

— Только в первом читать учат. И уроков задают мало.

— Я в четвертый пойду, — сказал Царь.

— И зря, — заключил Толик. — Будешь уроки зубрить весь

день. Поиграть некогда. Учиться, так снова в первом.

Оторвались первые сутки приемнитской жизни. Сколько их скопилось там, в неоглядной дали?

4
Приобщение

Закрутилась толчея дней, затренькала возжеланными звонками на завтрак, обед и ужин. Я часто заглядывал к малышам. Брат и сестра незаметно приспосабливались к новой обстановке, свыкались с незнакомыми лицами, играли и пели, как в прежнюю детсадовскую пору.

Мы не говорили ни о маме, ни о детдоме, приняв случившееся как принимали до сих пор все: кротко, без капризов.

Довольный тем, что опекать брата и сестру не нужно, ненадолго забывал о своих бедах и я. До первого наскока или окрика. А они сыпались непрестанно. «Жидик, Жиденок, Абхгаша, Фитиль…», — то и дело бросал кто-нибудь мне в лицо оскорбительно и угрожающе. Агрессивность и неприязнь нарастали. В разновозрастной, пестрой мешанине мальчишек только мне не находилось места. А возможно, это только казалось.

Я оживал лишь тогда, когда выпадал из поля зрения старших ребят. Я торопил дни: со временем приемлемый закуток должен был отыскаться и для меня, чуждого всем пацаненка с одиозным именем и выразительным ликом. Или, быть может, за стенами ДПР воспрянут от спячки и пришлют путевки в детдом.

Чем дальше в прошлое уносило жизнь с мамой, тем сладостнее были воспоминания. Дома я просыпался радостным, на сердце было легко, предстоящий день выманивал из постели.

— Куда тебя несет спозаранку? — ворчала мама. — Будто во дворе медом намазано.

— Ага, намазано, — отвечал я, и — только меня и видели! Жаль было терять время даже на завтрак.

В приемнике мы увязли в замкнутом, ограниченном пространстве. Нечем было заняться, не на что потратить день. Оставалось одно: потеряться в толпе и впитывать в себя малейшие изменения настроя сильных.

Неопределенность настоящего и будущего окутывала сознание ватным туманом, бередила щемящее чувство утраты. Понимал только, что занесло нас в окаянное место, где нет оплота, устойчивости, где хлипкая почва ускользает из-под ног.

Вокруг то бурлила и бесновалась, то исходила скорбными песнями перепутанная масса ребят. Правда перепутанность была внешней. Расслоение на сильных и слабых проглядывало зримо и недвусмысленно. Так было и раньше: во дворе и школе

привязанности покоились на признании силы и подчинении ей. В устрашающе зловещие тона ДПР окрашивался воровскими замашками главарей.

Неподвижность выхолощенных бездельем дней обостряла восприятие, а память естественно и беспрестанно наматывала однообразные картины занудного быта.

Застревая в дверях, орава мальчишек рванула из столовой и понеслась в группу. Заядлые игроки нацелились захватить шашки, остальных гнала надежда завладеть заветным местечком у окна, подальше от прохода.

Шашки мне не достались, зато я проворно угнездился в дальнем, наискосок от печки, углу, в самой гуще ребят. Сзади стена, никто не заденет, не рубанет по шее. Впритык, потискивая плечами друг друга, жалась затурканная мелюзга старшей группы, а напротив ссутулился над книгой Царь.

Зыбкая безопасность тесного курятника взбадривала. И шашечная доска рядом, как на ладони. Я с трудом подавлял искушение встревать в игру, подсказывать, делать замечания после каждого хода. Стремление к общению в недружественной толпе сродни жажде в океане. Долго размышлять я не привык и поэтому часто попадал впросак. Понимал, лучше не соваться, но не сдерживался и получал очередную долю оскорблений.

Играли на высадку, и меня тянуло вклиниться в живую очередь претендентов. Казалось, обставлю любого, весь вечер проведу за доской, а это единственное, что могло отвлечь от тупой созерцательности и уныния. Горький опыт убеждал в безнадежности такой попытки, да и место хозяина не ждет! Разжился стулом — пристынь, прилипни, как улитка к раковине. Снимешься или сгонят, — будешь болтаться как неприкаянный, попадая под ноги, натыкаясь на кулаки.

С утра настойчиво и неугомонно сыпал спорый дождь. Он стучал по ступеням крыльца, сек перила. Порывы ветра проносили сквозь открытую веранду распыленную водяную морось и хлестали ею в серый проем окна. Потоки воды медленно стекали по стеклу.

У печки сбилась в кучу элита: троица и пять-шесть ее приятелей. Пускали чинарик по кругу, сосали до ожога пальцев, попыхивали в топку. Перекрывая слитную воркотню группы и шум дождя, от печки рвались вульгарные всхохатывания, гортанный рык смачных угроз и хриплых междометий, вызывающая матерная божба. Пацаны давились и щеголяли заковыристой бранью. Иногда они походили на немых, пытающихся издавать членораздельные звуки. От дерганных,

ломающихся фигур исходила постоянная опасность. Я горбился, уводил глаза, боясь встретиться с прямым, жаждущим ссоры взглядом. Главное — избежать внимания, не ввязаться ненароком в перепалку, не вызвать наскока. Тогда вечер пройдет мирно.

Горбатый со сноровкой фокусника поигрывал финкой, в бешеном темпе тыкая ее кончиком меж пальцев растопыренной на столе пятерни. Пофорсив, примерил лезвие поперек ладони:

— Зырь, два раза до сердца достанет!

Резко пульнул финку в пол. Не воткнувшись, она загремела у нас под ногами.

— Спрячь перо, едрена вошь! — прикрикнул Никола. — Нарвешься на воспиталку, не отбояришься.

Горбатый унялся, но ненадолго.

— Положь ладонь на стол, — предложил он Духу.

— Нашел мудака! Оттяпаешь палец не за хрен собачий!

— Никола, ты?

Никола охотно припечатал лапищу к щербатым доскам; все пальцы плотно сжаты, только указательный и средний образуют острый угол.

— Зыришь? — ухмыльнулся Горбатый. — Два пальца врозь, — значит вор!

Видимо это не первое подобное представление: Никола расплылся от удовольствия. Потом выудил из кармана пятак, подкинул его щелчком и, поймав, предложил:

— Для затравки: кто умыкнет из кармана — гоню пайку. Ущучу — пайка мне.

Смельчаков не нашлось. Однако пацанье у печки повставало и засуетилось, охваченное пьянящим возбуждением воображаемой поживы. Крадучись, будто все до последнего малолетки не понимали их намерений, они расползлись по группе, проскальзывая меж ребят, посовывая руки в чужие карманы.

Никола вырос за спиной Царя и осторожно, миллиметр за миллиметром, полез двумя пальцами в его нагрудный карман. Искушенный Царь, втянув голову в плечи, посасывал крохи давленого мякиша, обреченно, покроличьи трусил губой. Его, конечно, коробило, но пока не больно, нужно терпеть и помалкивать.

Я сидел как на горячих углях, изъерзавшись в безнадежных потугах изобразить безучастного зеваку. Происходящее напротив нервировало; предчувствовал, что мне достанется, но еще не знал, за что. Случайно уловил взгляд Царя; поразила его озаренная мыслью сдержанность на фоне тупого прищура верзилы-карманника.

— Не шелохнулся! Охерел с книгами своими! — закатился Никола клокочущим хихиканьем.

— Пыль с ушей стряхни, лопух! — Он щелкнул пальцами по раскидистым ушам Царя и исподлобья впился глазами в меня: искал придирки. Медленно перекатывались мыслишки в его голове. От него резко несло табачищем, его близость обескураживала, вгоняла в дрожь, как летящий в голову булыжник.

— Что, отродье пархатое, лыбишься? Егозишь, как на гвозде! — Он навалился на спины и головы ребят и достал меня кулаком. Резко отпрянув, я шарахнулся затылком о стену. Лампочка метнулась и взорвалась желтыми брызгами. Я взвыл от обиды и боли.

— Шварк по сопатке! — одобрительно взвизгнул Горбатый.

Воришки пошмонали по пустым карманам, взбудоражили группу: одного смахнули на пол, другого саданули под вздох, третьему сотворили смазь. Раззадорившийся Никола довольно жмурился. Ему явно импонировало и то, как здорово заладилось натаскивание карманников, и вертлявое поддакивание Горбатого, и разгорающийся воровской азарт.

— Паханы! — призвал он свою ватагу. — Заведем по новой. Дух фигуряет по прошпекту, прядет бровьми. Горбатый лупит напереpез, ломит в него, спонта конечно. Вы, черти, щипите карты. На, Дух, рассуй колоду по карманам.

Дрессировка набирала завзятой страстности. Царь, понаблюдав представление, спросил соседа:

— Оливера Твиста читал? Там также натаскивали …

— И удрученно замолк.

Наскучила и эта забава. Горбатый извлек пузырек с тушью и иглу, плотно обмотанную ниткой. Никола приспустил рубашку с округлых бабьих плеч, обнажив припухлый рыхлый торс, по серовато-белесой коже которого синими язвами расползлись пятна татуировок. Примериваясь, Горбатый устраивался поудобнее рядом. Потом макнул в тушь блеснувший из-под нити острый кончик и принялся старательно выкалывать на груди Николы контуры солнца с расходящимися прямыми лучами. Лучи озаряли пестрый татуированный мирок, где двуглавый орел, могила и якорь соседствовали с профилями всех четырех вождей один под другим. Вожди задумчиво взирали на раскинутые ляжки голой красотки.

Лицо Николы с прилипшим к нижней губе бычком напряглось: терпел, было больно. Горбатый усердствовал и чванливо, с менторским форсом вещал:

— Половину тела исколоть, — враз кранты! Не выжить, чтоб

я сдох!

— Плешь! — возразил Никола. — У нас в ВТК урка был синий по шею. Даже хер с узорами под змею, курвой буду! Шкандыбает раздетый, а на заду наколка ходуном ходит: мужик бабу дрючит. Урка в самодеятельности негру представлял, а я плясал.

— Педя, подставляй зад, наведу марафет, — предложил Горбатый.

— Мне и так личит, — отвечал Педя и завел, затосковал упоительно:

… В твоих глазах метался пьяный ветер,
И папироска чуть дымилася во рту …

— Фискалам мы мушки меж глаз наведем, — заявил с угрозой Горбатый. — Куда потом ни приборoздят: в колонию, приемник или лагерь — не отопрутся: лягавые!

Никола слегка морщился под иглой.

— Кончаю, — сказал Горбатый. — Надо Маню-дурочку уломить рисуночек нанести.

Как всегда многие ребята бережно давили липучие мякиши. Деловито старался конопатый пацан по кличке Лапоть, слепивший катышок чуть побольше, чем у других мальчишек. Видимо вытерпел, не рубанул пайки с обеда и ужина, помня, как зверски хочется есть по вечерам. Его теребили назойливые попрошайки, выканючивая щипок.

— Не жмись, Лапоть, дай! До завтра, с отдачей.

Лапоть намертво стиснул катышок, огрызаясь сердитым полушепотом:

— Свой сшамал, на чужой заришься, тварюга!.. Не подмазывайся! … Жирным срать будешь!

Попрошайки не унимались.

— Куркуль!

— Жадюга!

— Скобарь скобской набит тряской!

— Не заедайтесь! Я вас не трогаю!

— Скупердяй!

В этот момент резко привскочил Дух и вырвал у Лаптя мятый катыш.

— На хапок! — заорал довольный налетчик.

Растерянный Лапоть бросился за своим мякишем, но не тут-то было! Хлеб был переброшен Горбатому, затем Николе.

— Отдай! Отдай! — неистово вопил Лапоть. — Моя пайка, кровная!

— Нет ее! Нет! — Дух развел ладони.

Грабитель и жертва взметнулись в стойку боевых петухов.

— Стыкнемся!

— Стыкнемся!

— Хиляй с дороги! — рявкнул Никола, врезаясь в толпу повскакавших мальчишек и легко расшвыривая их. — Один на один! До первой кровянки!

Вмиг образовался круг.

— За кровянку не отвечаю! — отчаянно реванул Лапоть и, зажмурившись, ринулся на таран головой вперед. Перепуганный Дух резко отстранился. Нападающий, промазав, вонзился лбом в грудь Горбатого и опрокинул его.

— А-а-а! — зашелся звериным воем Горбатый.

Никола размашисто саданул Лаптя в лицо и отбросил к печке.

— Блямс! Брык с катушек! — по ходу комментировал он, сохраняя полное самообладание. — Оглоушу! Одной левой …

Бедный Лапоть, забившись меж печкой и стеной, осел на корточки и спрятал лицо в колени, а притрусивший Горбатый люто сек его тараканьими ножками. Потом Никола и Горбатый встали над поверженной жертвой и проталдычили дружно, как заклинание:

— За кровянку не отвечаю!

Было жутко смотреть на клацающего зубами мальчишку, как он ковылял к своему месту растерзанный, с фингалом под глазом, как горько плакал, уткнувшись носом в рукава рубашки. Внятное предчувствие грядущих передряг закрадывалось в сознание: если так избивают своего, дпрэшного мальчишку, то мне, чужаку, предстоят испытания похлеще. На этот раз повезло, Лапоть отвел удар, прикрыл ненароком. Завтра и мне предстоит разделить его участь.

Ничего, авось пронесет, — подумалось мельком с пугающей безнадежностью. Поостерегусь … Хорошо, что хотя бы сегодня измывались не надо мной.

Горбатый задрал рукав рубашки. Ниже локтя обнаженной мосластой кости, обтянутой синюшной кожей, темнела продолговатая подсохшая ссадина со свежесодранной корочкой.

— За кровянку отвечаешь! — рубанул он и выставил напоказ царапину.

Я украдкой вопросительно глянул на Царя и уловил в ответ едва слышное пояснение:

— За кровянку с него пайки рвать будут. Или бацило.

— Что?

— Маргарин с завтрака.

Тем временем Никола вынул мятый катышок Лаптя, сдул с

него крошки махры и разломил на три комочка.

— На зубок не хватит, — посетовал он, передавая приятелям их долю.

Позарились на чужое, навернули обслюнявленный хлеб Лаптя, — подумалось с брезгливостью.

Главари вклинились в неровные порядки группы и, растолкав ребят, обступили избитого пацана.

— Кровянку зырил? Завтра гонишь пайку! — Горбатый обхватил Лаптя костлявой клешней. — Зажилишь, сдерем две! И не дрейфь! Тронет кто — скажи!

В группу вошла начальница и недовольно потянула в себя воздух:

— Что происходит? — Быстрым взглядом отыскала меня, кивнула: — В канцелярию!

Сердце дрогнуло и забилось шальной надеждой: путевки в детдом! Прощай полудикая жизнь ДПР! Вдруг совсем уж безумная догадка взорвалась в мозгу: маму освободили! Правда всегда торжествует, не могут невиновного человека держать в тюрьме. Сердце бухало молотом, толкало вперед, и я чесанул к двери как угорелый. Посторонившаяся начальница пропустила меня и осталась в группе.

На знакомом диване зябко ежилась тетя Дуня.

Посередине комнаты распоротым кулем стояла женщина-почтальон. Из-под ее вымокшей плащ-палатки выглядывала открытая брезентовая сумка, распираемая торчащими наружу толстыми пачками газет и журналов. В руке женщина сжимала серенький треугольник.

— Тебе письмо, — произнесла она громко. — Доплатное, без марки. Стоит рупь.

Я онемел. Что за доплатное письмо? Никогда не слышал.

— Если нет денег, пиши прямо на конверте: адресат от письма отказался. — Почтальонша сунула мне карандаш и продиктовала еще раз. Ничего не соображая, я царапал в просвете двух строк. — И подпись!

В этот момент до меня дошло, что адрес написан маминым почерком. Почтальонша заспешила прочь вместе с долгожданной весточкой, а я еще до конца не уразумел, что собственно произошло? Когда сообразил, все помертвело внутри. Некоторое время я растерянно стоял, бесцельно вперившись незрячими глазами в темную лужицу на полу, натекшую с плащ-палатки. Что ж я содеял? Отказался от маминого письма, пролопушил самое дорогое, о чем можно только мечтать. Хоть бы прочесть попросил! Я казнил себя за тугомыслие, а от невозможности что-либо исправить мутило, как от угара.

— Зачем звали? — не преминул полюбопытствовать вездесущий Горбатый. Пришлось все объяснять ехидно улыбающемуся человечку. Навалилось уныние.

Как оправдаться перед братом и сестрой? Тупица несчастный! Схватил бы письмо и драпанул подальше: в туалет, под лестницу или в спальню под койки. Прочел бы, адрес запомнил, а там пусть забирают. Письмо то к маме вернется. Изболится сердцем, изойдет ревом. От этих мыслей проняло окончательно, и я расхлюпался разнесчастно. Ко мне склонился Царь:

— Не тужи, все образуется. Получишь еще письмо … Мне бы только шепнули, что мама жива.

Я долго попрекал себя, горевал, настраиваясь на решительную встречу с почтальоншей в следующий раз.

День истлевал, оставляя на душе тяжесть новой утраты. За окном рыдали небеса. Дождина разошелся не на шутку. Бурлящий поток с плеском срывался с угла крыши в переполненную пожарную бочку. Косые струи, мерцая тусклыми бликами, омывали черные зеркала стекол, а в них отражались и желтая лампочка, и двери, и рассыпавшаяся в беспорядке ребятня. Сквозь раскатистое урчание воды что-то высвистывала печная труба. Подрагивали и дребезжали окна, гремела кровля. От непогоды и голода сосало под ложечкой.

Педя тихо засвистел мотив, потом затянул вполголоса. Ему искренне, жалобно вторили, и скоро вся группа протяжно выла. Песня смягчила боль, развеяла сожаление. Неясная печаль охватила нас. Только в песне можно было пожаловаться на несправедливую участь. Песня, как исповедь, вобрала в себя и горькие слезы, и неотвязную тревогу. Затихло острое подсасывание в пустом желудке. Обманчивый покой охватил нас. Как изголодавшиеся волчата затравленных родителей, устав от грызни и драк, мы скулили вразнобой под нестихающий шелест дождя.

Вот умру я, умру я, похоронят меня …

Чем утешиться в нашем никому неведомом застенке, если бы не этот неиссякаемый песенный родник? С песнями все становилось ясно, давно и многими выстрадано:

Со злой судьбою я спознался.
Не пожалел меня никто.
Я с уркаганами скитался.
Убить, зарезать — хоть бы что!

5
Детский утренник

Толик задирал мутные глаза к потолку и, зевая и путаясь, битый час упрямо долдонил торжественный стишок про флаги и ликующий народ. Его мозг не поддавался и упорно отторгал рифмованные строки. Я старался отключиться, не слушать занудное бормотание. Вначале это не удавалось, но постепенно голос Толика стал пропадать, и вдогонку подумалось: разве стихи учат?

Стихи сами вплывают в память как стройные парусники в сиротливую бухту.

Темный вечер волочился по стылой сибирской земле. За обледенелым оконцем надрывалась пурга, а в нашей землянке царили покой и тепло. Запоры замкнуты накрепко, закоптелая трехлинейная лампа в меру чадила.

Мама заботливо укутала нас с братом ватным одеялом. От плиты тянуло устойчивым жаром, а из-под двери, не смешиваясь, ползла слабая струйка холода. Жар легко оттеснял ее, но я отчетливо ощущал легкое студеное дуновение. Оно не сдавалось и не сдастся, а будет набирать силу и ночью переборет теряющее мощь тепло. И остывшая плита из дарующего жизнь очага превратится в ледяной могильный камень, как будто огонь никогда не лизал его.

Мамина тень то скользила по стенам и потолку, то неподвижно застывала на несколько секунд. Чужой, неласковый мир отступал далеко, далеко, может быть его и вовсе не было. Забылись непрестанный гуд и муравьиная скученность полуголодных детей в интернате, бесконечные поездки туда и обратно через весь город среди озабоченных, утомленных лиц.

Спать совсем не хотелось, и сестренка не выдержала:

— Мам, вкусненького хочется.

— Сейчас, сейчас, — мама присела на топчан у столика.

Мы с нетерпением смотрели, как она очищает крупные дольки чеснока, отрезает толстые ломти черного хлеба. Клейкий влажный мякиш налипал на лезвие ножа. Мама посыпала крупной серой солью корочки и сильно, до блеска натирала их чесноком. Чесночный дух лез в ноздри, слюна наполняла рты.

— Какой вкусный нюх распустила! — сказал брат.

Мы следили с предвкушением счастья за ловкими руками мамы, по очереди принимали готовые куски с лоснящимися

корочками и смачно жевали, полизывая липкие пальцы.

— Сегодня вспомним рыжего Мотэле, — подумав, сказала мама. — Конечно, вы маленькие и мало что поймете, но дадим Пушкину отдохнуть.

— Все поймем, — не соглашался я, распластавшись поудобнее на топчане.

Мама укрутила фитилек, фукнула на огонь и легла под одеяло к сестренке. Переливы чудесных строк, как волшебная музыка, полились в вяжущей тьме землянки. И мне представлялся таинственный домик, совсем как наша землянка, под «слабенькой крышей», где «свое счастье, свои мыши, своя судьба. И редко, очень редко, две мыши на одну щель».

Когда мама останавливалась, припоминая новую строку, последний слог долго не затихал в сознании, как звук далекой, растревоженной струны. Сестра и брат давно спали, а мама продолжала читать, иной раз упоенно повторяя отдельные строфы. Напевный ритм, дивная красочность рифмуемых звуков убаюкивали меня, бережно унося в мир снов и забвения. А голос мамы звучал и сквозь сон; она читала себе, для души.

Навсегда, как прелесть стародавних сказок, запала в память и светлая радость стихов, озарявшая тоскливые дни болезней, когда так не хотелось оставаться в одиночестве. Я не растерял ни чувств, ни подробностей, ни самих стихов, и временами они, как дорогие гости, навещали меня. Тогда я твердил их про себя немного нараспев, как мама.

Коротая нескончаемые вечера с сестрой и братом, я повторял им полюбившиеся строки, и время летело незаметно, и было не нужно без устали ловить краем уха далекие шорохи, скрип снега под окошком, поспешные шаги мамы, бряк щеколды.

Мне нравились длинные стихи. Я гордился и даже упивался тем, что могу шпарить и шпарить их без запинки. О смысле задумываться не приходилось: поет ручеек, очаровывает. Кто знает, о чем он поет?

— Слушай, пособи Толику, — голос воспитательницы оборвал мои мысли. — Затверди половину его стиха.

— Я другие знаю, лучше.

— Какие?

— Письмо Татьяны к Онегину и ответ Онегина.

— Что за письма такие? На фронт что ли и с фронта?

— Не, это про старое время.

— Идем к начальству, послушаем.

В зале готовились к празднику. Малыши возились с декорациями. С окон, потолка и с рамы картины свисали гроздья

разноцветных воздушных шариков. Пару дней назад Никола и Горбатый стянули где-то картонную коробку с шарами. Мы вздували их всей группой с самого утра, но опростать коробку так и не смогли.

Раскрученные рулоны шершавых обоев, перекрещиваясь в беспорядке, стлались по полу. По ним с кистями в руках ползали стриженные наголо девочки, лихо мазюкая акварельными красками по серой бумаге. Доминировал красный цвет. От его переливов рябило в глазах. Намокшие тяжелые ленты обоев кровавым потоком ниспадали со стен.

Лупоглазая, застенчивая девушка лет шестнадцати малевала лозунг по куску красного сатина. Странная, полумесяцем вверх, улыбка растягивала ее полные губы. Девушку звали Маня-дурочка. Она подвизалась в ДПР в качестве главного мазилы.

Что-то в моей физиономии привлекло Маню. Сначала она издали поедала глазами мой нос, потом нерешительно приблизилась и, как бы задабривая, протянула раскрученный бумажный свиток. На нем изящные узоры строк низались вычурной вязью. Затейливые строчные буквы перемежались красными, в причудливых завитушках, вензелями прописных, а на концах слов иногда красовался знак ъ. По-видимому, это был искусно начертанный старославянский текст. Маня ждала отклика, улыбалась влажным ртом и неотрывно изучала мой нос. Я тупо скользнул взглядом по тексту, но прочесть не смог, стушевался и отступил. Маня со свитком подошла к воспитательнице и, удостоившись похвалы, забыла обо мне.

Стихи прямо-таки ублажили начальницу. Мы уединились в канцелярии, и там с нескрываемым интересом, по-детски притихнув, она выслушала их до конца.

— Оба стиха прочтешь … Длинновато правда … По ходу решим.

Когда группы отобедали, в празднично расцвеченный зал заглянул повар и, подрагивая зобом, приветливо кивнул Мане. Настал и ее черед подкрепиться. Вернулась Маня розовее горячего борща. Безгласно заглядывала в лица воспитателей, то ли угодливо, то ли гордо, с какими-то своими непонятными чувствами.

Праздничная суетня растревожила ДПР спозаранку. Сновали уборщицы, заканчивали последние приготовления, лихорадочно наводя немудрящий лоск. Пахло краской и слегка распаренными чистыми полами.

Ожидали важных гостей.

За приподнятым настроением хоронились безрассудные

мысли-надежды: не пожалуют ли путевками в детдома? Даруют же амнистии к праздникам.

К завтраку собрались возбужденные, с мытыми ушами. Белый хлеб, какао и сладкая сырковая масса вознесли на гребень торжественной волны. По сладкому истосковались, тарелки лизали с особым тщанием.

Еще с час приемник исходил беготней и покрикиванием, пока наконец все не сбились серой массой в приукрашенном зале.

Пожаловали и долгожданные гости: мужчина и женщина с плавящимися сдержанным умилением лицами. Мы в упор, без стеснения разглядывали лучезарных пришельцев, пока они церемонно рассаживались в первом ряду. Холеная худенькая мамзель с белыми буклями приоделась в темное кружевное платье, сквозь ажурные просветы которого едва уловимо наметились подробности дамского туалета. Осанистый мужик парусил синими галифе, заправленными в серые бурки. Стоячий ворот кителя подпирал бритый загривок. Тонкий душок тройного одеколона несмело забился в гуще местных ароматов. Новые лица волновали не меньше предстоящего концерта или стакана какао.

Парадная речь начальницы, воспевшей все, что должно воспеть, рокотала водопадом.

— Вы, бывшие беспризорники, блокадники, пленники немецких лагерей! Но вы и дети победителей! Будьте же достойны своих отцов-воинов и матерей-тружениц! — с блеском восторженности в глазах провозгласила ораторша напоследок.

В ответ грянуло нестройное «Ура!», сдобренное несмелым, но отчетливым «Дурак!» с затянувшимся мягким «ряяя!», исторгаемом Горбатым.

— Уйми фонтан, цуцик! Бо-бо будет! — грозно прошептал повар из задних рядов.

Малыши играли сказку «Жил был у бабушки серенький козлик». В образе козлика предстала сестренка в бородатой и рогатой картонной маске с расписным коромыслом через плечо. Я переживал за нее, но представление прошло гладко, и малыши сорвали свою долю аплодисментов. После сказки праздник сошел с заранее намеченного пути. Неожиданно Захаров вытолкнул вперед Педю и крикнул:

— Пусть споет! Он может!

Начальница растерялась и неуверенно кивнула.

Педя начал медленно, распевно. Голос его чуточку дрожал, но быстро креп, наливаясь ровным, высоким звоном.

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.

Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

Лицо Педи напряглось, на шее вздулись косые острые жилки. Он вкладывал в пение все силы.

Жалостливый мотив находил отклик в наших сердцах, выворачивал и раздергивал на части души. Это горькое горе давно уже поселилось у нас безвылазно, и конца ему не было видно. Хрустально-чистые звуки звенели как тонкие тугие струны, и я боялся, что мелодия вот-вот оборвется, мальчишка не вытянет, надломится, и растает сладостно щемящее очарование, когда мурашки ползут по коже, спазмы сжимают горло, и слезы блаженства росой выступают на глазах.

Словно завороженные, вслушивались мы в исступленное пение. В нем таились трогательно-надрывные нотки отчаянной мольбы, отголоски скорбного плача, журчание прозрачного родничка в темной, непролазной пещере. Все отталкивающее и неприятное в лице Педи сгладилось, стеклянный взгляд потеплел. Хрупкий, одинокий голос что-то вымаливал у жизни. Песня оборвалась, а запоздалый звук продолжал дрожать в притихшем зале.

Мы благодарно и долго хлопали. Лишь Никола с откровенной скукой поглядывал в окно, и его безучастность видимо беспокоила чуткое нутро Горбатого. Надумав что-то, он выкрикнул:

— Хватит нытья! Николу, плясать, просим!

— Пусть сбацает!

— Валяй! — согласилась начальница.

Неймется Горбатому, плясуна выискал, раздосадовано подумал я.

Задвигались стулья, бесформенным серым комом Никола пролез к лобному месту.

— Русская! С выходом! — объявил он уверенно и сосредоточенно, с напряженно-застывшей миной скользнул по кругу, сам себе подпевая, на ходу поддергивая сползающие штаны. Мы на разные лады подхватили разухабистый мотивчик. Внезапно Никола замер, залихватски свистанул и сыпанул легкой чечеткой.

От изумления у нас глаза на лоб полезли. Горбатый резанул родные зубарики, и их частый лязг как будто подхлестнул плясуна. Его ноги, гибкие и длинные, вместе с чечеткой выписывали вычурные выверты, а когда он рванул в присядку, пол заходил ходуном. Куда подевались его неуклюжесть и

неторопливость? Он даже отдаленно не походил на опухшего увальня, лениво посасывающего измусоленный окурок. Никола все ускорял перепляс, шлепал ладонями по коленям, по груди, выдрыгивал хитрые кренделя. Россыпь разудалой чечетки сама выщелкивала мелодию.

Сбродный ансамбль старшей группы наяривал на зубариках. Глазенки малышей искрились радостью. Они самозабвенно вышлепывали ладошками такт. Не покидавшее нас долгие дни беспокойство спало, растворилось в безудержном порыве пляски. Отхлынули недавние горести, занесшие нас в этот дом. Существовал только здоровенный разбитной бугай, лихо высандаливающий веселую дробь, и хотелось ему подражать, без боязни выскочить вперед и задать бешеного трепака.

— Во чешет!

— Лобает!

— Дает стране угля!

— Хоть мелкого, да до хера!

— Жги, Никола, жги!

— Ноги как макаронины!

— Выфигляривает!

— Эй, начальник! Хочу на волю! — развязно прокричал вошедший в раж Никола.

Он задыхался, но не покидал сцены и, пока хватило запалу держаться на ногах, выламывал замысловатые коленца и бесшабашно взбрыкивал. Вконец обессиленный, пошатываясь на подгибающихся ногах, он вернулся на свое место с пробудившимся, сияющим взором.

Мы били в ладоши, не помня обид и зуботычин, искренне приветствовали его поразительное мастерство.

Едва дыша, Никола привскочил и прерывисто гаркнул:

— Цыганку ломите! Она тоже умеет!

Смуглую девочку лет десяти, безволосую, темноголовую, вытолкнули вперед. В ее ушах сверкали полумесяцы сережек. Девочка плавно ступала, притоптывая каблуками и напевая протяжно:

— Кай енэ, да кай енэ…

Темп возрастал. Она то упоительно кружилась, широко раскинув руки, то заламывала их, то склонялась низко, едва не касаясь пола. Вся ее вертлявая фигурка извивалась по-змеиному, трепетно, не по детски дрожали плечи, и во всем ее танце чувствовалось что-то вольное, вызывающее и даже нахальное. А протянутые ладони занимались своим исконным ремеслом: выклянчивали хоть что-нибудь. Но подавать было нечего.

Совсем неожиданно отчудила маленькая цыганочка,

прибывшая вместе с нами. Метнувшись вперед, она без усилий, задорно и непринужденно повторила в малейших подробностях и танец, и наигрыш старшей соплеменницы.

Лапоть слетал в столовую за ложками и неумело принялся выщелкивать какой-то мотив.

Трогательное, дивное ощущение праздника пронзило меня, повлекло в нереальность беззаботной жизни, в которой можно было пуститься во всю прыть за цыганками, отколоть что-нибудь сногсшибательное, ошеломляющее для всего приемнитского сообщества.

По залу расплескалось самостийное веселье: кричали, хлопали, топали, — кто во что горазд. Горбатый орал:

У меня есть тоже патефончик,
Только я его не завожу,
Потому что он меня прикончит,
Я с ума от музыки схожу!

Встрепенулись гости, вскинулась начальница.

— Хватит! — громко прервала она бурливую разноголосицу. — Молодцы! Концерт окончен!

Зал зажужжал уже по-новому, скучно и деловито.

Похудели и съежились радужные воздушные шарики, уныло обвисли измызганные алой грязью мятые обои. Только одинокое лакированное пианино с замкнутой клавиатурой так и не исторгло из своих таинственно волшебных внутренностей ни единого звука, не нарушило своего затянувшегося безмолвия.

Гостей проняло и грустное пение и веселый перепляс. Чинно и умиленно выщебечивали они признательность слегка ошарашенной, растроганно улыбающейся начальнице.

Гости приложились к праздничному киселю и, откушав, обошли приемник. Скорей, скорей мимо детей, мимо столов и печек, с вымученными, натянуто-благоговейными улыбками да короткими деловыми фразами. Ни одного вопроса, ни одного слова воспитанникам, хотя осчастливить нас было так легко простым обращением: каждый мечтал о капле доброго внимания.

Мы не спускали с них глаз, любопытных, истосковавшихся по участливым лицам. Но от чужих физиономий веяло казенной осторожностью и холодной сдержанностью, словно помимо только что устроенной сладенькой показухи мы способны сорганизовать и нечто настоящее, — не дай Бог увидеть и услышать! — и гости отлично осведомлены об этом.

— Уедренивают! — зло проблеял Горбатый, глянув в окно. — Недолго музыка играла, недолго фраер представлял!

Педя, подражая голосу козлика, визгливо и очень похоже выкрикнул:

— Жил был у бабушки серенький козлик, а?

— Хрен на! — рявкнула в ответ группа как вышколенная.

— Серенький козлик, — продолжил Педя. — Бабушка козлика очень любила, а?

— Хрен на! — отозвалась снова группа. — Очень любила …

6
Праздничный вечер

Засиженная мухами лампочка на длинном шнуре то отчаянно разгоралась и больно слепила глаза, то багровела и почти совсем гасла. Трепетный свет лизал желтые лица на белых подушках.

Никола с веселой компанией старших ребят притащился к нашему камельку, в гости к Горбатому и Педе. Костлявые спины и плоские зады опоясали горячие бока печки. Настрой сегодня особый. Пережитое возбуждение разбередило и согрело души, не терпелось продолжить утренний концерт. Николу распирало желание петь. Он заводил негромко еще в группе:

На углу стоит громила, дзын, дзын, дзыя!
Эх, некрасивая на рыло, дзын, дзын, дзыя!

Но не пошло; дверь в зал не закрывалась, ребята сдирали украшения, паковали их до следующего срока. В спальне пришла пора дать себе волю. Никола встал в позу и басовитым, режущим слух козлетоном гуднул:

Вот заходим в ресторан, дзын, дзын, дзыя!
Да Гришка в ухо, я в карман, дзын, дзын, дзыя!
Да ты буфетчик-старина, дралапуд, дралая,
Наливай бокал вина, да, да, да!
Если, курва, не нальешь, дзын, дзын, дзыя,
Да по зубам ты огребешь, дзын, дзын, дзыя!

Никола задирал физиономию к потолку, словно вторил какому-то неясному, будоражащему мозг зову. В такой разухабистой манере он еще никогда не орал. Что его растравило? Жажда превосходства не только в силе, воровстве, пляске, но и в пении? Возможно, его терзали невнятные, восходящие к диким предкам инстинкты, вызывающие неудержимые взвывы собачьей глотки вслед низко звучащей струне?

Трубный рык Николы ожег ледяным ветром: сказкам — сказочное, нищим — нищенское. Легкий налет утренней печали растаял во тьме непроглядной ночи, прильнувшей к квадратам окон.

Никто не поддержал пение, только заснувший малыш глухо

всхрапнул простуженным горлом. Никола надрывался один:

Вот приводят нас на суд, дзын, дзын, дзыя …

Снова никто не подтянул, и певец, почуяв неладное, замолчал. Пришельцы выжидательною косились друг на друга, не нарушая хрупкой тишины спальни. Первым спохватился контролировавший ситуацию Горбатый:

Вот защитничек встает, дзын, дзыя, дзыя …

— Подгребай сюда, Никола! — он выпихнул онемевшего от удивления Педю, визгливо прикрикнув:

— Ты, нытик, не выкобенивайся! Закатаю в лобешник, будет тогда о чем скулить!

Клонило в сон, но пока темное скопище старших реят не уберется к себе в спальню, о сне следовало забыть.

Отторгнутый Педя медленно скользнул по проходу, всматриваясь в лежащих детей.

— Эй, волки, Толик задрых! — громко зашептал он.

Подошедший Никола дохнул махорочном дымом в нос спящему. Толик встряхнулся, бессознательно увертываясь от удушливой струи. От печки донеслись одобрительные смешки. Никола дохнул еще раз. Задыхающийся Толик поперхнулся и судорожно закашлялся. Потешаясь, Никола дымил и дымил в лицо спящему мальчишке, очумело крутящему головой.

— Задает храпака, не пронять. — Тряхнул лохмами Никола, а Горбатый добавил:

— Фраер спит и задом дышит, суп кипит, а он не слышит.

— Велосипед ему, сразу очнется! — подсказал Педя.

Горбатый осторожно засунул меж пальцев ноги Толика клок серой ваты из драного матраса и поджег ее цигаркой. Я вытянул шею и настороженно следил за их действиями. Вата неярко занялась, зачадила. Едкий запашок паленого проникал в ноздри, щипал глаза. Толик не шевелился, хотя бледная искра пугающе тлела и дымила на его ноге. Вдруг он взбрыкнул и крутнулся на другой бок. Пацаны неуверенно всхихикнули. Никола наблюдал с нескрываемым интересом, как за подопытным кроликом. Ребята на койках напряженно молчали. Ожидание достигло предела, и Горбатый спасовал: набросил полотенце на дымящийся клок и рывком скинул его на пол.

Толик вскочил, тараща бессознательные спросонок глаза, и оглушительно вскрикнул.

— Не шипи, — приказал Никола.

Толик схватился за ногу и завопил:

— Ой, больно!

— Заткнешься, ты! — зажал ему рот Горбатый. Вой стал глухим, задавленным:

— За что, за что вы?

— Тихо!

Толик ткнулся лицом в подушку и зашелся горестным плачем.

А Педе неймется. Согнутой тенью двинулся он вдоль коек, выискивая подходящую жертву.

Я пристально следил за его приближением, даже приподнялся на локте: мол все вижу, не лезь! Рядом на спине, конечности вразброс, разметался брат. Тонкая слюнка стекала с уголка его приоткрытых губ и расползалась темным пятнышком по подушке.

Педя поравнялся с нами, равнодушно глянул мне в лицо и исподволь, одним движением выпростал писю из-под резинки шаровар. Струя мочи резанула прямо в лицо брату.

— Уйди, ты! — заорал я, отталкивая Педю.

Все во мне перевернулось, ожидал чего угодно, только не такой паскудной выходки. Я изо всех сил отпихивал Педю, а он с полной невозмутимостью хлестал как на клумбу, не переставая, на постель, на соседей, куда попадало. Захлебывающийся брат надрывно кашлял и отплевывался. Залитое лицо его исказила гримаса отвращения и страха. У печки давились безудержным хохотом.

— Ну, хохмач! — корчился и ржал Никола. — Учудил!

— Не личит святая водица еврейскому рыгальнику! — повизгивал и кривлялся Горбатый, пока Педя не угомонился.

Брат вскинул мокрые, ничего не соображающие глаза и пролепетал:

— Зачем, ну зачем ты!

— Это не я. Спи, больше не будут. — Концом простыни я вытирал его, а по моим щекам текли жгучие слезы обиды и бессилия.

— Хочу к маме.

— Нет мамы, спи.

— Нет есть!

— Не плачь, в субботу она, может быть, нас заберет.

— Сейчас хочу, домой хочу! — не унимался брат, повернув ко мне толстогубую мордашку с полными слез глазами. Он молил о помощи, а мое тело, осквернённое, опоганенное, билось и дрожало.

Не мог уберечь брата? Ринулся бы на Педю, вцепился б ему в глотку и не отпускал, пока не забили б до смерти. Трезвый голос увещевал: до него не добраться, перехватят. Их много, их так и подмывает покуражиться над слабым. Я ощущал это постоянно, потому и трепетал потерянно и безнадежно. К тому же, если я поднимусь, брат останется беззащитным, начнут и его бить. Брат поворочался, натянул на голову одеяло и ровно задышал.

Перекошенное родное лицо под струей бьющей мочи! Это далекое, истязающее душу видение не дает покоя, заставляет снова и снова переживать свою беспомощность, трусость и незатухающее ощущение вины.

Брат был медлительным недотепой. После блокадной голодовки он чудом выжил, только к трем годам научился ходить и говорить. Его доверчивость умиляла с первых минут общения, рождала трогательное чувство нежности. Я испытывал это чувство особенно остро возможно потому, что сам был злопамятен и вреден и ни у кого не вызывал приязни.

Что там еще за выкрутасы? Волки отвалили от печки и принялись мочиться в башмаки заснувших малышей. Скорей, скорей, запихнул я обе пары ботинок под матрас. Вроде пронесло…

Веки наливались свинцом. Сквозь полусон до меня долетел голос Захарова:

— … Оголец был, ночью в кальсонах по улицам шастал. Утром ни хрена не помнил.

— Ха, оголец! — воскликнул кто-то. — Да лунатики по крышам ночью расхаживают. Окликнуть не смей! Проснется, враз гробанется вниз, и кранты!

— И не лечат от этой напасти!

— Она заразная?

— Если спишь, и луна светит в лицо, непременно заболеешь. Так не передается.

— Любого усыпить можно, и он станет как лунатик, сукой буду! — подал голосок Дух, давно освоившийся в свите Николы. — Сонную вену сдавить вот здесь, под челюстью. Но не удушить до конца. Потом разбудить трудно, нужно по морде шлепать … Давай, Захаров, усыплю тебя. Очухаешься, расскажем обо всех фортелях, какие во сне выкрутишь.

— Не, сам усыпай, — отказался трезвый Захаров.

Дух обхватил горло ладонями и, кривляясь и паясничая, принялся себя душить.

— Куда тебе, хиляк! — подначивал Никола.

Перебирая пальцами, Дух поднажал сильнее, но не усыпал, а только багровел и натужно выкатывал глаза. Отчаявшись, он

пьяно зашатался и устремился к койкам, сметая все на своем пути, расшвыривая одежду, дергая за спинки кроватей, переваливаясь через спящих детей. Разбуженные малыши испуганно пялили глазенки, встревожено и жалостно хныкали.

Буйная выходка распотешила раек у печки. Ребята подначивали и подбадривали бесноватого лунатика.

— Раздухарился!

— Удержу нет!

— Чудик из приюта!

Ободренный Дух ломался и скоморошествовал вовсю. И приспело время. Никола дурным голосом исторг свою родную, неудержимую песнь:

На углу стоит толпа не зря, да, да!
Эх, граждане, послушайте меня, да, да!
Дрын дубовый я достану
И чертей метелить стану!

Ему помогали жиденькими, срывающимися голосами. И этот вой уже не казался неуместным и диким.

— Волки! Чего меня не будите?! — Притомившийся Дух сам себя со смаком хлестанул по щекам.

Зараженные лунатизмом, приятели Николы сорвались с мест и принялись усыплять сами себя. Как шальные, в избытке жизненных сил метались они по спальне, сдергивали одеяла, швырялись подушками, щелкали по носам и ушам плачущих малышей, сталкивали их с коек.

Горбатая тень резво жарила по постелям из конца в конец спальни, наступая на шарахающихся, вскрикивающих детей.

— Очертенели, — пробормотал я.

В ответ — матерная брань.

Башка гудела медным звоном. Я тяжело ткнулся в подушку, в болезненном напряжении пытаясь сохранить ясность сознания. Но сон накрывал меня темной волной. Обалдевший, захлебнувшийся, я с трудом приходил в себя.

Докучливый балаганный гам то пропадал, то прорезывался вновь. Когда же они уймутся?! И чего они повадились к нам в спальню каждый вечер? … Хотя, пусть хоть по потолку ходят, только на меня не падают. Буду спать. А как же брат? Нет, нужно держаться, а то удумают новое издевательство, похлеще пединого.

Меня знобило от устрашающих выкриков и беготни. Хотелось исчезнуть куда-нибудь, впасть в беспамятство, только бы не видеть и не слышать ничего. Проспать бы до самого отъезда из

ДПР, — прицепилась блаженная мысль-мечта. Какое это счастье, не находиться в среде враждебных или просто чужих, ненужных людей!

Наверное я ненадолго вздремнул и, преодолевая сон, в страхе выкарабкался в явь. Накал лампочки почти совсем сел. Пришлая пацанва шевелящимся, расплывчатым пятном темнела у печки. Знакомые голоса доносились как из подземелья: бу-бу-бу. Неожиданно из слитного гуда вырвалось слово «еврей». Сна как не бывало! Последняя фраза еще не отзвучала в глубине сознания, и я разобрал ее смысл:

— Иисус Христос был еврей, б… буду!

— Ты, христопродавец, заткнись!

— Что русские жиду молятся?

— У евреев свой Бог.

— Пусть Жид ему и молится.

— А мы позырим, поможет ему или нет?

— Нам помогает?!

— Так мы и не молимся, Бога не знаем.

— Потому и несчастны с детства.

— Жидам хуже всех, у них своей земли нет.

— На нашу зарятся, хотят заграбастать.

— Что им остается?

— У чучмеков и то свой край, свои чумы и огороды.

— Не обломится жидам. Не на таких напали. Бог у них слабый, — объяснил Никола и продолжал: — Наш Бог сильнее всех. Никому не позволит нашу землю оттяпать.

— Бога-то нет?

— Как нет?! Кто все сотворил? Землю, небо? Кто людской род затеял? — возмущался Горбатый. — Откуда мы все?

— От обезьян.

— А обезьяны откуда?

— От других зверей.

— А самые первые звери откуда?… Молчишь?! Бог все породил, некому больше.

— Куда все деваются после смерти?

— К богу уходят. Вот Ленина не захоронили по-христиански с миром, душа его бродит по свету, и жизни нет и не будет, пока его прах не предадут земле и вечному божьему покою.

— Бог все видит, все знает. И за наше несчастье нам воздастся, — чревовещал и проповедовал набожный Горбатый.

И меня пронизывало исполненное священного трепета подобострастие перед непостижимым величием и бесконечной глубиной его вопросов и всей услышанной проповеди.

— На том свете.

— Может и на этом. Бог незримый, но добрый.

— А кто самого Бога создал? — спросил Царь.

— Другой Бог, более сильный, — уверенно заявил Никола.

— Мой дед говорил, что все идет от картошки, — заколобродил Лапоть. — От нее от гниючей дети родются и свиньи плодются.

— Не кощунствуй! Боженька накажет!

— И так наказаны. Куда больше?

— Отсохнут руки и ноги или окривеешь, тогда повякаешь!

— Вот и пойду к Богу в рай, пусть лечит.

— Бог только праведников исцеляет, а ты вор!

— Говорят, в Старо Успенском монастыре чудо свершилось. Безногий пошел и слепой прозрел.

— Где это? — встрепенулся Горбатый.

— Отсюда не видать.

— Говори, ты, падлюга, мать твою етит!

— Не знаю, слышал…

Да, — думалось мне, кто же тогда все создал, если не Бог? Пожалел бы Он нас и позволил спокойно, без боязни уснуть.

Вспыхивали огоньки чинариков, дым заползал в нос.

Подсознательно я вбирал в себя малейшие изменения тональности разговоров, удерживаясь на грани сна и ожидания: что еще выкинут? Ночь неспешно накатывала тишиной и усталостью, отсекала вычурный настрой от чего-то своего, печального и таинственного. Ночь излучала надежду.

— Спой, — попросил Захаров.

— Отвяжись! — огрызнулся Педя.

— Не ломайся, не целка! — квакнул Горбатый.

Педя запел, протяжно и неизменно тоскливо.

Течет речка, да по песочку, бережочки точит,
А молодой жулик, удалой жулик у начальника просит…

К одинокому голосу подвалил тоненький, вибрирующий подголосок. Некоторое время они пели вместе, потом, приглушая их, завторил голосина Николы:

Умер жулик, да умер жулик, умерла надежда,
Лишь остался да конь вороный, да сбруя золотая.

Негромко подвывали все, кто не спал. Горбатый по обыкновению побрякивал на зубариках. Жалко до слез и мертвого жулика, и его любовь, а черный гроб, плывущий над суровой

толпой, мерещился в ночи, и сердце сжималось от страшной тоски и ужаса смерти.

Я упивался печальными звуками, шептал слова и, убаюканный протяжно-вкрадчивыми голосами, непроизвольно погружался в полудрему. В любой момент, учуяв опасность, готов был очнуться и защищать себя и брата.

Педя выскуливал еще более печальную и близкую нам песню:

Бледно луна озарила тот старый кладбищенский двор,
А там над сырою могилкой слезы лил маленький вор…

Рассеянная пением чумная явь отступила, напряжение спало, даже голод милостиво отпустил, не терзал пустой желудок. Звуки прокрадывались из полутьмы, влекли в мир доброты, бередили душу. От них теплело на сердце, добрели мысли. И вместе с отцом-прокурором мы лили слезы над сырой могилкой маленького вора, над своей собственной могилкой, жалуясь на судьбу и вымаливая пощаду. Кто в этой жизни, как не маленький вор, был достоин нашей любви и жалости?

Задушевное пение заполнило спальню и весь недоступный мир. Одна песня следовала за другой. Зияли темные дыры воющих ртов, глотки исторгали боль и мольбу. И что-то высокое и прекрасное наполняло нас, звало навсегда остаться в этой мелодии.

Песни дарили приют нашим грубеющим душам, не позволяли безвозвратно исчезнуть не только последним крупицам памяти о былом, но и ласковым словам о бедной маме, загубленной жизни, тлеющей надежде. Мы пели, и не бывало бессмысленных оскорблений, ругани, драк и издевательств. Мы пели, и пропадал агрессивный настрой сильных, их дикая тяга давить и ломать достоинство малышей. Мы пели, и притуплялось ожесточение, забывались обиды и страхи.

Пение примиряло и уравнивало всех, сплетая в единый хор разноголосый скулеж и четырех-пяти летних заморышей, и по-детски добреющего Николы. Безнадежно покинутым и голодным, нам ничего не оставалось умиротворяющего и утешающего, кроме пения. Только песня приносила забвение, согревала одинокие, исстрадавшиеся души.

Мы не знали, от кого унаследовали свои песни, когда впервые услышали их. Через месяц, другой по приезду в ДПР безотчетно казалось, что они родились и поднялись вместе с нами, частицами нас самих. В песнях слышались стоны отчаянных, переступивших последнюю черту, плач обездоленных над тенями

погибших. И горе, неизбывное русское горе. Оно выплескивалось панихидой по растерзанным маленьким жизням, заставшим в разорении и воинственной нетерпимости голубой благодатный мир.

Я дурел от полуночного бдения.

Постепенно голосов в хоре убывало, усталость брала свое, одолевала даже самых крепких.

— Паханы, — хрипел благодушно Никола. — Кончай базар, начинай торговлю. Маруха заждалась.

Потянулись к двери темные призраки, взлаяли на прощание:

Если скучно будет вам, дзын, дзын, дзыя,
Приходите в гости к нам, дзын, дзын, дзыя.
Мы вам фокусы устроим, дзын, дзын дзыя,
Без ключей замки откроем, дзын, дзын, дзыя!

Укочевали.

Вместе с ними дальше и дальше в ночь уплывало ощущение живой, близкой опасности.

Ночь подступала со всех сторон. Ночь распростерлась над затихшим домом, завладела измученными чувствами, опутала полуобморочным сном. Я тонул в гробовой тьме забытья и, захлебнувшись на глубине страшным видением, в панике выныривал на поверхность дыхнуть и прийти в себя.

Виделся мне нехороший сон. Синее рыло Николы со страшным оскалом наползало сверху, волосатые ручищи с вздувшимися бицепсами тянулись к моему горлу. Пальцы напряглись в последнем усилии, широкие скулы надвигались все ближе. С желтых клыков срывались соленые брызги и били мне в лицо. Одолевая отвращение, я рвался вцепиться ему в зеньки, выдрать их из орбит. В этом единственное спасение. Но не находил твердой опоры, парил в невесомости прострации, не принадлежа самому себе.

Животный страх завладел растревоженным сознанием и не отпускал даже во сне. Весь в поту, я пробуждался от собственного вопля, присаживался, жадно хватая воздух разинутым по рыбьи ртом.

Все спали.

Горбатый тяжело стонал, скрипел зубами. Голова Педи на тонкой веревочной шее безжизненно свешивалась с края постели. Голова висела вертикально вниз, макушка едва не касалась пола. Тяжело ворочался Царь. Сосед по койке возложил на него руки и ноги.

Прошлепал полусонный малыш, побулькал, потарахтел над

парашей, и снова неровные переплетающиеся звуки шумного дыхания множества глоток наполнили бледный полумрак. Хриплые, со свистом и всхлипами, рулады вздувались как кузнечные мехи. Носы высасывали остатки воздуха из густого настоя испарений параши и махорочного дыма.

Большинство здесь, — ребятишки из малышовой группы.

Перхающим кашлем, словно бухая кулаками по басовым клавишам рояля, взорвался в дальнем углу шпингалет с яйцеобразной головой. Мать бросила его из ненависти к отцу немцу. Неразборчивым бормотанием вторил ему сосед, подвижный трехлетний щебетун, о котором не было ничего известно вообще: ни имени, ни фамилии. Он и разговаривать не умел. И таких, подзаборных, много.

Безыменная троица головастых сморчков с вздутыми животами разметалась на одной постели в самых необычных позах. Кряхтят, наползают друг на друга. Не поймешь, чьи ноги, чьи руки? Одеяло сползло, валяется на полу.

А этот новенький бредит неуемно. Привезли на блестящей легковушке. Божился, что легковушка папина. Рядом с ним плутоватый гаврик — подкидыш ДПР. Явно знает, где мамка, но не скажет, хоть убей: хлебанул горюшка, наголодался на волюшке, ему и приемник рай.

Но о большинстве известно абсолютно все — безродные, родители погибли на фронте или в заключении. Некоторых лишили родителей и война, и тюрьма, так что каких больше, не сосчитать.

Внезапно чистый голосок взмыл над всеми звуками:

— Мама, мамочка! Где ты?

Сквозь забытье и удушье сверлила мысль: придет ли день? И опять соскальзывание в мир беспамятства.

Днем, после беспокойной ночи, шумело в ушах, давило в груди, все тело было словно истоптано. Потом снова вечер, снова гнетущая, мучительнее голода, жажда сна и изнуряющее бдение с леденящим страхом перед пробуждением в ночи, когда смерть так ужасающе близка и непостижима.

7
Ожидание в толпе

Наползала зима. И рассветы, и закаты тонули в мутной серости облаков. Чуть развиднеется к полудню и сразу же, словно одумавшись, кто-то опускает на окна непроницаемый занавес тьмы.

Лениво ковыляла череда неразличимых как близнецы дней бесконечно растянутых голодом и ожиданием. В наших костенеющих мозгах тлела одна мысль: когда же, когда эвакуаторша привезет путевки в детдом? Мы заранее знали о ее деловых поездках в Ленинград и нетерпеливо гадали: добудет или нет? Такими вечерами нам не сиделось в группе. То один, то другой выскакивал в коридор и робко, как провинившийся безобразник, заглядывал в канцелярию. С замиранием сердца, с молитвенной искренностью ловил безучастные взгляды взрослых, — и возбуждение спадало сразу: нет, и на этот раз нет!

Так безнадежно больной в установленные часы тянется к заветной склянке, свершая однажды заведенный бессмысленный обряд. Сознание давно постигло, что болезнь неизлечима и заглатывание лекарств бесполезно, но ничего изменить не может. Так и мы, отчаиваясь и оживая, спешили к заветной канцелярской двери. С путевками было глухо, но сознание не могло, не желало мириться с безысходностью. И казалось, время потекло вспять.

Первые недели на каждый поскрип дверей, громкий возглас в зале, я вскидывал голову и ждал: сейчас выкрикнут мою фамилию и прикажут немедленно, безотлагательно, не теряя ни секунды, собираться и спешить на вокзал. Меня жгло, раздирало и доводило до отчаяния нетерпение. Я не просто ждал, я жаждал, мечтал, призывал и молился б, если умел, этим непробиваемым путевкам. Они воплощали весь смысл существования, а неведомый детдом представлялся райским уголком, всплывающим в воображении далеким расплывчатым миражом. За всю долгую зиму этот мираж не вобрал в себя и десятка счастливцев.

До нас доходили слухи о долгих мытарствах эвакуаторши в очередях какой-то шарашкиной конторы НКВД, ведающей распределением детей. Но вышибить путевки в переполненные детские дома было во много раз труднее, чем попасть в ДПР. Раз за разом она возвращалась ни с чем.

Утлый ковчег ДПР дрейфовал во тьме непогоды и забвения. Горизонт сузился и поглотил берега, забившие трюм пассажиры

тупели и грезили о чуде. Чудес, как назло, не случалось. Вопреки всему, наивная надежда не гасла, да и выбора не было, оставалось ждать и надеяться.

Дальше в зиму, — муторней на душе. И не разобрать, откуда это ощущение глубокого несчастья, эта изводящая тоска. С ней не совладать, ее не отогнать даже воспоминаниями. Временами я не находил себе места, с трудом скрывая от окружающих свербящую внутреннюю боль, когда казалось, что ничего больше в жизни не будет, кроме занудных приемнитских будней.

Капли сиротского половодья сочились и сочились. Приводили и привозили вполне ухоженных малышей, закутанных по-домашнему в пальтишки и мамкины платки, с заботливо собранными, чистенькими, помеченными пожитками в чемоданчиках и баульчиках. Таких на санобработку не гоняли и в казенные шмотки не облачали.

Росло понимание: застряли мы в этой скрытой от посторонних глаз дыре надолго. Только воспитатели здесь не задерживались; увольнялись, бежали и от видавшей виды, прожженной бродячей братии, и от вздорной и властной начальницы. Старшая группа пошла по рукам с предпраздничных дней. Кто только нас не караулил?! От тети Дуни до самой начальницы. Воспитательниц сменилось так много, что их будто и вовсе не было. В группе мы почти всегда оставались одни, без взрослых. И была у нас своя жизнь со своими вождями, законами, верованиями и ценностями.

Сосредоточением всех устремлений, интересов и забот была еда. Жгучий уголек тлел в пустом желудке от кормежки до кормежки. Томительным кругом ожидания благостного звоночка измерялся день. После отбоя мы просто шалели от голода. Есть, есть и есть! — требовала пожирающая самую себя утроба.

Нас не оставляла злая убежденность в вороватости повара. Даже прозвище ему досталось необычное: Жирпроммясокомбинатименикирова или, коротко, Жирпром.

— Жид привалил!

Из-под навеса сараюхи, где горой были накатаны толстые лесины, вышло несколько пацанов — сегодняшняя артель пильщиков. Я здесь появился впервые, и это их удивило.

— Пособи, пособи, а мы покантуемся покамест, — деланно обрадовался Никола и уступил место у козел. — Перекур с дремотой!

На козлах лежал толстый березовый комель. Пила наполовину врезалась в его белую мякоть. Я ухватился за ручку пилы, — ни с места! Потянул двумя руками, — куда там!

— Давай, давай! Ать, два, — взяли! — веселились заготовители дров.

— Кишка тонка!

— Он спец по колке.

— На колун.

Сгорая от позорного ощущения собственной никчемности, рубанул я по круглой, только что отпиленной чурке. Кругляш полетел в одну сторону, колун в другую, задев меня обухом по шапке.

— Мотай в группу, позорник! — приказал Никола. — Чтоб духом твоим здесь не пахло! Пальтуху отдай Захарову, пусть выходит ишачить!

Эта демонстрация немощи стоила мне дорого: всю долгую зиму я безвылазно просидел в доме.

В ДПР не было зимней одежды. Поначалу нам разрешали гулять в привезенных из дому пальто и шапках, но еще осенью их разворовали. Спохватились поздно: к наступлению холодов по рукам гуляло пол дюжины драных стеганых ватников. Их с трудом хватало на артель пильщиков.

Печи ДПР пожирали тьму дров, а в огромную кухонную плиту можно было швырять поленья как в прорву.

Дровоколы не только вкалывали. Они успевали на часок-другой смотаться в город, потолкаться в очередях и базарной толпе, пошарить по ледяным помойкам и у овощехранилища, что-то стянуть или найти. Такие отлучки помогали сохранить здоровый настрой, отвлечься от занудной толчеи группы, забыть хоть на время о непробиваемых путевках. Пилка дров считалась привилегией. Ее-то слабаки были лишены.

Приносимые новости были единственной ниточкой, связывающей нас с волей. Мы ловили каждое слово вернувшихся с прогулки пильщиков, жадно впитывая недоступные нам уличные впечатления.

Красномордые заготовители слетались в группу, потирая онемевшие от мороза пальцы, постукивая негнущимися ботинками. Обнимали с блаженством печку, плотно льнули к ней промерзшими на ветру телами. От них струил пьянящий запах морозного воздуха, свежих опилок и вольной жизни. Не чета нашему протухшему скопищу!

Лапоть разжился сахарной косточкой. Пряча глаза, тут же принялся за нее. Грыз смачно урча, громко высасывая таявшую в тепле жирноватую влагу. Захаров набил запазуху мерзлым черным картофельным гнильем. Он вынимал и раскладывал его на коленях, отирал о рубаху и шаровары талую грязь. На вопрос:

«Где добыл?» — ответил:

— Купил-нашел да еле ушел, если б догнали, больше б дали!

Дух сосредоточенно выуживал из карманов замусоренный овес, сдувал соринки и рассказывал:

— У базара кляча с торбой на глазах. Жует овес, сука! Дерганул торбу, не поддается! Ухватил за уголок и ну трясти. Что просыпалось, собрал. Не шакалил, падлой буду!

Кто-то из ребят ухитрился раздобыть жмых или, как мы выражались, дуранду: темные каменные брикетики с вкрапленными ошметками мякины.

— Что в клювиках, черти? — любопытствовал Никола, досматривая и оценивая немудрящий фарт.

Все, кто промышлял в городе, настреляли чинариков и теперь удовлетворенно отдавали их главарю. Только Горбатый притащил хлеб: затрушенный, объеденный кусочек. Разломив, подумал и большую половину вручил Николе.

— У церкви сшибал? — хмуро спросил опытный Никола, недовольно оглядывая мизерное подношение.

— Ага, — сдержанно ответил Горбатый, искательно глянув на предводителя. Ничего оправдательного не придумал и, решившись, возбужденно заговорил:

— Нищих на паперти, — не разгрести! Я в сторонке. Запахнул полуперденчик, согнулся, зырю! — Горбатый скорчился, став еще меньше, и скривил сизую образину. — Канючу:

Жил я когда-то
С мамой и с отцом,
Жил, как вы, богато.
Все прошло как сон.
А теперь я хилый
По дворам сную,
Прошу: «Дайте милость!»
Песенку пою.

— Сбоку — фря! Роскошная, буфера — во! За версту духами шибает. Торк мне что-то, я и в толк не возьму? … Ридикюль открыт, а там гроши пачками!

— Упустил, гад! Рванул бы и деру!

— С фраерюгой шла, сука! А то б… Пожалела таки, раскошелилась. Отвалила вот. Горбатый стискивал в кулаке деньги, радостно и немного обеспокоенно.

— Зажал? Много там? — потянулся к нему Никола и внезапно коротким движением перехватил цыплячью лапку счастливца. Без видимых усилий разжал кулачок и прикарманил

все, без дележа.

— Отдай! — безнадежно канючил Горбатый, еще минуту назад такой довольный. Видимо не впервые постигая горькую меру своей хвастливой болтливости, он плакал злыми слезами и грозил:

— Сорвусь к фиговой матери!

— Попутный ветер в жопу дует!

— До весны покантуюсь. Потеплеет, ничто не удержит!

И впрямь, чего он здесь застрял? На воле запросто бы прожил. Хлеб зашибает, никто больше этого не может, как ни натаскивает их Никола, как ни усердствуют они в учебе, шмоная наши пустые и дырявые карманы. Сбежал бы Горбатый, было б здорово! И нам, и ему!

— Подкинь хоть рубчик!

— Чо, чо? — Топорная морда Николы угрожающе напряглась.

— Через плечо, не горячо!? — забрехал Горбатый, но в его брехе ясно слышались покорные нотки.

По углам открыто и втихаря вершили обмен и дележ. Препирались и ссорились, пытаясь за фантики, гнилую картошку и жмых выжилить законную шамовку: пайку или бацило. Торжище длилось недолго. Скудные трофеи разбежались по карманам.

Никола свежевал чинарики, ссыпал табак и махру, иногда восклицая:

— Во надыбал! Не раскурена! Живут же черти!

Притихший Горбатый что-то писал, усердно мусоля языком химический карандаш.

— Донос намарал? — полюбопытствовал Никола.

— Не, Святое Письмо.

— Просвети-ка!

Запинаясь, Горбатый прочел:

— «Святое Письмо. Мальчик, двенадцати лет, увидел Бога в белой ризе. Сказал Бог: ‘Передай это письмо. Ты получишь счастье.’ Молитесь Богу, Святому Духу! Не забывайте Святую Богородицу! Не обижайте нищих! Одна семья передала письмо, девять раз переписывая. Получила счастье. Другая порвала, получила неизлечимую болезнь. Передавайте письмо, кому желаете счастья, и загадайте желание. Исполнится через тридцать шесть дней. Продержишь письмо три недели, получишь горе. Слава Святому Духу! Аминь!»

— Перепишу девять раз. Молиться буду, свечу поставлю. Распрямит Бог, в монахи постригусь.

— Тоже мне, святоша! Вали к врачу!

— Не учи ученого … Вали сам, пентюх!

— Или к знахарке. Заговорит, заворожит.

Набожный Горбатый насторожился, но, подумав, сказал:

— Не бывает такого. Только Бог может распрямить.

И продолжал писать.

За столом резались в фантики на щелбаны. Сколько я их наполучал! Прижмурившись, покорно подставлял лоб, убеждая себя, что это в последний раз, и больше ввязываться в игру не буду. Не удерживался и заводил по новой.

Потертые, вывалянные в карманах конфетные обертки! Единственное развлечение тех дней. Они были необыкновенно дороги и желанны не меньше, чем конфеты домашним детям. Мы внюхивались в их слабенький вольный аромат, вчитывались в названия. Будь то вощеная бумажка из-под барбариски или белая плотная обертка с аляповатым рисунком, мы одинаково берегли их. Они составляли все наше достояние. Мы складывали их квадратиками и подбрасывали ударом ладони о край стола. Пестрой бабочкой взмывал фантик вверх и, опустившись, накрывал такой же квадратик соперника. Иные драки вспыхивали из-за одного неподеленного фантика. Побежденному заламывали руки и устраивали тотальный шмон, изымая накопленное богатство, если таковое находилось. Фантики старели, теряли свой лоск, но не свою ценность. За неимением денег в карты играли на те же фантики.

За бумажными ценностями — не простая жизнь.

Дальше в зиму — скуднее фарт заготовителей дров. Постепенно Никола наложил лапу на все их находки и подаяния. За утайку грозил мордобой и отлучение от артели дровоколов.

Скудность добычи и приемнитского рациона разжигали воображение. Не заладилось с трофеями помоек, — нет ничего проще, чем загнуть что-нибудь криминально-восторженное, пережитое или подслушанное в мутных толках грозной поры.

Вся атмосфера разговоров в группе была пропитана упоительными легендами о лихих налетчиках и грабежах с чудо отмычками и зэковскими фомками, о пальбе из обрезов и «пушек» по ментам, о черепах предателей, проломленных велоцепями и матросскими бляхами с напаянной свинчаткой, о малинах и хазах, где золото гребут лопатами.

Карманы блатных представлялись распухшими от похищенных перстней с бесценными брильянтами и гирлянд «рыжих бочат»-золотых часов на толстых, золотых же, цепях. Беззаветно преданных уркоганок воры обряжали в уворованные шелка и бархат, роскошные меха и парчевые туфельки, дарили им браслеты и побрякушки царского червонного золота. Сами воры щеголяли шикарными бостоновыми костюмчиками и скрипучими

сапожками гармошкой; во рту — неизменная золотая фикса. Тюрьма им дом родной, где можно отдохнуть и набраться сил.

Светлое будущее сияло всем. Только не сверни с праведной дорожки, будь безгранично и неколебимо предан правому делу. А кто не с ними, тот против, тот враг, лягавый мент. Сомнения в правильности таких воззрений или иные представления о жизни законного статуса не имели и никогда вслух не высказывались.

У Николы и его приятелей желание и готовность пойти на настоящее дело били через край, но по причине всеобщей нищеты высмотреть что-либо подходящее не удавалось. Пока до грабежа не дошло, любые мизерные кражи смаковались и обсасывались с не меньшим вдохновением, чем бандитские налеты мокрушников на нэпманские золотые россыпи, припрятанные в тайниках старых питерских квартир. В воображаемые роли входили как в настоящие и тогда искренне, развязно орали «Гоп со Смыком».

Горланили не только блатную похабщину, но и немыслимое на воле:

— Союз нерушимый, голодный и вшивый …

В отличие от мира взрослых, в наших общениях не было официально недозволенных тем, запретных границ. Вспоминались не только наши колонии и спецшколы, но и немецкие концлагеря и приюты. Сравнивали, где лучше баланда, откуда проще бежать. Хвастались, кто больше сменил фамилий и имен. Рекордсменом был Никола Большой; божился, что записан под тринадцатой фамилией, а настоящую оставил в колонии имени Горького еще до войны.

— Есть такой писатель, Макаренко, — как-то изрек Никола. — Он, халява, такого набрехал про колонию Горького! Будто там все паханы в ментов превращаются! Херня это, гадом буду! Глухая тюряга, как все прочие. Врут книги!

Зима выбелила заоконный мир. Мертвящий покой распростерся над заснеженным полем за рекой. Загудели ветрами ночки. Ночной дежурной числилась все та же кастелянша тетя Дуня. Наверх она поднималась редко, предпочитая покой теплой кухни и поскрип мягкого канцелярского дивана.

В спальнях мы оставались совсем одни, как потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове. И наступала разрядка после полуподнадзорного дневного томления. Каждый мог вытворять здесь все, что взбредет в голову.

Мой страх перед ночным шабашем с его непременной долей оскорблений и разгулом лунатизма понемногу притуплялся, теряя свою первоначальную остроту: заденут, толкнут, — не убьют, перетерплю. Правда, шалел я от неусыпного бдения, но попытки противостоять издевательствам над братом мне

удавались, и это вселяло некоторую уверенность.

Ночами не только развлекались, но и шарили по всем закуткам дома от каморки со швабрами под лестницей до чердака. Тащили любой хлам в надежде сбыть на толчке и разжиться съестным. Одно время потрошили темный чулан с домашней одеждой, изымая все, что поприличнее. С уменьшением запасов лежалое барахлишко перетряхивалось вновь и вновь с переоценкой его значимости; при каждом шмоне как бы снимался новый слой убогой добычи. Настала ночь, когда Горбатый вернулся из кладовой с пустыми руками.

— Ну? — спросил Никола.

— Гну! Безнадега! Все выудили, гадом буду!

— До низу-то докопался?

— Вали, пошуруй сам! Ни фига не осталось. Мешок Царя вообще пуст.

— А мой? — с робкой надеждой спросил я.

— Ты что, рыжий?

Не впервой я спрашивал о своих шмотках, это не возбранялось. Наоборот, похитители бравировали осведомленностью, а особо дотошные так часто проникали в кладовку, так тщательно изучили ее, что после очередного набега хвастливо перечисляли оставшиеся и исчезнувшие монатки. После таких откровений меня охватывало беспокойство: в чем уеду из ДПР? Обнаружат, что одежды нет, и оставят здесь навсегда.

— Не трухайте, — снисходительно утешал нас Горбатый. — Без порток отсюда не увозят. Не дотункали. А в детдоме казенное выдадут.

— Кто дошку Жиденка стибнул? — спросил Никола, обращаясь к сборищу у печки. — Сбагрил, ханыга, и тихарит, думает не дознаемся.

— Дунька стибздила, — предположил Горбатый. — Тоже не дура, будь спок!

— Хранительница! Мешки худеют, она не трубит.

— Шмонает на равных. Тертая перетырщица!

— Один нищий другого нищего портянку с****ил!

— Хрен с ней, айда кемарить. Маруха ждет.

Пришельцы, как всегда, жуликовато приторно заухмылялись и потянулись за вожаком.

Николина Маруха пригрелась в углу женской спальни с самого начала, когда приемник только организовывался. Она и в немецком концлагере была уборщицей, и у нас пристроилась посудомойкой. Это была бесформенная волоокая клуша лет тридцати со свалявшимися патлами неопрятных волос и низко

болтающимися грудями под мешковатым балахоном. Помогая на кухне, она часто и подозрительно подолгу запиралась там с Жирпромом. Никола грозился пришить и повара, и Маруху перед побегом из ДПР.

Маруха и тетя Дуня давно прижились в ДПР, стали его неотъемлемой частью. Упрямо мазалась к приемнику и Маня-дурочка. Ходил слушок, что ее собираются поселить в женской спальне, — очень подходила она малышам. Когда дозволяло начальство, она возилась с ними с утра до ночи: укладывала спать, умывала, читала и рисовала смешных сказочных персонажей.

Маня владела Божьим Даром: короткий взгляд, несколько точных росчерков карандаша, — и с листа бумаги таращится физиономия, необыкновенно смахивающая на оригинал то формой черепа, то очертаниями губ или ушей. Схватывала Маня самую суть.

Мой нос заприметился ей с первой встречи, и был начертан крайне изысканно и, конечно, очень похоже. Все потешались, а я, по обыкновению, разобиделся и порвал рисунок.

Ей не повезло из-за болезненного пристрастия к вождям, будившим ее творческое воображение. Изображение одного она беспрестанно набрасывала на всем, что попадалось под руки, но не в официально узаконенном виде, а в лихой, рельефной манере: лысина простиралась далеко назад, составляя добрую половину рисунка, глаза и губы подернуты блаженной улыбкой юродивого, улыбкой ее, Мани. Рисовала, приговаривая:

— Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич!

— Нельзя Ленина рисовать! — стращала воспитательница, махая пальцем перед Маниным носом.

Но в капризном упрямстве дурочка с невероятной быстротой набрасывала несколько одинаковых нестандартных физиономий. Упрямый бзик со временем приобрел определенную направленность, когда Маня, пообвыкнув в ДПР, стала во всеуслышание бесхитростно объявлять:

— Я выйду замуж за Сталина!

На увещевания дурочка не поддавалась, даже дразнилась резковато противным голосом:

— Выйду за Сталина! Выйду, выйду!

Все это отрезвило начальницу и решило судьбу дурочки: в ДПР ее не поселили. Но теплый приют привораживал. Не редко одинокая фигурка маячила у ворот или в палисаднике под окнами канцелярии в надежде на начальскую милость. С не меньшим упорством дежурила Маня и у кухни, куда вел

отдельный ход со двора. Куда еще ей можно было податься? Тюрьма и больница не про нее.

Пускали Маню в приемник с оглядкой, перед праздниками или в банные дни. Обычно же, когда она измозолит всем глаза, начальница кричала через приоткрытую фрамугу:

— Иди, иди в читалку!

Маня безропотно поворачивалась, медленно пересекала двор и, свободная, исчезала за воротами. Как и у нас всех, у нее не было ни родных, ни определенного занятия, кроме бездумного кружения по улицам. Ребята встречались с ней в магазинах и на базаре.

Морозным утром, закрученная в длинное, без пуговиц, мужское пальто Маня приблудной кошкой кралась меж деревьев: руки изогнуты кренделем рукав к рукаву, солдатская шапка-ушанка нахлобучена до бровей. Ее неодолимо влекло к людям в натопленную комнату. То и дело она мяла озябшей ладошкой шморгающий нос, и на ее посиневших губах теплилась недоуменно-угодливая улыбка.

Наблюдатели старшей группы давно засекли ее, но не ждали ничего неожиданного: не впервой носит дурочку у нас под окнами. Маня взошла на крыльцо веранды к запертой стеклянной двери, и здесь ее внимание привлек огромный ржавый замок. Склонив голову, она внезапно плюнула на него. Светлое пятнышко застыло на темной поверхности. Подумав, Маня принялась аккуратно оплевывать замок. В изумлении мы приникли к стеклам, поначалу не понимая, что происходит, а на металле раз за разом образовывался ровный орнамент из серых плевков.

Маня изукрасила одну сторону замка, подождала, пока слюны скопится достаточно, и проделала то же самое со второй. Она отрешенно, словно забывшись, долго разглядывала узор из плевков, потом вскинула рассеянный взгляд на окно и поплелась прочь.

Мне было жаль Маню, и было не понятно, почему не впустить ее хотя бы погреться? Ей вслед летели суматошные возгласы:

— Комедь!

— Чокнутая!

— В цирк ее.

Ребята корчили рожи, крутили пальцами у висков, довольные развлечением, а девушка ковыляла меж деревьев, скользя грубыми башмаками по утоптанной в снегу тропинке, путаясь в длинных полах пальто. Ветер трепал эти полы, хлестал ими по ногам в перевязанных шпагатом обмотках, сверкающих белесой ветхостью.

Ухмылки постепенно погасли, и мы снова погрузились в отупелое безделье. Показная насмешливость ребят не смогла затопить во мне тягучего чувства жалости и кровной близости к всеми отторгнутой дурочке, и от этого усиливалось ощущение одиночества и чужеродности.

Пришло первое письмо от мамы, и я написал ответ:

> «Здравствуй, дорогая мама. Мы очень обрадовались твоему письму и тому, что твоя работа в химцехе не тяжелая. Мы тоже живем хорошо, но не учимся. Гулять не ходим. Не играем, потому что игрушек нет. Ждем путевки в детдом. Поздравляем тебя с Великим Праздником Октября и желаем поскорее выйти из тюрьмы. Твои дети».

Письма от мамы стали приходить регулярно. Теперь я ждал еще и писем.

8
Кабала

Саданули морозы, сковали реку. Вьюжной ночью горбатый сугроб накрыл крыльцо веранды. К перилам примерзли лохматые снежные комья. Гладкое белое полотно устлало заречье. Грязно-сивая пена облаков цеплялась за вершины стылых деревьев. Кружила поземка. Озноб продирал от одного взгляда на зябкие ветви, трепещущие под беспокойными порывами ветра. Над темными точками печных труб курились дымки, быстро рассеиваясь и пропадая.

Рассеивались и пропадали надежды на отъезд.

Дуло из окон. Печи топили с утра до ночи. Зима стерла краски с лиц обитателей ДПР. Лица словно выцвели, поблекли. Сколько можно сидеть безвылазно в тесноте и табачном смраде? Сейчас бы на санках с горки, потом миску горячих щей да чугунок картошки в мундире!

Томительно сочились выхолощенные бездельем минуты. Я осязал и обонял каждую, я подгонял их. Бессмысленная монотонность дней вытягивала жилы. В группе царило уныние. Вылазки в город не радовали. Улицы обезлюдели, собирательство исчерпало себя. Напрасно петляли по полупустому базару заледенелые, потерянные добытчики, поживой и не пахло. Приваливали в группу пришибленные невезением, выворачивали карманы: трушенная махра да фантики, вот и весь фарт. Исчезла картошка — главное подспорье скудного рациона. Если и перепадала одна, две гнилушки, то уж такие вонючие и скользкие, что с души воротило.

Лапоть где-то нарыл скоробившихся, промерзших до черноты картофельных очисток, но испечь их не удалось, — сгорели дотла. Мешки с домашней одеждой опустели; убогое барахлишко новичков расхватывалось какими-то ушлыми пройдохами в первый же день, к ночи ничего стоящего не оставалось. В банные дни Никола со свитой учинял досмотр выданного нательного белья. Все приличное, годное на обмен или продажу, безоговорочно сблочивали. Не гнушались даже портянками. Взамен всучали полуистлевшее шмотье. Месяц, другой, — и на смену не выдавалось ни одних целых кальсон, ни одной нижней рубашки без желтых пятен и бахромы на рукавах.

Вечерние сборища у печки потускнели, лишившись прежнего полусытого довольства, предвкушения заветной печеной картофелины. Ее то, возможно, и не хватало каждому для

обретения душевного и телесного комфорта.

Уныло выли:

Эх, зачем я на свет появился?
Эх, зачем родила меня мать?

Пустая, набившая оскомину болтовня вязалась вокруг жратвы. Смаковали полузавиральные байки о былой сытости, изобилии ржанухи, лоханях с горячими клецками.

Наклевывалось рисковое дельце: ладились обчистить хлебную лавченку, сорвать жирный куш. Никола гнул и точил толстую проволоку, мастерил отмычку.

— Из бердан обрезы пилил, а это бирюльки! — бахвалился он.

Операцию собирались провернуть ночью, и Никола уже оговаривал свою долю, но когда настал срок, трезвый Горбатый отмахнулся от смелой затеи как от блажной придури:

— Ночью там крыс ловить! В очереди бьются с пяти утра, к обеду все похватают.

В воров только игрались.

Хищное выражение не сходило с серой моськи Горбатого. В городе он не по доброму примелькался. Лишь замаячит его волчья тень у рынка, ледащие крестьянские лошаденки взволнованно всхрапывали и лягались. Пару раз местные барыги наподдавали ему, и он туда заглядывал с опаской. О милостыне и думать забыл: как ни христорадничал, выклянчить ничего не удавалось. Калеки и нищие не признавали Горбатого за своего и гнали с паперти почем зря.

Оголодавшим стервятником озирал он шевелящееся живое стадо: кого избрать на заклание? Потаенное чутье верной добычи безошибочно вело его к цели.

Все чаще ощущал я на себе его пристальный взгляд.

В моем детстве не было ничего более прекрасного и желанного, чем кино. Я любил его беззаветно, как праздник, как награду за тягомотину детсадовских и школьных будней. Цирк, театр, зоопарк, — все это было почти из области фантастики. Кино было реально и доступно. Что бы ни крутили: бравурные довоенные ленты или захватывающие воображение картины о фронте, партизанах, летчиках и разведчиках, я смотрел их с проникновенным интересом, с искренней верой в подлинность. Брат и сестра любили слушать мои пересказы содержания картин, вместе со мной мусолили запавшие в память фразы. Я вживался в зримый мир фильма, так не похожий на наш каждодневный, и

расставался с его героями с нескрываемым сожалением, как с родными или друзьями.

Кино посулили нам ещё к празднику. Долго тянули, что-то не вытанцовывалось.

— Киношка едет! — оглушили нас новостью.

После обеда сволокли в зал стулья из всех групп, прикрепили к стене простыню-экран и стали привычно ждать: заняться-то все одно нечем.

Ранние сумерки зашторивали окна. Стекла поблескивали бисером напотевших капель. Сквозь неумолчный говор, плескавшийся из конца в конец зала, мы завороженно вслушивались в заоконную тьму.

Часа через два-три во дворе загрохотал мотор, и дом затрясся. Прикатил фургон с движком и проектором.

Радостью зажглись детские лица.

Привезли драную-предраную ленту Чапая. Я видел ее и не раз, но предвкушал новый просмотр с неподдельным восторгом.

Установили узкопленочный аппарат. Мы торопливо считали блестящие жестяные коробки с лентами и оглушительно орали:

— Шесть!

— Восемь!

— Десять!

Нетерпеливое ожидание достигало предела, пока механик тянул кабеля и настраивал динамик, а потом долго трапезничал в столовой. Словно заманивая на сцену надутого артиста-знаменитость, малыши били в ладоши, громко топали.

Показ не заладился с первых же кадров, когда Чапай вывалил на стол чугунок аппетитной картошки и заговорил назидательно и уверенно. То ли движок барахлил, то ли пленку заело, — кто разберет? Подвыпивший механик взопрел от усердия, разбирая и собирая аппарат. Мы только сетовали: что поделаешь, вся жизнь — сплошное ожидание.

После каждой части ленту мотали в обратном направлении и устанавливали новую бобину. Последовательность частей путалась, кино вертелось вверх ногами и задом наперед, пленка рвалась и пару раз ярко возгоралась.

В перерывах мы развлекались. Мощный луч проектора прорезал полумрак. Как можно было удержаться и не сунуть в сноп света растопыренные пальцы? Кино уступало место импровизированному театру теней: мечущимся по ярко освещенному экрану десяткам теней ушастых зайцев и рогатых чертей. Частенько все они не помещались в кадр, сливаясь в одно сплошное черное пятно.

На периферии зала палили из резинок, возились и боролись,

ползали по-пластунски под стульями, верещали и галдели, азартно обсуждая волнующие моменты картины. Самые смирные мяли в ладонях мякиши, отщипывая по крохе. Окрики воспитателей: «Тише, дети, кино будет!» тонули в слитном гуле обеих групп, сбившихся в беспорядке в переполненной комнате. Ровный стрекот аппарата минут на десять прерывал галдеж.

Одна из пауз затянулась. Ко мне протолкнулся Горбатый с широким ремнем в руках. Дуновение страха прошило грудь; уж очень он был близок, не улизнуть, не отвернуться.

— Слышь, Узя, сыграем! — вкрадчиво предложил он. — Все одно кина не будет.

Со дня прибытия я не слышал от него ни одного спокойного слова, только брань и хулеж с матом. Напускная подслащенность тона не оставляла никаких иллюзий, и все же застигла врасплох, притупила всегдашнюю бдительность и готовность к защите. До крайности истосковался я по доброму слову. А тут сам Горбатый снизошел до внимания, и льстило, что ему понадобился, даже очень хотелось понадобиться. Не ударил, не обозвал, хотя прозвищ и оскорбительных кличек у меня скопилось уйма. Не всегда и разберешь, окликают или обзывают. Простое «Жиденок» вместо «Жид пархатый, дерьмом напхатый» или еще что-нибудь похлеще с хаем казалось необычно приветливым. К тому же была у Горбатого какая-то притягательная внутренняя сила и властность, заставляющая покоряться и, не встречая привычной вражды, добреть, обманывая себя. Я боялся твердо ответить отказом и приниженно пробормотал первое, что взбрело в голову:

— Я не умею.

И ощутил неотвратимость того, что должно произойти.

— Зырь сюда, жмурик! — напористо заговорил Горбатый, складывая ремень вдвое и туго свертывая его кольцо за кольцом. — Скручиваю ремень. Ты суешь палец в центр круга. Распускаю: палец внутри петли — с тебя пайка, снаружи — с меня. Допер? Все честно, без балды.

Я с трудом переваривал смысл сказанного.

— Суй!

Я силился овладеть собой, разгадать, где подвох, и законно отказаться. Мысли метались в панике: чтобы Горбатый расстался со своей пайкой, — такого не могло привидеться и в больном сне. И я своей не рискнул бы; если чемуто и научила меня жизнь, так это ценить хлеб.

— Суй! — настаивал Горбатый, теряя терпение.

— Я не умею, — пробовал потянуть я время, ощущая полное бессилье перед явной опасностью и обманом. Слова застревали в горле, я замер как в столбняке.

— Что с ним рассусоливать! — неожиданно забасил рядом Никола. — Трахни в харю!

Ситуация стала безнадежной. Из двух зол, мордобой или грабеж, требовалось выбрать лучшее.

— Дрейфишь сразу на пайку, давай разок спонта, для близиру. — Горбатый почти насильно торкал моей рукой в ремень; я трусливо отстранялся.

— Ты ж клевый кореш, Жид! Свой в доску! — поднажал он и жестко просипел: — Суй!

От предчувствия неминуемой беды мутило. Понимал одно, — пропал, не выкрутиться!

— Не хочу …

— Кончай хипиш! К нему как к своему, а он … — Никола обхватил пятерней мою шею, пальцы впились в тело, почти сомкнувшись у горла.

Дикая боль диктовала одно: покорность. Я не выдержал и ткнул в центр скрученного ремня дрожащим пальцем. Ремень распустился и поймал его петлей.

— Должен пайку! — взвился Горбатый радостью. — Давай еще. Отыграешься и квиты!

— Не надо, — заскулил я, но хватка на шее сошлась клещами. Дальше упорствовать не было сил. Мухлевку вторично разыграли как по нотам.

— Должен две пайки! — хитро сощурился Никола и предостерег: — Заложишь, удавлю! Зеньки выткну! — Растопыренными пальцами он ткнул мне в глаза, мазнул вниз по щекам, сотворив смазь.

— Не вздумай жилить! Не вынесешь пайку, две стребуем! — пригрозил предусмотрительный Горбатый и, спохватившись, добавил мягко и вкрадчиво:

— Тронет кто, — свистни! В обиду не дадим!

— Ништяк! Айда арканить Царя!

Они поперли в самую гущу рядов, расталкивая малышей, отдавливая ноги зазевавшимся.

Досматривал фильм в смятении. Мысленно искал спасения, снова и снова проигрывал про себя пререкания с Горбатым: возможно, что-то не так сказано и можно будет отпереться. Одно было понятно: вляпался по всем правилам, по самые уши, теперь не выкарабкаться. Палец попал в капкан, и упорно зрела убежденность — останусь без руки.

Я старался не думать о предстоящем обеде, когда придется потянуть в себя кисловатый аромат хлеба, почувствовать на ладони его упругость и тяжесть, представить хруст корочки на зубах и, захлебнувшись слюной, передать в чужие руки. Как

вытерпеть, не сглотнуть собственный кровный ломтик? Напрасно пытался я сладить с разыгравшимся воображением. Смятение усиливалось.

К мыслям о голоде примешивались и опасения другого сорта. Воспитатели послеживали за тем, чтобы пайки из столовой не выносили. Любителей мятого хлеба это не останавливало. Однако одно дело, спокойно мусолить свой кусок и сунуть в карман его часть, если удастся, а нет — дожевать до конца. И совсем другое — вынести пайку во что бы то ни стало, целиком. Засекут, что пайка не тронута, заставят съесть.

Мне досталась поджаристая горбушка с липким довесочком. Я косился на желанный кусочек, опасливо озираясь. И дождался окрика воспитательницы:

— Почему хлеб не ешь?

— Я ем …

Я сжался в комок и судорожно, как раскаленный уголек, схватил довесок. Все видят, что я влип. Соштефаю для показа довесок, а горбушку спрячу. Горбатый не должен озлиться. Я надкусил довесок и принялся жадно дохлебывать постные щи.

Воспиталка тут же отвлеклась, заглянула на кухню, пообщалась с Жирпромом.

Я стрельнул глазами по сторонам, трясущимися руками впихнул горбушку в карман и замер в ожидании грозного окрика. Не представляло труда заметить мгновенное исчезновение пайки. Но страхи были напрасны, внимания воспиталки моя персона больше не удостоилась. Оставалось дожевать остатки довеска и поклевать второе.

Глазки Горбатого алчно сверкнули навстречу уже при выходе из столовой. Налетев на меня, он нетерпеливыми руками хватал, выдергивал вместе с карманом непослушный, застрявший кусок.

Возбуждение спало; первый шаг удачен, завтра непременно рассчитаюсь и уж больше рисковать пайкой не буду, пусть хоть задавят. От такой решительности здорово полегчало, я встрепенулся и завертел носом по сторонам.

Никола и Горбатый угрожающе надвинулись на меня.

— Жила! Закосил пол пайки! Думал, не углядим! Мастак на гешефты да шахер-махер! За жглотство должен еще пайку! — последовал приговор.

— Чтоб без всяких еврейских штучек! — Горбатый заскрипел на веселенький мотивчик:

Я никому не дам, пусть кушает Абхгам,
И будет мой Абхгам как чемодан!

На следующий день воспиталка заподозрила неладное в моем неловком дерганье за обедом и праведно взбеленилась:

— Выкладывай, что заныкал! Почему хлеб не ешь?

— Голова болит, — ошеломленно залепетал я.

— Сдай на кухню. Эй, подите сюда!

Отключилось сознание, и пока я приходил в себя, моя пайка перекочевала в пухлые лапы повара. Он таращился рыбьими зеньками и ничего не понимал.

— Зажрались! Порции слишком большие! Излишки изымать будем. Как вам не противно, есть мятую грязь!?

Воспиталка не сомневалась, что хлеб мы выносим исключительно из порочной склонности пожирать его в мятом виде. Все же она видимо заметила что-то необычное в моем растерянном взгляде, провожавшем уплывающий кусочек, но не отступила. Лишь промолвила:

— Сходи в изолятор. Может и впрямь заболел. Белый весь.

Меня не били, не тронули пальцем. Самодовольная ухмылка перекосила рыльце Горбатого, когда он с деланным негодованием напустился на меня:

— Ничего толком не можешь, фендрик! Все вынесли, одного тебя засекли.

Еще бы! Пока мне выговаривали за провинность, незадачливые горемыки, защелкнутые долговым капканом, спрятали хлеб под шумок. И таких горемык набралось немало. Никола и Горбатый были не в состоянии за раз слопать перепадавший им корм.

— Должен четыре пайки, — сказал мне Горбатый. — С обеда выносишь всегда, с завтрака и ужина — как засветится. Хочешь скорее рассчитаться — не скупердяйничай, гони должок! — Он извлек бумажку со списком клиентов и поставил в ней загогулину.

Истекла неделя. Я барахтался в бесплодных потугах покончить с долгом. Напрасные старания! Не было сил преодолеть себя и совладать с голодом. Я лишь прикидывал, когда смогу рассчитаться, если совсем перестану есть хлеб. Получалось через каких-нибудь три-четыре дня, — пустяк! Установленный срок проходил, а долг увеличивался. Вскоре с меня причиталось паек двадцать, и считать дальше стало бессмысленно. Это скольжение вниз, в бездонную пропасть неминуемо должно было плохо кончиться. С того момента, как Горбатый с ремнем в руках зацепил меня хищным оком, я предчувствовал несчастье и от этого предчувствия отделаться уже не мог. Оно превращалось в глубокую внутреннюю уверенность в том, что в моей жизни что-то сломалось навсегда.

Самое простое — втихую обобрать беззащитного и бессловесного. Воровство или нищенство на улице несравнимо более опасны и менее действенны. Хапнувший удачно входит во вкус и остановиться уже не может.

Множилось число должников, еще скорее множились долги. Поначалу сборщики мзды соблюдали видимость приличия: переговаривались полушепотом, пайки припрятывали. Вскоре же развернулись в открытую: что и от кого скрывать? Обдираловка обрела видимость законности, наваждением поразившей и ослепившей группу как клички, мат, драки и прочие атрибуты нашей жизни.

Горбатый понимал чрезмерность и опасность ежедневных поборов. С его молчаливого согласия, не сговариваясь, мы выносили хлеб через день-два, смирившись с ростом задолжностей. Потянул с оплатой, — жди расправы! И главари не рвались к определенности, спустив это дело на тормозах и с удовлетворением утверждаясь в своем праве карать и миловать.

К покорным питали хозяйскую снисходительность: умолил, выдумал оправдание невозможности вынести хлеб именно в данный момент, — простят до следующей кормежки. Пригрозят, конечно, и ругательски облают.

Настал день, когда Горбатый повелительно поманил меня согнутым пальцем:

— Махнемся!? Мне бацило, тебе пайка. Что, пайка не стоит бацила? Стоит, допендрил? Половину твоих долгов и обменяем.

Суть сделки не сразу дошла до меня, а язык, как всегда, не повиновался. Горбатый без передышки заключил:

— С завтрева тащишь утром бацило, днем пайку.

Такие условия навязали и другим должникам. Вожаки пресытились, не по нутру стало глодать пустой хлеб. А как Горбатый смаковал ломтик с маргарином, нужно было видеть! При каждом укусе его верхние зубы, как отвалом бульдозера, соскребали и сдвигали намазанный слой, чтобы на последний укус приходился почти весь маргарин, вся вкуснятина.

Главари охомутали добрую половину группы, на решительный отпор, даже на открытое недовольство, никто не дерзнул. Против законности не попрешь. Незадолжавшие, а это были в основном ребята постарше, четырнадцати-пятнадцати лет, держались крайне недоверчиво, боясь разделить нашу участь, да и осторожный Горбатый предпочитал с ними не связываться.

Первые недели закабаления Никола делал вид, что опекает своих клиентов, хотя это показное покровительство было ему явно в тягость. Все же в тот начальный момент мы засыпали спокойно, над нами, сонными, не измывались. Такое

противоестественное состояние царило не долго. Игра в кислую сентиментальность незаметно себя изжила. Осталась только постоянная подозрительность и воинственная настроенность вожаков, не устававших долбить о том, что лягавого ждет неминуемая погибель.

— У блатных руки длинные, достанем откуда угодно: с воли, из колонии или детдома! — стращал Горбатый. — Предателям — смерть!

Вожакам всегда мерещатся предатели.

Подобные кликушества звучали постоянно, нагнетая глубокую, никогда не облекаемую в слова убежденность в неодолимости и всесилии вымогателей, в невозможности договориться с товарищами по несчастью о совместном неповиновении или защите, в незаконности и нечестности такого пути. Первый же сообщник выдаст тебя из чувства страха и надежды облегчить свою участь, демонстрацией преданности заслужить благоволение сильных. Побоями и угрозами нас так замордовали, что не хватало решимости даже у соседа по столу узнать величину его долга, тем более искать сочувствия и понимания.

В назидание и устрашение выстанывали «Мурку». Опьяненный пением Горбатый проникновенно выкрикивал поперед приятелей, не только повествовал, но и грозил.

Группу опутала стадная приниженность. Мы заискивающе внимали предводителям, искали их расположения, радовались любому спокойному обращению, незлобивому вниманию. Взгляд Горбатого вгонял в дрожь и оглуплял; похвалил за вынесенную пайку — счастью не было предела. Николу хотелось поддерживать во всем, сделаться необходимым и равноправным членом его клана.

Трудно было противиться мощному влечению к сильным. Казалось бы, естественная неприязнь правителей к неверным и слабым должна была порождать сходный отклик. Однако этого не происходило. Во всяком случае, он не оформлялся в виде каких-то четких мыслей или направленных действий, а возможно, я даже про себя боялся плохо думать о вожаках, — страх подавлял разум. Для ненависти нужны силы.

Померк блеск детских глазенок, закатилось солнышко, спряталось на всю нашу долгую северную зиму. Навалились серые мучительные дни и черные, без единого проблеска, ледяные ночи. Сугробы намело почти до окон, веранда скрылась под снегом. Убеленная снежным саваном равнина, однообразная и неподвижная, сливалась у горизонта с мглистым сереньким небом. Однообразные и неподвижные стыли мгновения, их

медлительный шелест был почти ощутим. Только за окно смотрел я без боязни встретить удрученный взгляд товарища по несчастью или, что еще хуже, злой прищур повелительного вожака.

9
Картошка

Я люблю тихо сидеть на кухне и чистить картошку. Отступают тревоги и заботы, неторопливые движения пальцев успокаивают возбужденный мозг. Мир сужается и упрощается до примитивности клубня. Тонкой змейкой ползет бледная кожура, я выковыриваю глазки, и иной раз мне попадаются сгнившие, высохшие до серого пепла вкрапления, и вспоминается сводящий с ума душок наполовину сожженных клубней, целиком состоящих из такого вот спрессованного праха. Этот душок доводил до острой, нестерпимой боли в пустом желудке.

В доме непроглядная темень, — электростанция выдохлась. Жизнь теплилась у золотого зева печки. Отсветы пламени выхватывали неподвижные тени с озаренными огнем красноватыми лицами. Свежий запах поленьев примешивался к тяжелому настою махорочного дыма. Когда дверцу топки прикрывали, искорка цигарки сверкала во мраке звериным оком в ночном лесу.

Позванивая кочергой о колосники, Никола выгребал из топки поспелые гнилушки. Они дымили угарным чадком и были почти неотличимы от гаснувших углей. Никола разламывал их, наполняя комнату парным ароматом пахучей плоти, ароматом жизни и тления, и поощрял огрызками своих приспешников и особо усердных клиентов. Счастливцы посасывали запеченный пепел до полного растворения во рту. И тихая радость нисходила к нам. Казалось, нет ничего вкуснее горелой кожуры. Она сытнее, чем мякоть. И не раздумывалось о том, что картошку эту выменяли на базаре на наши пайки.

Картошка — жизнь моя! Тлеющий фитилек моей души выпестован тобой. Ты взрастила нас и вместе с нами невиданные чудеса нашего времени. В тебе наша сила и слабость, порядок и хаос, праздник и повседневность. Поразительно щедра животворящая мощь неприметного клубня! За фанфарами и похоронками, славословием и суесловием всегда царили земляные картофельные будни с эпохальными прожектами, погрязшими в топкой борозде. От этого никуда не уйти. Картофельную аскетичность не преодолеть. Не уловить, не понять, что проглядывает за хлебно-картофельной сытостью, прущей с налитых с молоду лиц? Всегда и везде «картофка, да картофка, да картофны пироги»!

— Картошечки хочется, — нудил брат, не желая засыпать голодным и не ведая о моих передрягах.

— Она не наша, — нашептывал я. — Терпи, старайся заснуть. Проснешься, будет завтрак.

— Сейчас хочу. Почему у них есть картошка, а у нас нет?

— Смотри, все спят. Закрывай глаза.

— Когда маму выпустят из тюрьмы?

— Скоро.

— Завтра?

— Нет, не завтра.

— Через много, много дней?

— Да, через много, много дней.

— Через сколько?

— Не знаю, спи.

— В детдоме дадут картошки? Хоть одну, малюсенькую-премалюсенькую?

— Отстань, а то набью!

— За что?

— За то! Не думай о еде, станет легче.

— Попроси картошечки, — брат обиженно поджал дрожащую верхнюю губу и выпятил нижнюю, готовясь заплакать.

— Крепись, — одернул я брата. — Слезы не помогут.

Нужно думать о другом, — убеждал я себя, но мысли о завтрашнем дне, когда сам, своими руками отдам свою кровную пайку, неодолимы. Видимо придется всегда засыпать с выжигающим нутро голодом.

С мамой было так хорошо! Воспоминания приносили новую боль. Прошлое казалось погребенным глубоко, глубоко под грузом многих лет. Туда, в невозвратную даль меня все чаще сносила память, хранившая такое, о чем я даже не подозревал.

Мама редко ласкала нас, но, приходя поздно с работы, опускалась на колени перед заснувшим братом, прижималась губами к его щеке и стриженым волосенкам, целовала бережно, боясь разбудить. Какие мама готовила супы из картошки! Сварит, покапает рыбьего жира, прописанного нам врачем, и плавают на поверхности янтарные крапинки и суп не кажется постным.

Воспоминания доконают меня. Нужно спать.

Нас уплотняли и уплотняли. К Новому Году наплыв детей превзошел все мыслимые нормы. Нас укладывали спать по трое на койке. В группах на ночь ставили матерчатые раскладушки. Одинокими песчинками несло к нам нечаянно выживших детей, извергнутых пастью кровавой мясорубки.

Каждый новый сосед по столу уменьшал шансы вырваться из

приемика. Но об этом не думалось. Все воспринималось как оно есть, без ропота, с робкой надеждой. К окошку не пробиться, — вот что заботило, вот что было понятно.

Кто-то из малышей накапал начальнице о ежевечернем буйстве. Предъявил раскровавленный нос, поплакался о том, что мешают спать. Охрану мелюзги вменили в обязанность Марухе. Угрозой увольнения и выселения ее обязали не пускать никого к малолеткам. Нас, ребят из старшей группы, прогнали в мужскую спальню, насквозь продуваемую всеми ветрами. Пронзительный холод властвовал здесь безраздельно, легко проникал сквозь закупоренные окна, шутя одолевал жалкие волны тепла, исходящие от печки.

Вечера надвигались как пытки. Разгулье дымилось здесь допоздна, как в полночном шалмане, и первые недели в теплой спальне казались теперь вполне сносными.

Моим соседом по постели стал Царь. Наша койка стояла у открытого стенного проема, выходящего в прихожую. Койка была не на месте, на нее натыкались и входящие, и выходяшие. Выпуклости свалявшегося ватного матраса торчали сквозь широкие дыры гамака пружинной сетки, уцелевшей едва ли наполовину. По этой причине нам не подселили третьего.

Царь орошал по ночам постель. Он очень деликатно жался к самому краю койки, но подтекало и под меня. И неожиданно, без внятных причин, эта беда пристала и ко мне. Вскоре недуг ночного недержания, как эпидемия, охватил добрую половину ребят. Прудил под себя и Горбатый, и спавший с ним Педя.

К утру спальня выстывала так сильно, что корочка льда схватывала потеки на полу под койками. Мы скрючивались улитками, поджимали колени к подбородкам, натягивали на уши тонкие байковые одеяльца, а ночью скатывались в объятия друг другу. Проснувшись, не разбирали, кто подпустил?

Хорошо, что спим врозь, — думал я о брате. Не хватало и ему этой напасти!

Днем Горбатый и Педя меняли свою измоченную постель на сухую с любой койки. Со временем все матрасы задубели и отличались лишь различной степенью влажности. От них разило мертвящим, выедающим глаза и ноздри зловонием. Желтые, не менее вонючие простыни были жестки как накрахмаленные.

Отменная вонь спальни хлестала по носу входящего, и воспитатели не любили здесь задерживаться. Понаблюдают за укладыванием или пробуждением, хлебанут глоток, другой густых, почти осязаемых ароматов непросохших постелей и смердящих испарений параши и, придерживая дыхание и прикрывая лица, уматывают поскорее.

— Во душегубка! — гримасничал Горбатый — Аж рыла воротят!

Принюхавшись, мы не испытывали страдательных эмоций. К тому же пацаны курили до тошноты, и табачный дым отчасти перебивал неистребимый настой закисающей мочи. Словом, отнюхай свое и молчи, спи; зябнуть и мокнуть во сне не так мучительно, как наяву.

Писунов развелось во множестве, а скопом к чему не притерпишься! И особых душевных переживаний ночной грешок не доставлял. Мочишься ты или нет, сидят твои родители или погибли в бою, огрубелая и жестокая у тебя душа или впечатлительная и ранимая, — никого не волновало. Мы предстали друг перед другом душевно обнаженными, лишенными поддержки домашнего мира с его ежедневной мерой хорошего и плохого, горестного и радостного.

10
В опечатанной квартире

Слабосильная шушера старшей группы несла хлебушек с обеда, пробавляясь гороховой баландой да жиденькой перловкой. А Толик как-то умудрялся не попасть на крючок. На окрики Горбатого он недоуменно хлопал длинными ресницами, выказывая постоянную готовностъ сорваться в громкий плач. И срывался при любом угрожющем окрике или подозрительных попытках заставить его играть на пайку. Толик умел прикидываться смертельно запуганным и начинал ныть при любом обращении к нему Николы, еще не зная причины этого обращения. Возможно, ему и раньше приходилось добиваться своего плачем; в приемнике он усовершенствовал это умение, держал поток слез наготове и успевал пустить его вовремя. Мог он и увильнуть от опасных общений, выскользнув из группы. Горбатый не очень наседал на Толика, видимо подозревая, что тот по малолетству, нарочно или невзначай, может проговориться и выдать вымогателей. Проходили дни, а Толик уписывал свою пайку за столом. Ему везло до поры.

В спальне, забавы ради, Никола прицепил его штаны высоко над окном. Толик водрузился на хромоногую тумбочку и силился скинуть их кочергой. Неловкий взмах, и осколки разбитого стекла задзинькали по подоконнику, а один, крупный, угловатый, угодил Захарову в переносицу.

Тоненькая темная струйка забила из глубокой ранки.

— Кричи: за кровянку отвечаешь! — поучал Горбатый растерянного Захарова.

Пострадавший машинально промямлил заклятие:

— За кровянку отвечаешь!

Толик побелел, как будто острый осколок воткнулся ему в переносицу.

— Оно само разбилось. Я ни при чем, — млея от страха, слезливо оправдывался он и бегал, бегал жалким взглядом по безучастным лицам Николы и Горбатого.

— Цыц, малявка, жрать не дам! — весело гаркнул Никола.

— Не канючь, жертва аборта! — непреклонно гнул свою линию Горбатый. — Захаров задожал двадцать три пайки. Половину его долга перекинем на тебя, кретин малолетний! Должен двенадцать паек, дошло? Брось придурь, не блажи! Больше валандаться с тобой не будем. Как все, так и ты! Не разжалобишь! Здесь не до телячьих нежностей!

Нежности в ДПР в чести не были. Даже нечаянно оброненное умиленное словечко о маме или папе грозило осмеянием и оскорблением. В песнях другое дело, там все дозволено.

Всеобщая суровая сдержанность не позволяла нам предаваться вслух разжижающим чувства сладеньким рассусоливаниям. У каждого за спиной осталось что-то страшное, о чем луше не вспоминать, да и сболтнешь лишнее, — неприятностей не оберешься. Здесь ничего не забывалось и не прощалось. Лишенные родителей, мы были плоть от плоти заурядными отпрысками своего времени. А в обыденном и очевидном исповедоваться не принято. К тому же голод и страх притупили чуткость к чужим переживаниям и интерес к чужим судьбам. Наши заботы простирались не дальше собственной пайки да желанных путевок в детдом.

Разоткровенничался Толик передо мной и Царем совершенно случайно.

Толик боднул подушку, не в силах совладать с предутренним сном: Юлька зудела назойливо и упорно. Уймется она наконец? Мамы нет дома, — понял Толик и решил проснуться. Протирая глаза, зашлепал к детской кроватке.

— Чего орешь, как резанная? — сонно промямлил он, словно сестренка могла его понять. — Приспичило?

В ответ Юлька наддала, и Толик послушно припустил на кухню. Сухая пеленка, рожок с молоком. Почему холодный? Не барыня, сглотнет, за то не обожжется.

Сестренка жадно поймала соску пухленькими губками и утихомирилась, смачно прихлебывая. Толик повернулся к своей постели с твердым намерением храпануть напоследок, но что-то необычное удержало его.

В комнате царил форменный разгром.

Распахнутый платяной шкаф зиял пустотой и голыми полками. Одежда, книги, фотокарточки в беспорядке валялись на полу; в изножье маминой кровати серел обезображенный вспоротый ватный матрас.

Чем-то безотчетно зловещим пахнуло от неприглядной картины разбросанных вещей. Спать расхотелось. Неожиданно Толику смутно припомнилось пробуждение среди ночи. Растормашивая его мама пыталась с ним объясниться, поручала какое-то дело. В комнате белели чужие лица. Что за гостей занесло к нам так поздно? Толик старался восстановитъ в памяти разговор с мамой, но он уплыл, как сновидение. Мальчик поплелся в коридор, подергал входную дверь: заперта, ключа в замке нет.

Хныканье Юльки отвлекло от тревожных раздумий. Морща нос, он ухватил ее за обе ножки, высоко задрал их и, как заправская нянька, быстро сменил пеленку. Приветливая мордашка с влажными голубенькими глазками озарилась беззубой плутоватой улыбкой, и словно солнышко вплыло в комнату. Склонившийся над кроваткой мальчик невольно улыбнулся в ответ.

Дети улыбались друг другу.

Пора бы маме вернуться, — неуверенно подумал Толик. — Это уж чересчур! Не предупредила, не объяснила, исчезла и с концом!

Вообще-то мальчик давно притерпелся к голосистому норову сестренки. Им и раньше случалось оставаться вдвоем, хотя сейчас забота о Юльке отдалилась на второй план. На первом плескалась тревога; что-то неясное, чуждое вторглось в их жизнь.

Глаза мальчика раздумчиво скользили с предмета на предмет и выжидательно застывали на двери. Он пытался понять, что произошло и что следует предпринять? В томительную тишину вкрадывались неровные причмокивания Юльки, потягивающей пустышку, да шорох висящих на спинке кроватки погремушек.

Побрел на кухню. Пустая, безжизненная без мамы кухня одним видом желтобрюхого примуса наводила уныние. Без аппетита пожевал хлеб и затих.

Заныла Юлька, раздраженно выталкивая соску.

— Молчала бы, не до тебя, — сердито вразумлял ее Толик.

Девочка требовала внимания, и было понятно, что она своего добьется.

— Что нужно? Пить будешь?

Холодную подслащенную водичку Юлька отвергла.

— Не пищи. Скоро мама придет, — уговаривал он сестренку и отгонял от себя мрачные мысли.

Девочка обиженно топорщила губки и верещала все громче, раздражая мальчика и мешая прислушиваться. Он ждал, что мама вот-вот хлопотливо вбежит в квартиру и принесет с собой живую суету и успокоение. Подспудно копившаяся с каждой минутой нервозность мучила Толика, незаметно передавалась сестренке, и та ревела громко и требовательно.

Мальчик ушел в коридор, здесь было потише.

Беспокойство не спадало. Воображение подкидывало нелепые домыслы: попала под трамвай; взорвался снаряд, затаившийся с блокады? Нет, конечно нет. Исчезновение мамы связано с беспорядком в комнате и ночным разговором. Если бы его вспомнить! Толик старался держаться спокойно, но пару раз все же тихонько всплакнул, жалобно, с подвывом. Тут же одернул

себя: некому жаловаться.

В полдень Юлька сглотнула пару ложек вчерашней каши и допила молоко, но нытья не прекратила. Ее мокрая мордашка расплылась, покраснела, залитые слезами глаза сверкали с недоумением и укоризной. Толика она больше не признавала.

— Баю бай, — терпеливо канючил мальчишка, но прошло еще часа два, прежде чем она задремала.

Передышка. Можно спокойно обдумать, как быть дальше? Толик вытянулся на носочках и выглянул в окно. С верхотуры шестого этажа открывалось хаотическое скопление ломаных линий крыш, печных труб, каменных обрывов стен и чердачных окон. Сплошные гребни крыш простирались далеко, насколько хватало глаз. Даже внизу под окном краснела железная кровля двухэтажной пристройки, прилепившейся к их дому: мастерская по ремонту автомашин. Туда пленных немцев пригоняли работать. Нет, через окно не выбраться, об этом и думать не следует.

Глянул в замочную скважину на лестницу. Напротив виднелась обшарпанная, темно-коричневая дверь в соседнюю квартиру, где жила Клавдия Степановна с мужем, обожженным танкистом. Муж был слеп и месяцами лежал в госпиталях.

Нужно караулить здесь и позвать на помощь, как только послышатся шаги, решил Толик. Теперь он надеялся не только на возвращение мамы, но и на соседку. Он гнал прочь мысли о несчастье с мамой, но во всех других случаях она не могла забыть о них. На худой конец прислала бы кого-нибудь. Как ни напрягался мальчик, додуматься до чего-то определенного не мог, а неясность пугала не меньше самого вздорного домысла.

Пробудилась Юлька и распалилась не на шутку. Ее беспрестанный плач выводил Толика из себя. Лежать в постельке она отказывалась, и мальчик до изнеможения мотался с нею по комнате, прижимая животиком к себе, как учила мама. Присаживался отдохнуть, не выпуская сестренки из рук.

Разбросанные вещи попадались под ноги, и Толик зло отфутболивал их, а потом сгреб ногами в большую кучу за шкафом. Придет мама, отругает за безобразие, — успокаивал он себя надуманной угрозой. Надежда на ее осуществление согревала мальчика.

— Наша Юлька ревушка, ревушка коровушка, будет кушать кашку. — Толик соскреб с донышка кастрюльки остатки каши и пичкал ими сестренку. Зареванная Юлька придирчиво принюхивалась, прислушивалась к чему-то своему, происходящему у нее внутри. Осознавала, что успокоительные ухищрения Толика — обман, мамы нет, и продолжала реветь.

Разбушевавшуюся девочку ничем было не пронять. Она выплевывала пустышку, выплевывала подслащенную воду, и Толик отпаивал сам себя. Слезы и сопли заливали ее лицо. Безостановочный плач сестренки выматывал мальчика больше, чем таскание ее на руках. Толик пел ей мамины песенки, понимая все отчетливее, что сюсюканье бесполезно и нужно придумать что-нибудь определенное, решительное. Но ничего не придумывалось.

Толик изо всех сил лупил погремушкой о спинку кроватки, пытаясь заглушить надоевший вой. Не помогало. Он снова, пока не немели руки, носил и укачивал малышку, менял пеленки, баюкал и уговаривал, стыдил и ругал, удивляясь собственному терпению. Даже отшлепал слегка. Непокорное горластое существо не поддавалось. От натужного воя ее молочно-белое пузико покраснело, разъеденные слезами щеки вздулись. Она нещадно скребла их ноготками, и мальчик опасался, как бы она не выдрала себе глазенки.

День клонился к вечеру, мальчиком овладевало сознание полной безнадежности. С Юлькой не сладить, к ее незатихающему вою не привыкнуть. Он все дольше задерживался на кухне и в коридоре; приходил в себя, отдыхал от раздирающего душу крика, вслушивался в безгласный, недоступный мир лестничной клетки. Теперь он был почти уверен, что мама не придет, и выпутываться придется самостоятельно. И в этом обжитом и родном мирке становилось страшно.

В который раз Толик пустил унылую слезу, но от громких рыданий удержался и твердо решил не поддаваться жалости, поменьше возиться с сестренкой. Нужно дожидаться помощи у входной двери. Толик надолго покинул комнату, застыв на карауле у входа.

Юлька орала напропалую, и мальчик разок, другой не выдерживал, поил ее водой и умолял протяжно и жалобно:

— Потерпи, слышишь. Потерпи …

Смеркалось. Толик осветил квартиру всеми лампочками, даже настольную включил. Разгромленное родное гнездо выглядело удручающе неприятно и чуждо. И страх налетел новым порывом. Как долго придется сидеть одним взаперти? Умрем, никто и не спохватится. Выжил в блокаду, так сейчас непременно загнусь. Если с мамой случилась беда, выручать некому.

Взвинченный до крайности мальчик с ужасом ощутил свою слабость и беспомощность и дал себе волю: заревел громко, со всхлипами и подвываниями. Он горько рыдал в коридоре, а сестренка безутешно голосила в комнате.

Наплакавшись, почувствовал облегчение и неимоверную усталость. Тупое равнодушие охватило его. Глаза слипались сами собой, в серой сонной одури туманилось сознание. Он рухнул в постель как убитый и мгновенно и бездумно уснул под неумолчный Юлькин скулеж.

Разбудили его тишина и всплывшее беспокойство. Непотушенные лампочки едва мерцали в лучах бьющего в окно солнца. Живо вспыхнувшие в сознании волнения вчерашнего дня сорвали его с постели. Он опасался, не испустила ли Юлька дух, изойдя в надрывном плаче? Жива, посапывает.

Осторожно выбрался в коридор, приложился попеременно глазом и ухом к прорези замка. Ни звука, ни шороха. Постоял, вслушиваясь в ненавистную тишину. Внезапно ему дьявольски захотелось есть. Пошарил по полкам в поисках съестных припасов: манка, сахарный песок, кусочек хлеба. Набил рот песком, сжевал хлеб, — немного полегчало, ожил.

Руки дрожали, но в голове было ясно. Сейчас утро. Соседка, Клавдия Степановна, приходит с работы часов в шесть, семь. Главное, не проворонить ее возвращения. Пусть Юлька хоть заорется, — после обеда от входа ни ногой! Он притащил к замкнутой двери табуретку, забрался на нее и замер, смиренно положив ладони на колени. Вытянув шею, он вновь припал ухом к замочной скважине, весь превратился в слух. Далеко внизу затопали глухие шаги, прогудели невнятные голоса. Толик подобрался, соскользнул с табуретки и приник к двери всем телом; ему послышалось, что кто-то поднимается по ступеням. Но звуки замерли вдали, и установилось прежнее безмолвие. Что нас занесло на самую верхотуру? Любую квартиру могли занять, хоть на первом этаже. К концу блокады дом был почти пуст.

Всхлипнула Юлька. Начинается, — подумал мальчик и затаил дыхание: вдруг пронесет хоть ненадолго. Напрасные надежды! Она завелась без подготовки, настойчиво и пронзительно.

Толик вбухал в кружку с водой побольше сахарного песку и подступил к сестренке. С грехом пополам напоил, но не успокоил. Она заливалась слезами обиды и непонимания, уговоры глушила требовательными вскриками.

Давно не осталось чистых пеленок, приходилось использовать те, что подсыхали. А девочка словно задалась целью извести брата, дать бой всему свету. Ни минуты передышки; неутомимый вызывающий пронзительный крик. Непросыхающее лицо ее горело свекольным отливом, голос потерял чистоту, хриплый кашель по временам сотрясал маленькое тельце.

Стало совсем невмоготу. Толик забился за плиту на кухне, отгородившись от безудержного рева двумя закрытыми дверьми,

и плакал сам, тоскливо и обреченно. Спохватывался, чинно устраивался на заветной табуретке и прислушивался, прислушивался без конца, обмирая при каждом новом звуке.

В очередной раз устроившись на полу за плитой, он нечаянно забылся, и ему привиделось сладкое воспоминание. Незадолго до конца войны папа приехал на побывку после ранения. Толик часами елозил у него на коленях, перебирал звонкие медали, ласкал звездочки на погонах и прижимался к родному, сильному, лучшему в мире человеку.

Папа казался решительным и веселым, но за этой веселостью в его глазах хоронились пылинки печали. На прощание вскинул Толика к потолку и пошутил:

— В кого ты такой недомерка? Лупят тебя пацаны? Нет. Вернусь, научу бороться. Я, Толька, таким приемом владею, на луну зашвырну.

Похоронку принесли после победы. Юлька еще не родилась.

Толик очнулся и бросился к замочной скважине.

Юлька вопила сипло и натужно. Как можно так долго орать? О боже! Она обделалась и ухитрилась по уши вывозиться в зловещей зеленой слизи. Толик извел все сухие пеленки и слюнявчики, вытирая ее. Пачкотня размазалась тонким слоем по тельцу девочки. Полностью оттереть ее не удалось, и вскоре и Юлька, и Толик, и кроватка со всем содержимым обрели травянисто-темную вонючую окраску. Всего сутки назад Юлька улыбалась плутоватым херувимчиком, а теперь выглядела исчадием ада.

Запеленав сестренку в простыню, Толик почувствовал, что весь пропитался ароматом изгаженных пеленок и благоухает, как переполненный ночной горшок. Нужно умыться и переодеться, подумалось ему вскользь, но по инерции, заряженный утренним настроем, забрался на табурет, отложив переодевание. И сейчас же забыл о нем, поглощенный мыслями о спасении.

Одно было ясно: отходить от двери нельзя. Обострившимся восприятием вбирал в себя запахи и звуки, прослушивал лестничную клетку снизу до верху. Издалека донеслось слабое позвякивание ключей, стук захлопнувшейся двери. Откуда-то пробивалось повизгивание патефона: только низкие тона, остальное срезалось расстоянием и стенами. Совсем рядом пророкотал и захлебнулся унитаз. Сквозь щель у пола потянуло едва уловимым запахом жареного лука. Всюду не затихала жизнь, скрывающаяся за толстыми стенами, перекрытиями, дверьми, и только на их этаже словно повымерло.

Юлька ревмя ревела, и Толику казалось, что он скоро свихнется. Снова из его глаз полились слезы обиды, и он, не

сдерживаясь, забарабанил кулаками и ногами в закрытую дверь, закричал отчаянно:

— Мама! Мама! Помогите!

Он ощущал, что голос его глушится дверью, удары слабы и все потуги жалки и безнадежны, но, стеная и плача, продолжал биться о дверь всем телом.

Когда силенок почти не осталось, опрометью бросился на кухню, выхватил из ящика с инструментами молоток и шарахнул по ненавистному замку. Дверь содрогнулась и клацнула. Эхо удара громыхнуло по этажам. Это другое дело! — обрадовался мальчик и принялся дубасить, напрягая остатки сил.

Если сейчас никто не подойдет, можно ложиться и спокойно умирать, — зло думал Толик. Когда молоток попадал по железяке, оглушительный, как выстрел, грохот прокатывался по всему дому. Толик стал бухать по ней, забыв обо всем на свете.

Тревожный гул заметался по лестничной клетке.

Толик не гадал о случившемся с мамой, не терзался жалостью к голодной сестренке. Отупел, одичал и лепил удар за ударом так, что когда совсем рядом над его ухом раздался знакомый голос Клавдии Степановны, он обмер и чуть не плюхнулся на пол от неожиданности.

— Замок сломался?

— Не, — давясь слезами, запричитал мальчик плаксивой скороговоркой. — Нас одних заперли. Мамы нет второй день. Помогите!

— Где ж мама?

— Не знаю. Вчера проснулись, ее нет.

— Вы ж опечатаны! Штамп пришлепнут. Вот так фокус!

Туманное слово «опечатаны» было не очень понятно, и Толика охватила боязнь, что Клавдия Степановна сейчас уйдет.

— Не уходите, только не уходите, — взмолился мальчик. — Нам есть нечего.

— Успокойся, Толя, помогу. Это Юлька там ревет?

— Ага, второй день … Изошлась.

— Боже мой, тебе и примуса не разжечь.

— Ага. Кашу вчера скормил.

— Ну делишки! — В ее голосе звучало искреннее изумление. — С ума сойти … Детишек одних запечатали. Что за Ирод такое удумал?!

— Ночью какие-то дяди приходили к маме, я спал … Выпустите нас!

— Без разрешения вашу дверь трогать нельзя … Ключа все одно нет, — она помолчала в раздумье.

— Не оставляйте нас!

— Успокойся, не оставлю. Недоумки, прости, Господи, начудили! По всему выходит, в милицию топать надо.

— Не, не уходите!

— Толь, сам посуди. Еще чуток подождешь, самую малость. Я мигом. Иначе-то нельзя.

— Не забудьте про нас!

— Не забуду!

Клавдия Степановна без промедления тяжело затопала вниз, а Толик продолжал тихо скулить от радости, надежды и остатков страха перед необходимостью еще сколько-то времени томиться в одиночестве.

У воспрянувшего мальчика сердечко взыграло жалостью. Он извлек сестренку из новой порции ядовитозеленой слизи, слегка пообтер, напоил. Нянчился ласково, терпеливо и плакал вместе с ней, роняя крупные прозрачные слезы на грязное тельце девочки. Было неимоверно тяжело от голода и тоскливого воя.

Страх за жизнь этого родного, беспомощного, вверенного ему судьбой существа вызвал прилив свежих сил. Он пристроил на плече мокрую, в темных разводьях мордашку сестренки, прижался к ее живому, трепетному теплу. Укачивал, ковыляя по ненавистной квартире, приостанавливаясь у входа и настороженно прислушиваясь, пока его чуткое ухо не поймало приближающиеся голоса и топот ног за дверью.

— Сейчас вызволим, — раздался голос Клавдии Степановны. — Милицию привела.

— Кто вас запер? — раздался хрипловатый басок.

— Не знаю. Вчера проснулись, никого нет.

— Дм… Вскрывать таку печать не имею права.

— Ты что, старшина? Ошалел? Дети одни. Случись что?

— Что случись? Говорят, не имею права!

— Кто имеет?

— Доложу по начальству.

— Дети не поены, не кормлены другой день.

— В блокаду не тако бывало! Обождут малость.

— Быстрей, дяденька! Юлька кричит!

— Потерпи, малец, я разом!

Шаркающей поступью он устремился вниз.

Разговор был скоротечен и обескураживающ.

— Не робей, Толя. Я с вами, — заверила Клавдия Степановна.

— Юлька кушать хочет. Я ее сладкой водой пою.

— У меня и молоко есть, и хлеб. Как вас накормить, ума не приложу?

— Только не уходите, — попросил Толик, разглядывая в замочную скважину растерянную женщину.

Так стояли они, разделенные опечатанной дверью, и лишь сипловатый плач Юльки не смолкал в глубине несчастной квартиры.

— Толь, мне бы по хозяйству кое-что справить. Я свою дверь оставлю открытой. Кричи, если что. И не бойся.

Толик поджидал возвращения соседки, а мрачные предчувствия сжирали последние надежды на благополучный исход отсидки. Подспудно он опасался, что случившееся с мамой настолько страшно и непоправимо, что никто не окажется в состоянии помочь им.

Выходила причитающая Клавдия Степановна, успокаивала и мальчика, и себя. Вконец оробевший Толик внезапно отчаянно заикал. Глаза его остекленели, и вместо недавнего обидного недоумения в них забился животный страх. От новой истерики его удерживало только присутствие соседки.

Терпение Клавдии Степановны тоже иссякло.

— Пойду в милицию. Что они там, поумирали?

Толик заныл протестующе, заикал еще пронзительнее, и перед уходом она недолго постояла у двери, уговаривая его потерпеть и чуть не плача сама.

Возиться с сестренкой Толик был не в состоянии. Его то охватывало острое чувство вины перед ней, то затопляли раздражение и злоба, и тогда хотелось схватить это визжащее существо за ногу и зашвырнуть куда-нибудь подальше в окно. Оцепенев от горя, он отсиживался на кухне за плитой, скрючившись и утопив голову в колени, чтобы не слышать юлькиного воя.

Вернулась запыхавшаяся Клавдия Степановна и неуверенно затопталась под дверью.

— Доложили куда следует, — осторожно заговорила она. — Ответа ждут. Придет с минуты на минуту. Что ваша матка могла натворить? Уму непостижимо! Арестовали ее.

Толику почудилось, что его хватили чем-то тяжелым по голове.

— Не могу, не могу больше! Юлька умрет скоро!

Клавдия Степановна всхлипнула за тонкой, дощатой дверью, неприступно вставшей между ними.

— Толь, а Толь! Слезами горюшку не поможешь. Покачай Юльку да ложись сам. Во сне времечко ой как скачет. До утра вас вызволят непременно. Иди, дорогой, иди, хороший. Я вас не оставлю.

Толик испытывал страшную подавленность. Движения его стали медлительны и вялы. Одно прояснилось: с мамой стряслась огромная беда, хуже не бывает. Все не обойдется, не образуется,

как прежде не станет. Волна тьмы надвинулась на него, и последнее, что он испытал, было желание устроиться спать на полу у входа, чтобы не прозевать вызволения.

Под утро, когда отлетело смятение, а сон стал чутким, он слышал кряхтение и постанывание Юльки, но не захотел покидать приютившего его мирка грез. В этом мирке вспыхивало и меркло пленительное видение: на пороге, входя, застыла возбужденная, озабоченная мама, а за ней проглядывало улыбающееся лицо отца. Едва Юлькины всхлипы вторгались в сознание, видение мгновенно гасло, и Толик истово гнал от себя губительные звуки. Когда это удавалось, желанная картина высвечивалась вновь: мама и папа в тех же позах и с теми же неизменными выражениями лиц. Толик потерял надежду на то, что они переступят порог и приблизятся, смирился с безуспешностью своих усилий броситься навстречу; ему было не сдвинуться с места, не пошевелиться. Глубоко, краешком мозга он осознавал нереальность, бесплотность сна, но не хотел с ним расставаться и сопротивлялся пробуждению.

Юлькин кашель и крик спугнули дремоту.

Третье утро без мамы. То ли со сна, то ли с голодухи, но взяв на руки сестренку, Толик ощутил предательское подрагивание коленей. Что делать? Их беда всем известна, но никто не бьет тревоги, не спешит с вызволением. Чем они провинились? За свою недолгую жизнь Толик еще не сталкивался с несправедливостью и даже недоброжелательностью взрослых. Он не мог допустить существования предлога или проступка, за который следовало бы так жестоко наказывать. Мир внезапно изменился, стал безжалостен и недоступен пониманию.

Толик снова засел за плиту, плотно прикрыв обе двери. Затих, пытаясь различить неясные шорохи чужой, счастливой жизни. Ничего не услышал. Черпанул ложку песку, запил водой. Промытый желудок потребовал чего-нибудь посущественнее. Набросился на манную крупу. Глотал поспешно, пока не ощутил тяжелого, неприятного насыщения.

Яростная трескотня звонка взорвала тишину злосчастной квартиры.

— Как вы там? — спросила Клавдия Степановна.

— С Юлькой совсем плохо.

— Не плач. Плачем не поможешь! Была в милиции, сказали ждать.

Снова стояли они по разные стороны закрытых дверей и переговаривались, как жители разных миров. Растерянная, исполненная сострадания женщина и одичавший, заплаканный мальчик. Двое суток отсидки опустошили и надломили его.

Теперь он боялся, что Юлька умрет, а сам он сойдет с ума.

Недоумевающая женщина с трудом балансировала на грани прочно въевшегося в плоть и кровь страха перед начальниками, приказами, документами с печатями и подписями и всезатопляющей жалостью к пропадающим детям. Порой ее захлестывал порыв строптивости, и она была готова схватить давно припасенный ломик, подковырнуть проклятую дверь и высадить ее ко всем чертям!

За войну Клавдия Степановна надолбалась ломом, намахалась киркой и лопатой. Гонялась на окопы, разбирала завалы разбомбленных домов, свой малюсенький огородишко вскапывала здесь, во дворе, выковыривая булыжники. На такую дверь плечом приналечь, она распахнется как игрушечная. Штамп внушал неодолимый страх. Штамп не замок, его не сорвешь, не сломаешь. Этой полоски приклеенной бумажки с круглым, бледносиреневым оттиском женщина панически боялась.

— Потерпим еще часок, — удрученно уговаривала она не то себя, не то Толика, и с волнением добавила: — Не явятся, будем сами выкручиваться.

Прошел не один час, прежде чем она решилась действовать.

Дети канючили в два голоса. Наползающая за окнами темень подгоняла Клавдию Степановну. Оставлять их одних в квартире еще на ночь нельзя. Если случится несчастье, она никогда себе этого не простит. С ненавистью глянула женщина на печать и поняла, что не отступит. Зачем тянуть?

— Толь, ты чем громыхал, когда я впервой подошла?

— Молотком, — оживился изнемогающий мальчик.

— Топор у вас где, знаешь?

— Ага …

— Тащи его … Принес? Руби филенку внизу … Так, сильнее … Потрескивает, чуешь?

Толик чуял одно: его немощные потуги ничтожны, топор отскакивает от доски как от камня.

— Отойди-кось. Пособлю чуток.

Сильный удар потряс дверь. Сперва треснула одна дощечка, потом соседняя, и не успел Толик опомниться, как вместо филенки зияло квадратное отверстие. Все произошло так быстро и просто, что Толику с трудом верилось в долгожданное спасение.

Женщина грузно присела, и они оказались носом к носу. Суровым, дрожащим от напряжения и страха голосом она шепнула в самое ухо мальчику:

— Скажешь, что сам порубал! Что пособляла, молчи! Я ж чуток приложилась… Тебе ничего не будет, ты маленький.

— Ладно, — обрадованно бормотал заплаканный Толик,

высовывая наружу нос и глубоко, всей грудью вдыхая сыроватую прохладу.

— Тащи Юльку.

Часа через два, накормленные и притихшие, они покинули квартиру соседки. В полусотне шагов от милиции, в темной подворотне Клавдия Степановна бережно передала Толику укутанную, сопящую девочку.

— Смотри, проговоришься, будет у меня беда.

— Не проговорюсь! Я сам дверь рубал.

— Умница! Иди, дорогой, иди! Не бойся. Я здесь погуляю. Зови, если что.

11
Пирамида

Если бы обдирали одного меня, не выдержал бы и двух дней. Ревел бы, скандалил, бросился бы жаловаться, — никакие угрозы не остановили бы. В стаде чего не вытерпишь, к чему не приноровишься. Стадо само себе закон и судья.

Давно утих зуд нетерпения — поскорей бы сбросить ярмо, — давно отчаяние уступило место горькой безнадежности. Как все, так и я. Эта безнадежность охватывала меня вместе с осознанием невозможности сладить с долгами, даже если объявить голодовку. Не было случая, чтобы кто-то вырвался из тисков. Никола уверенно подмял под себя запуганную массу. Его кулак днем и ночью висел над нашими головами. Чуть расслабился, не вынес пайку два-три раза подряд, — жди жестокого вразумления.

Побои в группе можно было перетерпеть: близость канцелярии, взрослых сдерживала кураж, зато в спальне ему не было предела.

И мы ополчились друг против друга. Драки, как вехи, размечали и отдельные дни, и всю зиму. Мы сшибались перепуганными психами, и от диких матерных угроз дрожали стены и леденела кровь.

Но даже в самые яростные моменты стычки во мне, как и во многих других ребятах, не гасло здравое чувство меры, боязнь серьезно покалечить противника. Не так было с приблатненной кодлой. Никола и его приближенные стервенели в драке, взвинчивали себя до невменяемости, полностью теряя над собой контроль, и в приступе исступленного психоза могли нанести любые увечья, выткнуть глаза, пырнуть ножом, придушить. Эту беспредельную жестокость, способность пойти на все, невозможно было не ощущать, перед ней невозможно было не пасовать, как перед разъяренным зверем или дулом пистолета.

Скоро каждый знал, кого он сильнее и кого слабее, кому может безбоязненно вмазать под дыхало и перед кем должен приниженно молчать. Нити повелевания и безропотной покорности прочно оплели наше скопище. Даже в обиходе, в играх общение велось на повышенных тонах. Сильные властно и угрожающе покрикивали, смаковали оскорбительные клички. Слабые робко отбрехивались, не переступая дозволенных субординацией границ.

К иным слабакам главари благоволили. С такими следовало держать ухо востро, лучше поддаться и перетерпеть, чтобы не

налететь на более серьезные неприятности. Горбатый выглядел дохляк дохляком, а восседал на самом верху да еще Педю рядом придерживал, хотя тот почти ничего не притаскивал с воли и висел на его шее прожорливым нахлебником.

Троицу прикрывали и обслуживали шестерки. Их клан вспоминается плебейской бандочкой, примкнувшей к сытой и властной элите. И в спальне, и в группе они располагались у печки полукругом, внутри которого восседала троица. Никола приваживал приблатненных шкетов объедками, сбивал их в шкодливую кодлу цепных псов. Это было не трудно, поскольку большинство шестерок, не способных по натуре противиться атаману, не избежало долгового ярма, попав в ременную петлю среди первых. Даже поначалу обласканный Дух, шестеривший не за страх, а за совесть, тащил Горбатому свой хлеб.

По первому взгляду Николы преданные шестерки срывались с мест, набрасывались на неугодного, помогая выколачивать подати, или, выпендриваясь, доводили и били нас без причин. Чего не выкинешь по указке, в угоду прихотям властителей? Волю сильного исполнять не страшно: подлость не в подлость, приказали — и весь спрос. Труднее же всего было тем, кто посильнее, кто легко мог разогнать свирепую свору шестерок. Как совладать с неистовой тягой врезать увесистый пинок под зад зарвавшемуся холуйствующему шкету?

В соперничестве, в стремлении перещеголять друг друга в услужении и ублажении хозяев, шестерки нередко ссорились и схлестывались в драках между собой. Но их сплоченность в поддержке главарей ощущалась постоянно.

Драки стали частью нашей жизни, как учеба или игры вольных ребят. В каком-то смысле без драк наше сообщество существовать не могло.

Кажущиеся хаотичными, стычки скоро привели к полной определенности каждого из нас в иерархической пирамиде покорности. Венчали ее Никола и Горбатый, господствовавшие безраздельно, знавшие буквально все обо всех, вникавшие в любые мелочи наших отношений.

Вид драки будоражил предводителей, зажигал их глаза азартным огнем. Воинственные вопли «Стыкнемся!» и «За кровянку не отвечаю!» как боевые фанфары срывали их с мест, бросали в гущу вспыхнувшей потасовки наводить ими установленный порядок, следить за строгими правилами драки. Правила соблюдались с точностью до прихотей главарей; сами они никаких правил при избиении своих жертв не признавали. Законным и справедливым считалось то, что в данный момент утверждает вожак.

Группа сдалась на милость главарей. Круговая порука сплотила, повязала и закабалила нас. Правосудие вершил Никола. Его слово было последним. Ему даже жаловались, просили милости, защиты и честного разбора ссоры.

Конечно же, сытые жаждали зрелищ. Заскучав без баталий, они науськивали слабых на заведомо более сильных, подсиживали и подначивали тихонь, сводили лбами малолетних шибутных психопатов, как боевых петухов. Побитые вымещали досаду на еще более слабых, и число драк не убывало.

— Толик сильнее Жиденка! — крикнул Горбатый, подмигивая обоими глазами приятелям. — Слабо стыкнуться!

Толик смущенно потупился и заскучал: причин для отказа или слез не находилось, но улизнуть из группы его так и подмывало.

— А ну, Жид, отвесь ему плюху! — осклабился вспухшим ртом Никола.

— Вперед, Толик, вмажь ему в харю! — подхватил Педя.

— Не дрейфь, еврей! Рви ему ноздри!

Пришла пора и нам с Толиком выяснить отношения, разделить между собой ступени у самого подножья пирамиды. Сердце болезненно сжалось, было совестно обижать приятеля, без причины ссориться с безобидным мальчишкой. Как избежать стычки и с достоинством отступить, если живая изгородь уже раздалась по сторонам и ты с соперником в ее середине?

— Не нужно, мы вам ничего плохого не сделали, — невразумительно залепетал я.

Никола сгреб нас за шкирки и столкнул лбами, как баранов. Заслонившись, мы невольно задели друг друга и сначала слегка, потом сильнее, размахались не на шутку.

После я долго ощущал зароненную в душу неприязнь, скорее всего к самому себе, хотя вроде бы примирились мы быстро и через денек, другой вместе играли в фантики. Но прежнего доверия не испытывали, и причиной всему была моя неодолимая серьезность и злопамятность.

Я безнадежно утвердился в самом подножье пирамиды. Еврей — и никаких гвоздей! Одним словом все сказано, все определено. Кому нужно возиться с евреем?

Безнадежность упрощала существование, но не облегчала. Рассчитывать на помощь или покровительство не приходилось. Заступничество за неблагонадежного могло вызвать подозрение и чувство исконной брезгливости. Снова и снова, острее и глубже ощущал я свою душевную чужеродность.

Клевали меня попросту, как записного изгоя. Нападения

приходилось ждать в любой момент. Попробуй, повернись спиной к группе, — тут же летишь вверх тормашками через присевшего сзади шпендрика. Или врежут пендель под зад, дескать «по натяжке бить не грех, полагается для всех». От одного моего заморенного вида заправил и их свиту коробило, и меня редко оставляли без въедливого внимания.

Невозможность вмешаться в свою судьбу, что-то изменить, постоять за себя, угнетала сознание, изгоняла обычные мальчишеские мысли и желания. Представлялось, что я слаб, как девочка, и должен был родиться девочкой. Случайно оказался мальчиком, потому и квелый такой.

Эта ущербность нагнеталась постоянно слышимым восхвалением здоровенных, широкоплечих громил, которым нет равных в силе и ловкости. И казалось, что мои плечи отсутствуют вообще, скошены, как у курицы. Чувство преклонения перед сильным, подчиненности подавляло искренность даже перед самим собой.

Происходящее в группе угнетало и удручало меня. Я боялся спрашивть или даже думать о том, кого обирают, кого поборы еще не коснулись? Такие знания могли быть легко истолкованы против меня. Да и не все ли равно? Пусть грабастают хоть со всего света, только бы мне доставался хлеб. Пусть лаются и грызутся до озверения, только бы на меня не сыпались пинки и брань.

Главный мздоимец, Горбатый, восседал в центре опутавшей нас паутины и подергивал за ниточки свои жертвы. Тотальный сбор, учет и контроль он поставил со щепетильностью и размахом завзятого бухгалтера-крючкотворца. Он любил подолгу мараковать над потертыми на сгибах листочками с хитрой приходно-расходной кабалистикой, где за каждой кличкой, нацарапанной грязно-фиолетовыми каракулями, тянулись длинные хвосты загогулин — цифири нарастающих долгов. Горбатый вглядывался в заветные письмена, и гримаса довольства сглаживала морщины его лица; шевеля губами и прикидывая на черновике, он дотошно исчислял набежавшие куски, отмечал сроки, принимал во внимание покорность, — все шло в общий котел прибыльного дела вожаков.

Ему особенно нравилось поигрывать в честность, хотя никто никакого отчета или оправдания от него не требовал. Словно гипнотизируя, Горбатый давил жестким взглядом свою паству, перебегал глазами с одного должника на другого, на момент задерживаясь на каждом, возможно вынося про себя приговор и решая, кого следует подстегнуть окриком, а кого наказать кулаком. Становилось понятно, что он и без писанины помнит

назубок все и обо всех, а меркантильные подсчеты лишь доставляют ему удовольствие. И каждый должник, не поднимая головы, кожей чувствовал неусыпное внимание Горбатого.

— Гони пайку! — кричал он растерянному, поникшему Толику.

— Очень рубать хотелось, не бей, не надо, — с обескураживающей наивностью молил Толик и заслонялся в испуге руками.

— Должен, гони! — неумолимо напирал Горбатый, шлепая ладонью по плечу мальчишке и тут же поддавая запястьем под подбородок.

— Завтра вынесу, сукой буду, — лязгнув зубами, плаксиво мямлил Толик, морщился и уползал за спины ребят.

— Зарекалась ворона… И вчера финтил: завтра, завтра, — распалялся Горбатый, и, подражая Николе, сек худенькую повинную шею. — На малолетство не надейся, не проймешь!

Толик тоненько блеял. Он хорошо знал, что обещаниями никого не разжалобить, но каждый раз заводил ту же карусель с просьбами и посулами. У меня так не получалось. Меня воспринимали как взрослого, без скидок на недомыслие.

Каждый раз внутренняя борьба при виде пайки возгоралась заново: что выбрать, голод или побои? Никто не посоветует, не подскажет. С настоящей бедой всегда остаешься один на один, как с тяжелой болезнью или смертью.

Хлебушек, вот он, желанный, лежит горьким искусом. Грядущая вздрючка тоже реальна, ее довелось испытать не однажды на собственной шкуре. Каждый раз меня трясло и ломало, борьба шла с переменным успехом: то выносил хлеб и проводил в голодном покое остаток дня и ночь, то заглатывал, тешил слипшийся желудок и тащился в группу как на эшафот.

12
Куча мала

Я вцепился намертво в ржавые прутья койки. Двое шестерок, мерзко матерясь, пытались меня отодрать. Им помог Никола. Он орудовал среди извивающихся тел, бросал пацанов одного на другого и придавливал сверху, вспрыгивая и топча кучу задом и башмаками.

У самой свалки кружили шестерки, толкали и давили нас, не давая расползаться. Горбатый хлестко лягал вырывающихся мальчишек, норовя засветить в лицо. Педя подзуживал издали:

— Так ему, по сопатке! Попал! Кровянкой залился!

Смятенный и обезумевший, распластался я ниц под грудой барахтающихся тел и ошалело вертел головой в надежде избежать ударов в лицо. В кучу малу я попал впервые и еще не знал, что безопаснее всего скрючиться на боку, поджать колени и прикрыть голову руками. Куча давила. Припечатанный плашмя, я бился всем телом, силясь освободиться, задыхался.

— Бей жидов, спасай Россию! — входя в раж, баламутил Педя.

Накатывал смертельный ужас: грудную клетку сдавили, не вздохнуть, еще немного и расплющат. Я закричал, и в тот же миг острый носок ботинка со страшной силой полоснул меня сбоку по ребрам. Свет померк …

Сознание возвращалось вместе с ощущением того, что беспредельная растянутость и расчлененность тела и мыслей постепенно сжимаются в целостное и конечное я. Небытие милостиво ослабило жуткую хватку и дозволило всплыть. Оглушенный, валялся я в проходе у порога спальни, не представляя, долгим ли было исчезновение?

Полутьма, лишь размытые кресты оконных рам сереют вдоль стен. Словно стянутую стальным обручем нестерпимо ломило голову, кровь толчками, со звоном плескалась в висках. Я хватал воздух судорожными глоточками и не мог пошевелиться. Попытался встать, но пол вздыбился, кресты рам закачались, как живые. Пришлось снова лечь, беспомощно и потерянно.

Кололо в боку, и эта боль пронзала все тело. Отшибли нутро, — всплыла зловещая мысль, рожденная памятью о бесчисленных криминальных историях, заканчивавшихся избиением заарканенных несчастных воришек. Я застонал и, напрягшись, потянулся к койке.

В постели очухался окончательно и дал себе волю. Рыдания

распирали грудь. Солоноватая, с металлическим привкусом кровь просачивалась в рот, тошнота подступала к горлу. Я уткнулся в подушку, сморкался и плакал взахлеб. За что меня бьют и ненавидят? Мучаюсь и голодаю, как все. Следующий раз они могут забить и до смерти … Лучше умереть сразу, чем терпеть издевательства и голод … Но умрешь насовсем, и ничего никогда больше не будет … Пожалейте меня! Мне нужна такая малость, только бы не били … В отчаянии, как в горячечном бреду, я истово творил заклинания, шептал несуразные слова, каких раньше никогда не произносил.

Боль по-прежнему буравила ушибленный бок, голова раскалывалась. Все во мне надрывалось и стонало. Я был близок к смерти или помешательству и безутешно скулил в мокрую подушку, исступленно, в неодолимой истерике, моля о помощи.

Слиток горечи скопился внутри за месяцы одиночества и страха. Неужели никто не произнесет успокоительных слов, не погладит по голове, не придаст сил выстоять?

Ощущение неодолимого несчастья окутывало меня. Казалось, такого пропащего и затурканного существа нет во всем белом свете, что достается только мне одному, а жизнь остальных ребят вполне терпима.

Сквозь собственные всхлипы и подвывания угадывался приглушенный говорок. Я знал, что никто не спит, и как только прекратил скулеж, откуда-то издалека, словно сквозь уши, полные воды, донеслись внятные голоса:

— Оклемался!

— Не будет должок зажухивать!

— Небось завтра не забудет, вынесет!

— Вздумает финтить, с кожей сдерем!

— Пятый угол закрутим!

— Недобиток жидовский! Мало их фрицы поизвели! Жаль, не всех!

— Евреи живучи, как тараканы! Их давят, а они прут из всех щелей. Откуда берутся?

— В лагере эту хархотину шлепнули б почем зря! Сколько таких ухайдакали, не счесть! Они таились, не признавались. Их все одно уличали и выдавали немцам. В бане не открутишься! Обрезанный — значит жид! Спекся!

— А наш обрезанный?

— Надо глянуть.

— Этот сам копыта откинет.

— Ноги — спички, доход-доходяга!

— Шкилетина!

Они высказывались до конца, до донышка, с абсолютной

искренностью родных по крови и вере.

Что им нужно? — вновь взметнулся страх. Не моя вина, что родился евреем. Выговариваю по-русски не хуже других, хоть кукуруза, хоть пшенка. Отчеством наделен! Назвали б Николаем или Иваном, никто бы и не пронюхал, что я еврей. А я бы все равно остался евреем, другим я и быть не хочу.

Боль и путаница в голове мешали подумать еще о скрытом еврействе, но наплакался я вволю и теперь дослушивал откровения.

— Душить жидов надо, они Христа убили!

— Бога нельзя убить. Он бессмертен.

— Много ты знаешь!

— Все говорят, что убили! Врать зря не станут.

— Заткнись! Доконаю! Нельзя Боженьку сгубить!

— Что мы без Него?

— Забыл о нас Бог вот и мучаемся.

— Хватит о Богах! Лучше споем!

> Из душных камер на рассвете нас к стенке поведет конвой,
> И я вас больше не увижу, паду с разбитой головой.
> И разлетятся телеграммы родных, знакомых известить,
> Что сын их больше не вернется и не приедет погостить.
> Заплачет горько мать-старушка, слезу рукой смахнет отец,
> Но им узнать не приведется, каков мальчишки был конец.

Безысходное рыдание желанного успокоения не принесло. Мозг бился в поисках спасения. Если и впрямь загнусь, не выдержу? Тогда терять нечего. Дерзкое решение подкрадывалось исподволь, окончательно перешибая многодневную ущербную ограниченность, и пока оно облачалось в слова, сердце бешено зачастило.

Один выход, пожаловаться взрослым. Никто, кроме меня, не посмеет этого сделать, никто так много не должен. Забьют потом до смерти или прирежут. Так и эдак, конец! От страха перед неизбежной расправой было не отмахнуться. Желание выжить вздымало горячую, как бред, решимость убежать куда угодно, только подальше от этого немирного логова, где все чуждо и враждебно. Найду, где голову приклонить, в миру хоть кто-нибудь посочувствует и приютит, есть же добрые люди. Нужно выдать вожаков и рвануть. Куда уйдешь по морозу? А вожаков накажут за обдираловку, но из ДПР не вытурят, и кара

неминуема. Безнадега, деваться некуда ни мне, ни им.

Пусть убьют, — решил я с отчаянием и до странности спокойно. Зато должников спасу. Поймут тогда, что евреи не хуже других. Умереть бы и доказать всем … Что доказать, я не очень себе представлял, и поэтому стал думать о доносе, о побеге, о наших немногих родственниках, оставшихся в живых после войны. Самая близкая родственница — тетка, жена маминого брата, погибшего на фронте. Пожалуй, напишу ей, может приедет, выручит. Заберет к себе или устроит в детдом или хотя бы в другой приемник.

Планы выкраивались разные, одни вытесняли другие, но в большинстве своем они не были реальными, и я это отчетливо ощущал. Главное же стало ясно: нужно что-то делать, на что-то решиться и немедленно, сами собой неприятности не утрясутся. Одно определенное намерение выткалось в тот вечер: последний, жуткий и верный, как самоубийство, шанс я упустить не должен.

Педя, как под сурдинку, выскуливал тоскливую песню:

Из далекой тюрьмы моей грязной
Пусть мой голос услышат друзья.
Не корите за вид безобразный,
Зато чистой осталась душа.
В голове моей мозги ссыхают.
Завтра рано отправят меня.
Улететь бы из этой темницы,
Мать-старушку обнять еще раз.

Песня гасила боль и настраивала на смиренный лад, но теперь я знал, что не так одинок и беззащитен, как раньше, — со мной заветная, грозная задумка.

Скорбно плакали ледяные разводья, намерзшие на темных окнах спальни. От махорочного дыма и вони слезились глаза. Накатывала знакомая полуночная муть. Воспаленные мысли вязли в расползающейся реальности зыбких видений больного бдения. Наверное заболел, подумалось с безразличием.

В мирной волне напева я усыпал, как в колыбели, а когда голоса замолкали, веки разлеплялись, и я подозрительно озирался: главарей и шестерок легко заносит от тоскливого воя к безудержному куражу. Сегодня песни растрогали Николу, и он разоткровенничался:

— Родителей воронок умчал девять лет назад. И с концом, ни слуху, ни духу! Маманя на инженеров учила. У папани было два ордена, б … буду! На машине ездил с шофером, чтоб мне пропасть! Помню …

Ничего страшного, можно соснуть, тем более запели николину любимую:

Ты не вейся, черный ворон …

И мне мерещилась не парящая в высоком небе хищная птица, а давно ставший притчей во язытцах наших откровенний «черный воронок», мелькавший зловещим призраком в ночных проломах улиц. «Воронок» — немеркнувшая память поющих пацанов.

Наконец издерганное сознание отключилось, и вновь я пережил пинок по ребрам, остановку дыхания и нестерпимую боль в боку.

— Спать не даешь, — тормошил меня Царь. — Брыкаешься, орешь, как дурной!

Я продирал залитые слезами глаза, но, накрытый пологом ночи, снова соскальзывал в колеблющуюся тьму, с воплем срывался в бездну.

Непробудное утро, сварливая ругань уборщицы:

— Мордой бы вас да в свое дерьмо! Языком лизать! Все обдристали вдрызг! Не отмоешь вовек! Просыпайтесь, азъяты немытые! Поздно будет!

… Горбатый с паскудной ухмылкой хапнул мою пайку, полоснул взглядом и изумленно гоготнул:

— Позырьте, волки! Жид окосел! Ну умора! Жид косоглазый!

В умывальнике у тусклого, проржавевшего огрызка зеркала я долго рассматривал себя. Резкая черта отделяла иссиня черные, стриженые волосы от белого как мел лица. Левый глаз уползал в сторону, и заставить его смотреть прямо не удавалось.

13
Свиданьице

Мглистым полднем Толика вела по двору женщина, вызволившая его из опечатанной квартиры. Ее приезд никого не оставил равнодушным; ни одного из нас ни разу не навещали, редкие счастливцы получали письма.

Было странно видеть открытый, безбоязненный уход воспитанника из ДПР. Пильщики сматывались в город втихаря, через лаз в заборе, по задворкам и задам огородов.

С момента появления гостьи меня волновало одно: пожалуется Толик или нет? Живая надежда должников и страх вожаков незримо витали в притихшей группе, прячась за мутной кисеей табачного дыма. Молчали главари, молчали ребята, но гадали об одном: выдаст или сробеет?

Их возвращение мы прозевали. С мест нас сорвал шум скандала. В зале воспитательница и начальница с трудом удерживали вырывающегося Толика.

— Заберите меня! — неистово вопил мальчик, захлебываясь потоком слез. — Пожалуйста, заберите! Работать пойду, обузой не буду, клянусь! Заберите, а то сбегу и замерзну под забором!

У высокой женщины в куцем полушубке, нерешительно топтавшейся у выхода, прыгала нижняя челюсть и растерянно кривился рот.

— Слезиночка моя горючая! — не выдержав, заголосила она. — Не терзай меня! Куда ж я тебя возьму? Муж пластом лежит, одна бьюсь … Потерпи, родной! Я ужо еще приеду, гостинчиков привезу.

Толик безнадежно выл.

Стало и мне невмоготу, защипало глаза. Я попятился в задние ряды, опасаясь, что сейчас у всех на виду зайдусь ревом похлеще Толика.

Гостья внезапно прервала причитания и, оттесняемая начальницей, боком отступила во тьму коридора к выходу.

А Толик еще долго, по инерции тоскливо выл, пускал сопливые пузыри, как интернатский несмышленыш, впервые оставленный мамой, и стращал:

— Все равно убегу!

Оглянувшись, я ненароком наткнулся на хищный, немигающий взгляд Горбатого и поразился его звериному блеску. Откровенное ожидание добычи горело в нем диким, мерцающим огнем: выследил, подстерег, остался последний разящий прыжок.

В группе он первым бросился к Толику.

— Со свиданьицем! Корешей с понталыку сбиваешь? За тобой должок числится, а ты мотать мылишься? Кого обдуть вздумал? Мы ж тебя отовсюду достанем, замухрыга! Что там заначил? — Горбатый грубо и жадно, по-нахалке, выгребал из карманов ноющего мальчишки диковинные яства: печенье, мятные пряники в бледно-розовой помадке, желтые мандаринки, конфеты в фантиках. Он фырчал от нетерпения и, чуя более сильного хищника, поскорее совал в рот мандаринку вместе с кожурой. Головокружительный аромат защекотал ноздри.

— Рви, давись! — вымученно цедил вспухший от слез Толик, обреченно подставляя свои карманы.

Подоспел Никола и хапнул весь гостинец. Раскрошившееся печенье трусилось по полу, Горбатый подбирал крошки, хватал губами с ладоней.

Стало понятно: не рассказал, побоялся.

Тупое безразличие охватило меня. Эти мандаринки, конфеты — все мертвое. О них и думать ни к чему, и смотреть на них незачем. Мой хлебушек снова поплывет мимо, и что бы ни взбрело в голову, какой бы план избавления ни причудился, — все зря, беспросветно, несбыточно. Горбатого не стряхнуть. Ему и сейчас неймется:

— Тебе, карабздюк, половину долгов скостим. Завтра штефай пайку, разрешаю, — отвалил он от своих щедрот.

Его всегдашняя готовность половинить наши долги, но ни в коем случае не прощать их, наводила на мысль об известном опыте такого рода в его прошлом, скорее всего в качестве клиента.

Новогодним утром лизали сырковую массу прямо из блюдец. Пакетики с подарками захапали вожаки, даже развернуть не дали. Оделили фантиками, прозрачными, душистыми.

Без хлеба праздник не в праздник.

Елку обрядили в акварельно-бумажные кружева. Хоровод малышей напомнил о прошлом Новом Годе, вышиб нежданные слезы, затмившие и без того жиденькое веселье. Выплакался в одиночестве, в уборной.

14
Бунт

Жизнь вожаков стлалась на удивление гладко, им сходило с рук все. И вот первая неувязка: взбунтовался Лапоть. В тот день Горбатый, устрашающе задрав пасть, гаркнул через всю группу:

— Опять не вынес?!

— Это моя пайка. Должок я вернул. — Лапоть говорил осторожно, но в этой осторожности доминировало неповиновение, нарушение субординации.

— Ты, рыпаться! — Горбатый тянул слова. — Молчать, пока зубы торчат, не то вылетят!

— Больше не обломится! Ни крошки! — строптиво набычился Лапоть.

— Кровь отворить?!

— Живьем жрите!

— Выкидончики?! Слышите, волки?

Волки слышали. Никола без размышлений сграбастал заартачившегося мальчишку за ворот и поволок на середину. Лапоть не поддавался. Оторванные металлические пуговицы горохом запрыгали по полу.

— Сам нарываешься, придурок лагерный! — Николе надоела эта волынка и, резко бросив вперед напружинившую тушу своего грузного тела, он звезданул дерзкого пацана в подбородок.

Лапоть врезался в дверь и рухнул на пол. Несколько помедлив, приподнялся. Густая кровь ползла из его рта, смешиваясь со слезами, глаза лихорадочно искрили, возгораясь сумасшедшей решимостью!

— Убью, гад? — испустил он неистовый вопль и с разгону боднул обидчика в живот. Верзила дернулся и запрокинулся навзничь. Лапоть подмял его и ожесточенно замолотил кулаками по опухшей морде. Кровавая слюна срывалась с губ непокорного мальчишки, а он долбил и рычал истерически:

— Не дам хлеб! Не дам! Порушу крохоборов!

Ошеломленный и растерянный, взирал я на психическую атаку восставшего должника и вдруг с необыкновенной трезвостью заметил, что Лапоть, хотя и приземистый, но устойчивый и плотный, как будто литой, мальчишка с короткими голенастыми ногами. Вопреки разуму, нелепая надежда трепыхнулась в груди. Неожиданно я обнаружил в себе отчетливый позыв помочь Лаптю, поднять всех должников. Всех не прирежут, даже не налупят. Шальное искушение, как озарение,

толкало вперед. На миг почудилось, что оно овладело всей группой, что сейчас и без моего жиденького призыва произойдет всенепременное свержение власти. Я напрягся в готовности броситься на врагов по первому зову.

Впервые в жизни во мне взыграл приступ неистового желания ввязаться в драку; руки чесались в дерзком азарте. Для счастья нужно было шарахнуть кулаком по водянисто серой роже Горбатого, крушить скулы вымогателям, видеть мольбу о пощаде в их стылых глазах. Представлялось даже большее: упоение яростной дракой, небывалая радость от ощущения ловкости и силы своего тела, блаженство победы и освобождения из голодного плена. Участившееся дыхание распирало грудь, испарина выступила на лбу.

Николе никак не удавалось сбросить цепкого мальчишку.

Опомнившись, я зыркнул по напряженным лицам ребят, пытаясь распознать смельчака, способного поднять за собой всех. Чувство близкой опасности, риска пылало во мне, пальцы стиснулись до боли. Но дальше сжатых кулаков дело не пошло, страх и трусость взяли верх над проблеском разума. Только стук крови в висках да противная дрожь всего тела остались позорным напоминанием о секундном мужском порыве; порыве, который угас, не успев разгореться. Никто не отважился поддержать смутьяна ни словом, ни жестом.

Горбатый и Дух наскочили на разъяренного Лаптя сзади, с опаской отдирая его от поверженного вожака. Лапоть отмахнул Горбатого локтем, и тот кувырнулся вверх тормашками далеко в сторону, задевая за столы и стулья, сминая столпившихся ребят. Однако это вмешательство оказалось решающим. Словно проснувшись, прыткая свора шестерок навалилась на бунтовщика. Всем скопом оттянули отбивающегося, рычащего мальчишку и позволили Николе подняться. Началось дикое избиение, и необузданная ватага позабавилась всласть.

— Гробь гада!

— Ломай его!

— Шибай по балде!

— Разрисую! — Горбатый взмахнул ножом, но полоснуть решимости не хватило. Только харкнул в лицо Лаптю и озлобленно призвал:

— Добивай лягаша!

Растерзанный, с расхлюстанным носом, Никола остервенело, ребром ладони, рубал мальчишку по чем попало.

— Шалить?… Покурочу!

Общими усилиями загнали смутьяна в угол и, наседая со всех сторон, метелили и рвали его беспощадно. Ослепленный злобой

Лапоть яростно отбивался руками, ногами, едва ли не зубами. Но силы были не равны, и ничего поделать было нельзя. В последний момент, когда подуставшая свора повалила его и начала пинать, Лапоть извернулся, продрался сквозь лес ног и тел и опрометью сиганул в дверь.

На душе было скверно, как будто содеял подлость. Пусть бы избили, — думал я с презрением к самому себе, — не впервой. Струхнул, упустил момент, которого, возможно, больше не представится. Подсобил бы, глядишь, что-нибудь и выгорело. Другие должники потянулись бы следом, хоть Царь. С него проку мало, зато пример бы подал. Еще человек пять-шесть, а там — стенка на стенку, да с нами никто бы не сладил. Тогда конец голоду и мучениям.

Запоздалые сожаления глодали меня.

Вокруг возбужденно потявкивали шестерки, готовые на новые изъявления преданности, оправлял одеяние остывающий Никола. К нему были обращены пришибленные, подозрительно одинаковые лица должников: с каждого липкой патокой текла вымученная угодливость и покорность. Я чувствовал, что и моя физиономия скисает жалкой, заискивающей гримасой.

Мороз и метель отрезали Лаптю пути отступления. В запертый чулан с ватниками проникнуть ему не удалось, а бунтарский выпад одной потасовкой ограничиться не мог. Это не бесхитростная драчка неполадивишх школьников, которая прекращается при первом жалобном писке или плаче, а перепуганный победитель улепетывает ошпаренным петухом. Предстояла грозная ночь с искуплением дневных прегрешений.

Поначалу темная не задалась. Непокорный Лапоть разодрал пополам наволочку, наброшенную ему на голову. Как сорвавшиеся с цепи псы, разнузданная орава шестерок навалилась на него в открытую. Никола торкал мокрой шваброй ему в лицо и взрыкивал свирепо, по-звериному. Лапоть огрызался ослепленным яростью дикарем, выплевывал кровь. Педя сидел в сторонке и натрыжно талдычил:

— В парашу его, в парашу!

Клубок дерущихся тел поволокся по проходу и выкатился в предбанник.

— Окунай подлюгу!

Загремела бадья.

— Сука! Опрокинул!

— Макай харей в дерьмо!

Внезапно с лестницы донесся крик:

— Шухер!

Голос Марухи пресек вакханалию избиения:

— Что, взбесились?! С ума сдурели?!

Застревая в проеме, орава шестерок ворвалась в спальню и стреканула по постелям.

— Хромай отсюда! — забасил Никола в прихожей.

Они негромко попререкались, и Маруха увела его к себе.

Вернулся Лапоть, всхлипывающий, вонючий и мокрый; длинная струйка крови ползла из его уха за ворот рубашки.

Как и днем, десятки глаз пассивно следили за расправой, как и днем ни звука не сорвалось в его защиту.

Отшумели страсти, от сердца отлегло, но мыслишки трепыхались совсем иные: хорошо, что удержался, не поддался соблазну во время дневной стычки, не полез на рожон. Атамана и его кодлу не одолеть. Горбатый чуть не пырнул Лаптя финкой, меня Никола придушил бы шутя.

Искушать судьбу желания не было. Слава Богу, куражились не надо мной, нужно терпеть, должны же прийти путевки. Глубоко спрятанная удовлетворенность собой взяла верх над недавними сожалениями. Однако удовлетворенность была мимолетной; впоследствии, припоминая расправу над Лаптем и свою трусливую нерешительность, я был мучительно противен самому себе.

Казалось, шальная смута пресечена, и остается только смирение. Но утром Лапоть рванул из приемника.

На отлов беглеца отрядили команду во главе с покарябанным Николой, а к вечеру в погоню пустились и слегка всполошившиеся воспитатели. Напрасно! Попутать его в тот день не удалось, и только через пару недель его привел милиционер.

Лаптя было не узнать. Из-под серой, прожженной на темени пилотки топорщились толстые, словно приклеенные, обмороженные уши. Запахнутая на голой груди вдрызг истерзанная хламида грязной бахромой свисала до закрученных в ветхие обмотки голеней ног. К ступням были прикручены тесемками дырявые галоши.

— Личит ему клиф-то! — со знанием предмета оценил наряд Никола. — Без порток, а в шляпе!

— Ливрея что надо! Пообтерлась самый мизер! — восхищенно поддакнул Педя.

— Что, убег? — торжествовал Горбатый. — В миру-то икру жрал?

— На тебе ж прямо вериги! Почем прибарахлился? — любопытствовала начальница.

Меня поразило не одеяние Лаптя и даже не его обметанные черным налетом болячек губы и шморгающий, в струпьях

облезлой кожи нос. Поразили нервный тик века и одичалый, затравленный взгляд.

Вот как воля привечает нашего брата! И что отождествлял он с волей, что звало и притягивало его с неодолимой силой? Конечно, родное подворье. Здесь его и попутали. Завернули обратно, передавая из рук в руки по длинной цепочке городов и селений со множеством таких же заведений, как наше.

Попытка удрать не удалась. Как затеряться в этом тесно упорядоченном мире, повязанном нищетой и рабскими путами, где неконтролируемого жизненного пространства совсем не осталось?

С месяц Лапоть отлеживался в изоляторе.

Без главного работяги, усердного и сноровистого Лаптя, возникла запарка с заготовкой дров. Артель нерадивых пильщиков не справлялась с заданием. Им было не до пил и топоров, их все больше прельщал оживающий после войны и оккупации городок с его лавчонками, баней, барахолкой и вокзалом с прибывающими и отправляющимися поездами.

А с морозами подзатянуло.

Начальница изругала филонов и повелела снаряжать после обеда вторую смену заготовителей дров. Теперь большинство ребят старшей группы раз, два в неделю бывало на улице. И только пять-семь запаршивевших доходяг, вроде меня, Царя и Толика, по-прежнему мечтали о прогулке как о хлебе и светлом празднике.

Вожаки уверовали в безнаказанность и взлютовали. Хлесткие удары сыпались направо и налево, по поводу и без повода, возводились в повседневную норму общения, заменяя ненужные, теряющие смысл и действенность слова.

Власть была завоевана, сопротивление подавлено, осталось натянуть удила до кровавой пены, чтобы крамольные мысли о непослушании даже не зарождались. Вечерами вытворялось неописуемое: дежурные потехи буйных лунатиков, беготня по койкам, неуемная матерная грызня картежников, куча мала и еще какие-нибудь мелкие пакости и дикие выходки, — разве спокойно уснешь?

И позже, когда все засыпали, легчало не всегда. Даванет удушье, вскинешься в ужасе, разинув рот, жадно хлебнешь тяжелого настоя и из последних сил сдерживаешь рвущийся из глотки предсмертный вопль. Почти задохшийся, удерживаешь голову на руке: ложиться страшно, удушье того и гляди сомкнет челюсти намертво, и уже не проснешься. Ворочаешься, измученный, и гонишь мысли о смерти. Сон все-таки побеждает, голова клонится в вонючую прель подушки.

Попривыкнув, я решил про себя, что лучший способ превозмочь ночь — поскорее опять уснуть. Будь что будет! Я впадал в чуткое и тревожное забытье: какая-то частичка сознания бодрствовала и бдительно следила за дыханием, охраняя жизнь.

15
Отруби

Промерзший Дух в припорошенной опилками фуфайке, в заснеженном облезлом треухе ввалился в группу и быстро-быстро замолотил что-то Николе. Я навострил уши и наполовину разобрал, наполовину угадал смысл сказанного: от стены конюшни отодрана доска и есть шанс разжиться то ли овсом, то ли жмыхом.

— Заметано, — кивнул Никола. — Отобедаем, нарисуем!

Может мне шурануть, испытать фортуну? — исподволь всплыло отчаянное намерение. Пока сыр-бор, сборы-хлопоты … Соблазн возгорался вместе с боязливым напряжением во всем теле.

Горбатый принял мою пайку, с кислой привередливостью повертел ее, едва не обнюхал, и пренебрежительно поджал губы: не грабил, делал одолжение или одаривал. Прошли времена, когда, шальной от нетерпения и жадности, он рвал куски вместе с руками. Забурел, пресытился.

Я отбросил сомнения: рискну! Впервые за много недель выскользнул во двор. Резкий порыв студеного ветра пронзил насквозь, я захлебнулся его пьянящей свежестью и чуть не повернул обратно. Мгновение постоял, пытаясь унять гулкое биение сердца. Тело сжалось, колючие глотки морозного воздуха обжигали горло.

Высоко в небе висели легкие облака. Все было бело, и лишь над мохнатыми снежными шапками домов торчали темные печные трубы. Ветер срывал с них жидкие дымки и, унося, быстро развеивал.

Наплыв безрассудной решимости подстегивал: возвращение сулило лишь примирение с безысходностью и вечным голодом. Низко согнувшись, отворачивая от ветра лицо, покостылял я неверной трусцой меж двух рядов бугристых сугробов. Меня повело как пьяного, занося то к одному из них, то к другому. Высоченные сугробы скрывали с головой и взрослого, так что из окон дома я не был виден. Громко скрипел сухой, свежевыпавший снег. Подумалось: скопычусь и ткнусь в сугроб — хана, не выбраться, увязну.

У входа в конюшню было понатоптано, понапачкано, и я повернул в обход, вдоль стены. Подгибались колени, зубы вылязгивали звонкую чечетку, слезящиеся глаза шарили по неровной, залатанной стенке из разномастных, заиндевелых

вдоль пазов досок и горбылей. Стоп! Словно по наитию потянуло меня прямо к заветному, повисшему на одном гвозде горбылю. Сдвинув его, я сунулся в узенькую щель. Тело проскользнуло сразу, а голова застряла. Подергавшись и ободрав уши, пролез внутрь.

Потемки дохнули в лицо острой вонью кислой лошадиной мочи и навоза. Узкие полоски серого света окаймляли прямоугольник неплотно пригнанных дверей. В нетерпении я вытянул вперед руки, ощупывая полумрак. Медленно прояснялось, по сторонам проступал тесный хлев с хомутами и упряжью на стенах и стойлом в углу. Слева всплыли нечеткие очертания громоздкого, приземистого ларя. А рядом, на земляном, унавоженном полу, — длинный, чем-то набитый под завязку мешок. Дрожащие руки нащупали неодолимо затянутую перевязь. Рванул зубами ветхую дерюгу, она легко подалась. Протиснув два пальца в прокушенное отверстие и поднапрягшись, вспорол гниловатую, расползающуюся ткань. Из дыры пыхнуло трухой — отруби!

Колыхнулось голодной мутью сознание, сердце зашлось неистовым трепетом. Я черпанул пригоршню муки и с жадностью припал к ней ртом. Пыль хлынула в глотку и в нос, дыхание перехватило. Выворачивающий нутро кашель потряс меня. Слегка успокоившись, я погрузил ладони в серую, бархатистую мучицу и принялся хватать ее губами, как нервная лошадь. Пыль забивала горло, я задерживал вдох, боясь снова поперхнуться, и жевал, жевал не переставая, стараясь поскорее смачивать слюной и заглатывать прогорклую, отдающую плесенью и мышиным пометом пищу богов. Мир перестал существовать, я отрешился от страха, оскорблений и побоев. Был только мешок с теплыми отрубями и неуемное желание набить спекшееся пустое брюхо.

Закоченели ноги, замерзла спина, а я с лихорадочной поспешностью, давясь пылью, уминал все новые и новые пригоршни. Стоп! — опомнился наконец. Дорвался до бесплатного! Накроют с поличным и хана! Вытащат из-под ларя и забьют, затопчут, как паскудного воришку.

Приникая к мешку, нагреб до верху карманы шаровар и с трудом привстал. Тянуло пошмонать еще немножко, вдруг наткнусь на жмых или овес, но неверная тьма дальних углов таила опасность, и решимости не хватило. Лишь запихнул напоследок полную пригоршню в рот, гребанул на дорожку жменю и выбрался наружу. Яркий свет резанул по глазам. Подслеповато щурясь, я пригнулся и обомлел, обнаружив, что весь покрыт серой пылью. Слегка пообмелся, и тут же ощутил тонкую струйку муки, текущую через дыру одного из карманов в

порточину. Хотя порточину у щиколотки стягивала резинка, я все же заторопился и припустил по тропинке. Теперь, когда благополучный исход был близок, мандраж охватил меня. Я опасался, что буду перехвачен у входа и силой лишен добычи. Пробираясь в дом, был уверен, что неприятность подстерегает у двери в канцелярию. На лестнице каждую минуту ждал внезапного нападения и ограбления. Но все обошлось, новичкам везет. Будто заговоренный, проскочил незамеченным несколько комнат, ни у кого не вызвав подозрения.

В спальне бережно ссыпал отруби на разостланное вафельное полотенце, осторожно смахнул остатки, налипшие на кальсоны и изнанку шаровар, отряхнул запудренные ноги. Глянув на иззябшие, тонкие икры, мимоходом отметил: ну и доходной же я стал! В последний момент, завязывая концы полотенца, не выдержал, размотал и отначил немного в карман, решив полакомиться в группе втихаря, как давленным мякишем.

Проржавевшая нижняя наволочка представлялась подходящим укромным тайником. Подпорол ее пошире с угла и припрятал сокровенный узелок в грязную вату. Подушка лежала, как девственная: маленькая, бесформенная, неотличимая от десятков других.

В группе полностью уверовал в удачу и даже предвкушал, как после отбоя заморю невидимого червячка, настойчиво буравящего пустой желудок. Пожалуй, отруби не следует транжирить. Растяну на неделю, даже на месяц, слегка прикладываясь раз в день, а то и в два. Я устремил в себя взор и проникновенно размышлял о том, что отруби — это мука, только погрубее, и из нее можно испечь хлеб. Вспомнилось, как мама заводила квашенку и наделяла нас кусочками теста, как мы мяли и играли с ним, как наши сляпанные фигурки ставились в духовку вместе с большим праздничным пирогом. Божественный аромат свежевыпеченного пирога замутил сознание. К отрубям потянуло неудержимо, и я осторожненько, несуетливо обмакнул в карман наслюнявленный палец и слизнул с него прилипшие пылинки.

Разве можно утихарить съестное в изнывающей от голода толпе?

— Что темнишь, Жид?

Мгновение — и меня вышвырнули на середину; еще мгновение — и Никола выдернул наружу карманы моих шаровар, рассыпав муку по полу.

— Отруби затырил! Жмот! На шарапа! — разнесся истошный вопль, и в комнате поднялся невообразимый переполох. С голодным блеском в глазах пацаны повскакали с мест и,

отталкивая друг друга, тучей свирепой саранчи бросились на раструшенную горстку отрубей. Давка, ругань, грохот сдвигаемых столов и падающих стульев. Рассеянная мука исчезла, слизанная в один миг.

Суматоха постепенно улеглась, и только парочка пацанят еще долго ползала под столами и, как магнитом, обшаривала доски пола наслюнявленными ладошками в поисках призрачных остатков несобранных песчинок.

До самого отбоя корил я себя в недомыслии: дурья башка, разве можно было тащить отруби в группу! А когда заначки в подушке не оказалось, загоревал всерьез. Недавнее везение обернулось новой издевкой. Раз в жизни разжился съестным и не уберег! Затравленным зверенышем бросал я из-под одеяла осторожные, злые взгляды в дальний конец спальни. В стане Николы, как обычно, громко базарили, резались в карты. Я беззвучно скулил в подушку, не смея заикнуться о пропаже. Не пойман — не вор! За напраслину непременно схлопочешь по сопатке, а отруби не вернут, это уж точно!

16
Вторжение

Снежная круговерть мельтешила за окном. Взбесившиеся ветры развеивали сухую, острую крупу по подмерзшему насту, вздували нагие ветви кленов. Трубы изошлись пожарным воем, отодранное железо на крыше билось и бухало невпопад. Время умеряло свой тягучий ход, а иногда, словно забывшись, неподвижно зависало и прислушивалось к шорохам и взвывам взбалмошенных вихрей. Казалось, сплошная зима царит здесь уже не один год подряд.

И каким-то шальным, отбившимся потоком, заплутавшим в бескрайних просторах глухого зимнего безвременья, в наш заповедник занесло четверых подозрительно здоровенных лбов. Кто их направил сюда уразуметь было трудно. Бесприютная поросль перла отовсюду, хлестала через края узилищ, и наш застойный омут, возможно, приглянулся в качестве предвариловки. Надо думать, имелись и другие мотивы. Так или иначе, неведомыми зигзагами больших дорог к ДПР прибился квартет великовозрастных верзил лет по восемнадцать-двадцать.

С неспешной повадкой непугливых и неприхотливых бродяг вплыли они в группу, колыхнулись гулливерами над кочками стриженных кумполов и широко расселись по привилегированным табуретам у печки. Первые две-три минуты новички покашивались на наши изумленно вытянутые физиономии, как бы оценивая казенный приют и его обитателей. Быстро уяснили обстановочку, отвернулись с откровенным безразличием и вниманием нас больше не удостаивали.

Большая часть комнаты была теперь отторгнута новоявленными пришельцами. Мы удивленно пялились на широкие спины, трепанные шевелюры и живописные захолустья потасканных клифов. Казенных одеяний подходящих размеров им, конечно, не припасли. Новенькие разительно отличались от нашего мышино-серого царства. От них исходил особый вольный дух: терпкий запах пота взрослых людей, зимних дорог, чеснока и водки.

Место Николы досталось ражему горбоносому губану с пронзительным взглядом нерусских миндалевых глаз, с витой копной смоляных волос. Треугольный торс и медлительные движения его таили непомерную физическую силу.

Второй, поджарый хлыщ с впалой грудью и узкой птичьей головкой почти сливавшейся с тощей кадыкастой шеей, торчал на

табурете покосившейся каланчей, далеко протянув ноги-ходули. Он то и дело приглаживал косой чалый чубчик, острым концом коловший левую бровь, пучил пуговичные глазки.

Еще двое новеньких — невзрачные, мелкого пошиба рыбешки со стертыми, неприметными лицами карманных воришек — держались в тени, на подхвате, явно уступая лидерство.

Как ни внушительно выглядели пришельцы, я не сразу оценил по-настоящему ситуацию, даже в душе раболепствуя и уверяя себя в том, что с компанией преданных шестерок Никола шуганет новичков с насиженных местечек в один момент. Явится с прогулки, устроит потеху! Как всегда, хотелось угодить приблатненной кодле. С ними вместе еще жить да жить, и, возможно, мне как-то зачтется такая глубокая, даже не высказываемая вслух, преданность. Уровень неискренности перед самим собой, блаженного самообмана был неизмеримо высок.

Исхлестанные метелью пильщики шумно ввалились в группу. Непорядок в распределении мест озадачил их, но напролом сразу никто не полез; вклинились в наш кишмя кишащий муравейник. Лишь Никола запнулся у порога, недоуменно озирая странное явление.

— Схлынь с места, хмырь! — наконец взъерепенился он. — Занято!

Первым нескладно привскочил длинный Хлыщ, за ним разом взметнулись остальные.

— Ай, нэ хорошо! Вышибала? Нэгостэпрыимый какой! Накрычал, дэбош, галдеж, — гортанно выговорил Черный и хищно раздул орлиный носище. — Ты этот мэст покупал, лось? Сколька стоит?

— На кого тянешь? — гнул свое Никола. — Хиляй под нары, вертухай дешевый!

Хрясть! Что-то хрустнуло, и одутловатая морда резко, как на пружине, мотнулась вверх. Бил Черный. Молниеносный разящий удар огромным кулачищем снизу в горло. Удар кувалдой по живому телу. Никола надломился и, вскинув руки к лицу, кулем плюхнулся на пол.

День за днем, месяц за месяцем сносили мы издевательства и побои, трусливо наблюдали за безжалостными расправами главаря над первым, кто подвернулся под руку. День за днем, месяц за месяцем впитывали мы в себя всесилие, неодолимость и абсолютную законность его власти. Теперь, поверженный, он вызывал плебейскую раздвоенность: жгучее желание видеть его раздавленным и посрамленным и глубоко внедрившееся неверие в возможность такого чуда. Что-то произойдет. Никола вывернется. У него натасканные шестерки, верные кореша среди

воров и громил всех мастей и на воле, и за решеткой. Радоваться рано и опасно.

Трудно было сходу принять сторону чужаков. Конечно, главари отвратны и жестоки, но они свои собственные, домашние недруги, я повязан с ними круговой порукой, кровно причастен к их тайнам и потому — к их защите.

Секундное замешательство, и ошалелый, дико орущий Никола взвился на дыбы:

— Покурочу! Я психованный! Убью, и мне ничего не будет!

Неукротимым огнем сверкнули узкие глазки. Никола с нахрапом припадочного ломил на обидчика.

Хрусть! На полпути его подбородок со всего маху напоролся на мощный кулак, как на камень, пущенный из пращи. Удар был не менее впечатляющим, чем первый.

Потрясало ледяное спокойствие Черного: блестящие, без тени страха глаза, неспешный поворот головы, расстегнутая верхняя пуговица синей косоворотки на высокой груди.

Никола шмякнулся рыхлым задом на пол, жутко забился, стеганул пронзительным скрежетом мата:

— Буй тебе в дых, в звучащую, мычащую, рычащую!

Поднимался драться, не приемля краха отвыкшим от поражений сознанием.

Мы повскакали с мест, теснясь к стенам, освобождая арену сражения. Неужели не ввяжутся шестерки, не поддержат хозяина и кормильца, не примутся терзать новую жертву? Едва атаман привстал на колено, два коронных, сокрушительных удара — хлысть! хлясть! — сломили его, сшибли с ног.

Он бился в блатной истерике у порога и дурным голосом изрыгал ругательства, плача омерзительно, как никто ранее из его жертв. Попытался было хорохориться и угрожать, но жесткий тычок сокрушил его. Глухой удар затылком об пол, — и все было кончено.

— Дэбош, жопа-рыло! — Скорый на расправу парень учащенно дышал, его хищные ноздри трепетали.

Произошло невероятное! На наших глазах всесильного атамана отделали, как последнего лагерного доходягу и дистрофика. Мы еще не знали, можно ли радоваться открыто, можно ли улыбнуться победителю и довериться ему, а торжественные фанфары уже гремели в наших сердцах.

Меня поразили ошарашенные, совершенно круглые и очень белые глаза Толика. Тут же почувствовал, что и сам крайне возбужден. Захаров оторопело замер в неестественно скрюченной позе, широко разинув рот. Рядом Лапоть, упругий, изготовившийся к прыжку боец с оловянными, вылезающими из

орбит зенками. Этот не обманывал себя никогда, по-крестьянски прост и искренен. Этого только позови, не поколеблется. Царь внешне спокоен, но, несомненно, тоже возбужден; отложил книгу, неотрывно всматривается в происходящее.

Потрясенная группа безмолвно лупила удивленные глаза на Николу и залетную стайку парней, никто не упустил ни малейшей детали экзекуции.

Хлыщ согнулся вопросительным знаком, прикурил от уголька и неожиданно разразился песней:

Ой какой я был дурак,
Одел ворованный пиджак
И шкары, и шкары!
А теперь передо мной
Решетка, двери, часовой
И нары, и нары!
И вот на нарах я сижу,
Такую песенку твержу:
Свобода! Свобода!

Счастье свалилось нежданной оттепелью среди суровой зимы. Это был мой день! Впервые я без страха глядел на Николу, измочаленного, отхаркивающего красные сгустки. Лицо его — ком сырого мяса, волосы вздыбились в беспорядке, распухший нос пузырил кровавыми соплями. Новой психической атаки не предвиделось, хотя слезливые хрипы еще рвались из его пасти:

— Поплатишься! …Умоешься кровянкой!.. Попадешься на кривой дорожке, берегись!.. Отольются мои слезы!

Я не испытывал никакого злорадства, только удивление и стыд: как мы могли покориться такому жалкому и отвратному существу? Даже опасался, что побитый Никола снова зафордыбачит и его начнут метелить. Довольно! Учиненной расправы хватит с лихвой. Омерзительны драки, омерзительна кровь, даже если это кровь вождя.

Наступил желанный миг освобождения, и все во мне ликовало. Не от чувства утоленной мести, а от крепнувшей уверенности в том, что пайку за обедом съем сам. Урвать больше нечего, — осмысливал я произошедшее. Суп и кашу в карман не спрячешь, из столовки не вытащишь, а потому — хуже не будет … Ну и лбина этот Черный! Ну и здоровила! Шестерки-то как шавки подзаборные перетрухали …

Укрощенный Никола сразу увял, и не казался неустрашимым и сильным. Щербатый рот его лез на сторону, волосы неряшливо косматились, израненная сопатка долго не заживала. Стали

особенно заметны его рыхлость и болезненность. Невидящие пустые глаза прятались, как будто в неподвластном ему мирке и смотреть-то не на что. Мы не могли не ощущать его неугасающей враждебности: избиение воспринималось как фактическое заступничество за нас, должников, подспудно враждовавших с ним ежедневно. Возможно, бывшего вожака унижала и давила сама необходимость находиться среди нас: своего местечка в толпе, своей ступеньки в пирамиде у него не было. Мы, по возможности, сторонились низвергнутого повелителя, побаиваясь задеть ненароком и запасть в тенеты его злопамятства. Казалось, всем своим диким и властным нутром Никола упорно и тупо на что-то надеялся. Слишком долго он поцарствовал, слишком необычным было появление в ДПР взрослых парней и неясны их намерения.

Нагнал Черный страху, а возможно, и радости на шестерок: прикусили языки, растворились в толпе, недавних хозяев признавать перестали.

Рассеялся агрессивный пыл Горбатого. Он съежился еще сильнее и весь обратился в зрение и слух: задумчиво оглядывал, будто оценивал, парней да еще страшился Лаптя пуще огня. Сник и Педя в ожидании лучших времен; подолгу буравил глазами спину Черного. Распался союз сообщников, и поборы застопорились сами собой.

Прорываясь в столовку, каждый из бывших должников хватал, не раздумывая, свою пайку и поспешно, ни на кого не глядя, уминал ее, давясь и напрягаясь, по-собачьи заглатывая непрожеванные куски, словно малейшее промедление грозило новой голодовкой. Трудно было до конца уверовать в спасение: рубаешь собственную пайку, а вроде бы объедаешь кого-то.

Мы будто дали зарок не упоминать ни о прошлых обидах, ни о невозвращенных долгах. Возможно, подспудно опасались подать соблазнительную идею вновь прибывшим и повесить на шею старое ярмо у новых хозяев. Никому и в голову не приходило жаловаться или рассказывать парням о повальной обдираловке. Да и стали бы они слушать? Поглощенные одной заботой: раздобыть паспорта и сбежать, они чурались нас, изъяснялись полужестами, рваными фразами полунамеков, смысл которых поначалу до меня не всегда доходил.

Черный нацелился раскурочить канцелярский сейф и увести все документы и воспитанников, и воспитателей.

— Сварганым дэлцэ, заживем на воле! — мечтал он.

— Дохлый номер! — не соглашался Хлыщ. — Раскинь мозгой: на хрена нам метрики малолеток?

— Любые ксивы загнать, обменять можно! Липу в этой дыре

не выправить, и с паспортами труба: сплошные колхозники, сами о них мечтают.

— С сейфом засыпемся. Забреют, припаяют катушку ни за хрен собачий!

— Засыпымся, засыпымся! — гнул свое Черный. — На мели сыдим, верный дела боимся?

— Нужны ксивы под нас.

— Вспорем медведя и айда! Как горны орлы!

Нас их грешные дела не печалили. Всколыхнулся негромким смехом затишный омут, загалдела воспрянувшая ребетня. Воцарилось зыбкое согласие: никто нами не повелевал. Конфликты и драки прекратились. Пирамида потеряла свои четкие очертания, о ней как бы забыли на время.

Пользуясь структурной неразберихой, мне удалось вклиниться в артель пильщиков и проторчать на морозе пару часов. Я пыхтел и отдувался, откатывал от козел мерзлые чурки и укладывал штабелями хмельные колотые полешки. Ноги подворачивались, как протезы, а я радовался упорхнувшим в прошлое злоключениям и уверял себя, что с этой вылазки на работу уже не буду таким никчемным и бесполезным, что в изменившемся быте группы найдется и мне подходящее местечко. И изо всех сил старался пособить ребятам.

17
Блатная житуха

Парни могли взять бразды атаманства в свои руки, но не снизошли до этого. Возможно, не догадались или не успели снизойти. Их недолгое пребывание промчало на одном пьяном вздохе.

— Новенькие? — обратилась к ним воспитательница, подозрительно принюхиваясь: к неистребимому, горьковатому душку махры, которым группа провонялась насквозь, примешивался сивушный чадок и кисловатый аромат сопревших портянок. — Быстренько, пилить дрова!

Молчание и полная невозмутимость. Лишь после значительной паузы Хлыщ взмурлыкнул, не оборачиваясь к воспиталке:

Каждый знает, что в субботу
Мы ходим на работу,
А у нас суббота каждый день, да, да!

Женщина стушевалась и, растерянно заикаясь, угрожающе повысила тон:

— Понятно?!

В ответ — только знаменитая песня:

От развода прячемся под нары,
Не одна, а три-четыре пары.
Коль начальник прибегает,
На работу выгоняет,
Мы и с ним заводим тары-бары, да, да!

— Прекратите!

Если на работу мы пойдем, да, да!
От костра на шаг не отойдем, да, да!
Побросаем рукавицы,
Перебьем друг другу лица,
На костре все валенки пожжем, да, да!

Воспиталка немо трепетала. Черный обернулся, повел

хищной носиной:

— Цыпа, от вас дурно пахнет!

— Да ты … — У женщины не хватало слов.

— Лапушка, зачем хипиш? Мы отлычно поладим. — Черный скользнул откровенно непристойным взглядом по блеклым вдовьим прелестям.

Женщина вспыхнула всем своим потерянным нутром; краснота со щек поползла по шее под вырез платья. Она невольно попятилась и, не в силах совладать со слезами, унеслась в канцелярию.

— Погодь, кроха, не ярись! — развязно хохотнул вдогонку Хлыщ.

Парни фырчали, как кони.

Однако конфликт скоро был улажен. Новенькие разобрались в обстановке и зажили по собственному режиму. Поутру снаряжались с дровяной артелью и прямо от крыльца правили в город. Исчезали они и после отбоя. Слетались в спальню запоздно, изрядно пьяные, видимо, приворовывая по мелочам на стороне.

Всколыхнулись темные ночи старой необузданной блатной мутью на новый манер. Потом казалось, что парни пробыли в нашей глухой заводи одну единственную, длинную, потрясшую нас ночь.

Меня разбудило громыхание в предбаннике и разудалый хрип:

Когда качаются фонарики ночные …

На пороге Хлыщ шумно вздохнул и провозгласил:

— Как хорошо в краю родном …

Приятели, один за другим, продолжили:

— Где пахнет сса …

— Ми …

— И га … лошами!

Сижу на нарах, как король на именинах …

Запрокинув затылок, судорожно дергая острым кадыком, Хлыщ забулькал из горлышка бутылки с белесым, будто хлорированным самогоном. За ним надолго, взасос, приложился

Черный. Лил как в бездонную бочку. Наглотался, с отвращением содрогнулся всем телом, затряс одурело башкой:

— Лафа!

Хлыщ грустно вымолвил:

— Если б не воля, хуже не было б сего городишки.

— И этого поганого питомника! Тошнотная дыра!

— Ни баб, ни шалманов.

— Картофельная брага в изобилии!

— А пивной ларек у толчка? — осторожно ввернул Горбатый.

— Сортирная будка на ледяном бугре?

— Нэ доступна, скользко.

— Где пьют, там и льют! — резонерствовал Хлыщ и дребезжащим баском завел:

Завелась одна халява, Катя,
За нее пускали финки в ход.
За ее красивую походку, гопцы!
Колька обещал сводить в кино!

— Тяпнем, допоем.

Хозяйничал Хлыщ, видимо тянувший лямку главного добытчика. Хлеб и сало кромсал, как рубил, крупно, не скупясь. Уписывал неопрятно, роняя крошки. Хлебал сивуху, покрякивал, поперхивал, — лезло обратно. Щедро угощал приятелей.

— Жизнь наша зэкова …

— Нас дерут, а нам некого!

— Говорят, скоро хлеба будет навалом.

— Ветвистая пшеница уродит?

— Сказки врагов счастливого народа.

— Ветвистые прут рога у зэка!

— Если уж в этом стане чего-то нет, то нет глухо и навсегда!

Хлыщ порывался петь, но его хватало лишь на один куплет:

Я тебя как куклу разодену,
Лаковые корочки куплю,
Золотой кинжал на грудь повешу, гопцы!
И с тобой на славу заживу!

— Пора ушивать.

— Ксивы нужны.

— С паспортом на работу возьмут, — неожиданно брякнул Захаров.

Парни изумлено заржали:

— Чей там голос из помойки раздается?!
— Работяг нашел! Придурок лагерный!
— Мы воры в законе, жмурик!
— Уродоваться ты будешь, дефективный!
— Руку отрублю, вкалывать не заставят!
— Где бы ни работать, лишь бы не работать!

Долго не спадал чумной настрой. Парни хлебали самогон безудержно, а надрызгавшись до невменяемости, несли что-то несуразное, невразумительное, невпопад. Хлыщ уже не пел, а хрипло плакался приятелям:

— Мать ишачила, и что? Повымели все, до зернышка. Мать слезами изошла. Поняла — безнадега, ну меня гнать: «Иди через кордон, дите не тронут!» Мне и семи не было, а прошел и выжил. Всю деревню смерть прибрала. Голодуха …

Мы сотворили себе кумиров. Могло ли быть иначе? Пайки не отбирали, не били и вообще не баловали вниманием. Мы не сводили с блатных тузов преданных глаз: по всем установленным в группе канонам шикарная житуха и представлялась примерно такой.

Непрерывная пьянка мешала им широко развернуться, обстряпать прибыльное фартовое дельце и умотать, но чем больше они обалдевали от сивухи, тем большее восхищение вызывали. Бремени раболепства не чувствовалось: потребность поклонения впитывается в кровь вместе с угнетением и страхом.

Теперь мы знали все о блатной жизни, видели воочию, как роскошно, припеваючи прожигают ее рисковые хлопцы. Но как только они исчезали из поля зрения, мечталось об одном: о путевках в детдом.

Это была всем ночам ночь. Отяжелевшие от выпитого, с огромной баклагой бултыхающейся браги парни ввалились в спальню раньше обычного. Громко, как на спевке, трубили, словно глушили себя песней:

Занюханный сто первый километр,
Меж двух отсидок передых чумной.
Вся водка выжрана, все песни перепеты,
Все шлюхи опаскудели давно.

Потом ругались обиженно:
— В собственный ДПР не пущают! Окно забили.
— Карга безносая развонялась.
— Это тетя Дуня, — услужливо пояснил Горбатый.
— Была б помоложе, замухрыга …

Снова хлестали самогон, разевая мокрые, щелястые пасти, набирались до почернения и одурения. Снова горячились: брать сейф или не брать? Проклинали город, поносили приемник и весь белый свет.

Сизым маревом полыхался дым, заволакивая дальние углы. Поникший Хлыщ сорванным голосом цедил огрызки песен.

На морском песочке я Марусю встретил …

Черный стоял крепко, как конь, тянул свирепым, гортанным клекотом:

Выходил Иванес на конюшню глядеть,
А в конюшне ишак
Жирным жопом вертеть.
Не стерпел Иванес
На ишака вскочил
И свой длинный херак
В жирным жопам вонзил.

— Банку ставлю за бабу! — возвопил Хлыщ. — Пейте мою кровь, сосите мои яйца!

— Невтерпеж!

Настал момент, Горбатый давно подстерегал его, жаждал не просто услужить — осчастливить.

— У Николы Маруха есть! За стеной, у девок. В натуре, гадом буду! — бросил он лакомую кость.

Безошибочное, словно вымеренное чутье подстегивало Горбатого, а болезненное искушение втереться в доверие к сильным, любой ценой обрести безопасность граничило с безумием.

Парни встрепенулись.

— Веди, покажь!

Горбатнй резво драпанул на женскую половину, новенькие за ним. Сразу же вернулись, озабоченно шушукаясь:

— Перебудим малолеток, поднимут шухер!

— Сюда ее!

— Шмаровоз лохматый! — сверкнул пьяными зенками Черный. — Шкандыбай за ней!

— Канай на фиг! — артачился опальный вожак.

— Кому сказано? — приструнил его укротитель.

Так и не столковавшись, парни скинули с койки упирающегося Николу и пинками погнали по проходу.

Скособоченная, в слезах, мохнатая морда Николы проплыла надо мной. Он путался в широких кальсонах, слегка сопротивлялся, но резкий толчок вышвырнул его за дверь.

Новенькие высыпали в прихожую.

— Пластанем тут! — зашептал Хлыщ.

— Встоячку?

— Не, парашу выброс!

Параша тяжело взбулькнула и заплескалась у нашей койки. В нос шибануло острым, теплым зловонием.

Потушили свет. Я затаил дыхание и зажмурился. Затеваемое бесчинство вздымало волну отвращения более страшную, чем ожидание побоев.

— Ой, пустите! — совсем рядом вскрикнула перепуганная Маруха.

— Не шипи! От хрена не умрешь, а только потолстеешь!

— Нет, нет! — причитала Маруха придушенным шепотом и дрыгалась, не даваясь.

— Никто не узнает!

— Прикури свой бычок под хвостом у кота!

— Не брыкайся! Удавлю!

— Кричать бу… — поперхнулась на полуслове противившаяся Маруха: ей зажали рот.

Груда тел грузно плюхнулась на пол. Звуки борьбы, приглушенные вскрики: резкие, угрожающие — мужские и сдавленные, молящие — женские, перепутались в прихожей.

Дикая оторопь пронзила меня, как будто рядом кромсали ножами живую плоть.

— Отдайся, озолочу!

— Кобели, шакалы!

— Отпустись!

Прерывистое пыхтение и стоны бились в двух шагах от моего носа.

— Не зуди, стервь! Большого члена нечего бояться, она имеет свойство расширяться!

— Кончайте!

— Титьки в стороны, замуж не возьму!

— Довольно … Зверюги! Хуже немцев!

Никто ни единым звуком не нарушил жуткой тишины спальни. Лишь тяжелая, томительная возня да незатихающие бабьи всхлипы в предбаннике.

Было не до сна. Едва ли не обморочная жуть душила меня. Глаза намертво зажмурились, дергались колени, дрожало нутро. Я скрючился до боли в груди, не в силах совладать с потрясением и не понимая, почему так страшно и гнетуще.

Тырканье в прихожей длилось бесконечно.

Передышка на день, повторение разнузданной оргии, и та же жуткая, как перед казнью, полуобморочная муть. Парни орудовали уверенно и хладнокровно. Запуганная Маруха смирилась с многотрудной участью и покладисто, без скандала приволоклась в прихожую. Только Черный откололся от приятелей и, незаметно снюхавшись с Педей, залег в его постель.

Спальню захлестнул бардачный разгул. Куролесили почти до утра. Было страшно взглянуть на невообразимый бедлам у печки: полуголые тела среди сдвинутого каре пустых кроватей, раскиданные по полу матрасы, одеяла и подушки, разливанное море на тумбочках со стаканами мутной жижи, вскрытыми консервными банками, раскрошенным хлебом, раздавленными солеными огурцами.

Хлыщ дребезжал надрывным баском, дирижировал, словно шаманил, осеняя спальню взмахами длинных согнутых рук. Сомлевшие, едва ворочавшие языками, сипло подпевали остальные забулдыги.

Нервно звенел и временами ломался чистый голосок пьяненького Педи. Запомнилось несколько разрозненных отрывков и связные, неслыханные ранее куплеты на затасканный, забубенный мотив:

Тебе мерещится,
Что водка плещется,
И растревоженно звенит струна.

Тебе мерещится,
Что юбка хлещется,
Полощет парусом, как по волнам.

Тебе мерещится,
Что не открестишься,
Не отрыдаешься, не отдерешь.

Еще мерещится
Гаданье вещее
Жидовки лагерной, что ты дойдешь!

Тебе мерещится,
Что финки скрещатся.
И стынет в жилах кровь, — тебе хана!

Рассвет заблещется,

И вновь мерещится
Любовь угарная и ночь без сна.

Через день-другой я смекнул, что наше безгласное скопище остается вне внимания парней. Они не замечали нас ни спящих, ни бодрствующих, как не замечали стены и потолки, койки и парашу. Их пьяный загул ничем нам не угрожал. Накатило тупое безразличие. Я перестал со страхом воспринимать происходящее. Едва голова касалась подушки, здоровое расслабление охватывало сознание, и я засыпал глубоко и быстро, как ребенок.

Подробности дальнейших ночных возлияний в основном прошли мимо. Осталось несколько отчетливых сцен пробуждения, выпукло живописных в центре и затененных на периферии.

Саднило горло, я очнулся, захлебываясь слюной. Головокружительный чад горелого мяса перешибал вонь параши и сивухи. У печки Горбатый скубал перья и пух с белого гуся.

Черный лежал на постели обнаженным задом вверх. Россыпь темных крапинок испещрила его мертвенно белые ляжки. Согбенный Педя старательно тискал эти крапинки, выдавливая и выколупывая крупные градины дробинок. Черный блаженно, как кот, жмурился, поблескивая фарфоровыми белками.

С горящими в азарте глазами, сжимая в руках колоду, метал карты полуголый Хлыщ, стоя коленями на разметанных в беспорядке по постели картах и деньгах. Поперек кровати лежала девчушка лет двенадцати из малышовой группы. По ее обнаженному животу и шлепали картами игроки.

Горбатый и Педя зря времени не теряют, — подумалось мне. Расплевались с Николой, переметнулись к новым хозяевам.

Сквозь тень забвения просвечивается еще один момент пробуждения. Меня вырвал из сна то ли взрев пьяного воя, то ли бивший в нос блевотный смрад. Надо мной, глаза в глаза, покачивалось пропитое хайло мертвецки пьяного Черного. Сломавшись пополам, он водил указательным пальцем перед моим носом и рычал:

— Чернь! Все — чернь!

Бессознательная пелена подернула его остекленелый взгляд, он не соображал, что говорит и кому.

За спиной Черного кто-то нудил пьяным фальцетом:

Все для тебя, дорогая,
Все для тебя я куплю,
Только не штанцы, родная,
Сам без порток я хожу.

Черный сдвинулся в сторону, и мне открылось бардачное пиршество, в центре которого распатланной замарашкой восседала пьяненькая Маруха. Растерзанная улыбка бороздила ее луноподобный лик. Она кренилась на бок и хрипела:

Эх, шарабан мой, американка,
А я девчонка да шарлатанка!

Хлыщ дергал ее за рукав, уговаривал:
— Брось, лахудра, шарабан. Давай эту:

Вдруг на повороте,
Гоп-стоп, не вертухайся!
Вышли два удалых молодца.
Купцов зашухарили,
Червончики забрили
И с ними распрощались навсегда!

Маруха не сдавалась и выла про шарабан.

Хлыщ облапил ее, навалился. Маруха отстранялась, мекала: «Американка …»

Потом сомлела:

— Приспичило! Свет!

В полутьме блеснули лунные колени Марухи. Я сразу же уснул, довольный своим удивительным спокойствием.

18
Круги

Счастье лопнуло нежданно и просто: шайку накрыли при ограблении водочного ларька. Нагрянула милиция, перевернула спальню вверх дном, но ничего криминального не нашла.

О парнях мы больше никогда не слышали, а сведение счетов оставило памятную зарубку. Воспрянувший Никола зверски топтал Горбатого весь вечер, не обращая внимания на мерзкие, пронзительные вопли, покаянные мольбы и рыдания. Подустав, Никола отдыхал, распластавшись на койке, матерясь и взвинчивая себя.

— В землю вобью! Дерьмо жрать заставлю, хмырь болотный! — грозил он и снова принимался метелить и взрыкивать: — Изувечу! Второй горб вырастет!

Несколько дней Горбатый стонал, кряхтел и жаловался на боли в спине, но понемногу оклемался и захлопотал с прежним проворством. Но жестокость расправы преобразила его. На Николу он взглядывал с откровенным ужасом, от его окрика впадал в транс и трепетал всем нутром, кончиками пальцев, морщинами сизой физиономии. По едва заметному кивку бездумно и озлобленно бросался исполнять прихоти вожака. Этот ужас не исчез до конца и после полного замирения заклятых дружков, когда главари и шестерки сплотились воедино, как встарь. По доброй воле существовать друг без друга они уже не могли. Пирамида воссияла в былой зловещей завершенности. Кусочек хлеба доставался мне не чаще одного раза в день.

Томительные часы голодной маяты лепились один к одному.

Воспоминания о вторжении матерого ворья и их бесшабашном загуле не поощрялись Николой и поэтому не были популярны. Однако не сразу различимые круги всколыхнули темную гладь нашего застойного омута.

Хотя Николе и его окружению досталась неприглядная роль во времена вторжения, с восстановлением статуса кво их блатные амбиции резко взмыли вверх. В этом прослеживалась некоторая закономерность, проистекающая из приобретенного опыта и стремления превзойти кумиров.

Поражало другое. Присмиревший Педя стал проявлять подозрительную активность. Заигрывая и балуясь, он лип к постели какого-нибудь пацана постарше. Поначалу мальчишка не давался, отбрыкивался. Педя не настаивал, приставал к другому. Однако домогательства возобновлялись, давя природный стыд,

разжигая любопытство и будя чувственность.

Вскоре тот, кто недавно сопротивлялся, сам заманивал Педю и, заполучив, затихал удовлетворенно. Усердствующий Педя порхал из кровати в кровать, расширял круг клиентов: больше участников, меньше хулителей и судей! Самого себя срамить и позорить не станешь. Все должны быть повязаны не только круговой порукой, но и приобщением к интимным и тайным усладам. Интимным и тайным поначалу. Со временем просвещенные педины ученики особенно не стыдились и не таились, а блудливый учитель стал нарасхват. Обслужить всех он уже не успевал. Неохваченные колупались всухую под одеялами и подводили вслух хвастливые итоги.

Лишь дрожащие от холода и голода малолетки до конца отстаивали свое естество и отбивались от похотливого Педи, как могли. Над нами гадливо потешались.

Педю ничто не смущало и не сдерживало. Однажды в группе его с оголенным стоячим членом выволокла из-за стола ошеломленная воспиталка. Пацаны постарше едва не валялись от хохота. Горбатый аж пропищал:

Жил был в приемнике Педя-холуй,
За три копейки дрочил он свой буй.

Взрослые деликатно замолчали случившееся. Педе все до фени, лишь невинно помаргивал.

Сексуальная осведомленность переполняла нас. В спальне набившие оскомину дежурные еврейские анекдоты перемежались сверх похабными откровениями. Пикантные байки о педерастах, сифилитиках, скотоложестве перепевались в буквальном и переносном смысле. Песен, шуток, прибауток, подначек, поговорок сексуально хулиганского пошиба с непотребной матерной бранью знавали мы великое множество. Не вдумываясь в смысл, орали на все лады:

… Мы подол ее задрали,
Быстро очередь создали …

Помнятся и более грязные образчики песнетворчества, почти целиком состоящие из мата. Нудили нескладно переделанные песни военных лет с нескончаемо повторяющимися похабными припевами или корявыми строками рефренов, вроде:

До утра кровать скрипела, все равно — война!

И раньше, до вторжения взрослых воров, сексуальной болтовни было предостаточно. Теперь она до некоторой степени материализовалась и естественно и незаметно слилась с всеобщим беззаветным поклонением блатной вере. Эта вера отвергала труд, превозносила касту воров в законе, фартовые дела, круговую поруку, погони за мусорами, побеги из тюрем. Ее праведные заповеди подавляли сознание, без них нельзя было сделать и шагу, вымолвить и слова. Эта вера требовала безграничной, до самопожертвования, преданности партии блатных и жестокой расправы с предателями. Все люди делились на блатных — волков и прочих — чертей.

Как навечно обращенный в блатную веру я искренне сокрушался о своей слабости. Вырасту, стану сильным, смогу грабить и добывать побольше других, — утешал я себя.

Но исступленное ожидание отъезда свидетельствовало: последняя надежда жива, прошлое не умерло, и нет большего счастья на свете, чем покинуть этот темный мирок забытых богом людей. Ожидание не позволяло окончательно опуститься, светило в непроглядном одиночестве. Чуть-чуть доброты и света, и блатные шоры облетели бы с нас, как красные листья в осенние холода.

Зачем так страдать? — успокаивал я себя. Пройдут годы, выйдет мама, и кончится этот голодный кошмар. У большинства нет ни родителей, ни родственников. Путевка в детдом — это далекая звездочка. Какой мир она озаряет, никому не известно.

Смесь клятой кабальной задавленности и оглупляющего самообмана подобострастного преклонения перед силой, жестокости и умиленности жалостливыми песнями, страха и надежды отливалась в вязкий сплав наших затравленных душ. Из такого сплава и слеплена наша непрошибаемая слепая раздвоенность, — устойчивое двуличие психики.

Не этим бы песням впитываться в наши души, не этими бы познаниями полниться нам! Детская память цепка и естественна. Она выхватывает события, коснувшиеся ее непосредственно. Периферия во мраке, ее не разглядеть. Много чувств, крохи понимания; зажженный ими огонек исповеди, пожирая остатки сил, светит, согревая и очаровывая.

19
Царь

Поборы давно набрали прежнюю силу, а Царь, словно не зная об этом, не вынес ни одной пайки. Часами сидел нахохлившись, с отсутствующим выражением лица. Замкнулся, за день и двух слов не выдавит.

Царя не засосали ссоры и драки, и с ним главари всегда обращались сдержанно. В опасный момент он умел отмолчаться, уклониться от общения, не дать повода для нападения. Даже оправдательной зацепки для наскоков на него не находилось: не стукач, не нытик, не инородец. Доставалось, — не крысился, не отбивался. Моргал рыжими ресницами, давился слезами и безответно никнул над книгой.

Я постоянно чувствовал притягательность внутренней царевой силы. У вожаков эта необычность вызывала раздражение.

— Чистоплюй, мудрена вошь! — пренебрежительно бурчал Никола.

Первое время в нерадивости Царя ничего крамольного не проглядывало: усердные клиенты поперевелись. Николе же, видимо, лень было вмешиваться.

— Должок зажимаешь, лопух красноперый?! — гоношился Горбатый, раздраженный упрямством мальчишки.

Царь угрюмо немел и замирал, сжавшись в комок. Так продолжалось несколько дней, пока непослушание стало очевидным. Напряженность взбухала. Спустили шестерок, и закрутилась потеха. И в группе, и в спальне они, как стервятники, клевали Царя, тыкали растопыренными пальцами в глаза, цепляли без предлога, срывая голодную злость.

— Дятел малохольный, гони пайку!

— Чего рыло воротишь? На облом нарываешься? Сшибем спесь, гадом буду!

— Со свету сживем, плесень!

— С Жидом валандается. И в самом рыжина жидовская, глянь!

— Бей жидов! — Горбатый взмахивал зажатым меж средним и указательным пальцами лезвием бритвы, как бы примериваясь. — Попишу, зенки вытекут!

Царь взглядывал исподлобья, удрученно тупился и клонил торчащие уши. Не протестовал, не пытался парировать оскорбления, сидел смирно и онемело.

Ватага шестерок переступила ту грань подсознательного

уважения к необычному мальчишке, которую до сих пор все безотчетно признавали.

В травлю включился Никола. Оторопь брала, когда он заламывал мальчишке руки, гнул его и свирепо крушил коронным ударом колена в лицо.

Искривленный страданием, в крови и слезах, Царь тихо всхлипывал:

— Зачем бьешься?

Плач давно уже никого не трогал, но от его «бьешься» жалость раздирала сердце.

Если отчаянный вызов Лаптя блеснул мимолетной, несбывшейся надеждой, то безгласное непротивление хрупкого и ранимого Царя дышало заведомой обреченностью. Шансов выстоять не было. Сердце рвалось от страха и нехороших предчувствий. Никто не дерзнул вступиться за мальчишку. Даже на открытое дружелюбие нас не хватило. Сами мечтали о защите. Обстановка заметно накалялась.

Блатная кодла ополчилась против тихой царевой крамолы: его плющила куча мала, Горбатый лягал в лицо. Полупридушенный, ошалевший от боли и страха, Царь вырывался и долго плакал, скорчившись живым, несчастным комочком. В споры не ввязывался, не давая раскрутить словесную перепалку, довести ее до новых побоев.

Его упорное молчание приводило в недоумение главарей, и на время Царя оставляли в покое. Поникнув над книгой, он цепенел.

Я видел, что страниц он не переворачивает, а вобрав в себя отрешенный взор, думает о своем, печальном и давнем. Очнувшись, он обводил группу осторожным взглядом или, пригорюнившись, рассеянно высматривал что-то в снежной дали за окном. Меня неодолимо влекло к затравленному мальчишке. Я заглядывал ему в лицо, пытаясь вызвать на разговор, но отклика не встречал и чем подбодрить его не знал. Я подавлял в себе постоянное желание обращаться к Царю, но выдерживал не всегда:

— Сыграем в фантики?

Царь отрицательно мотал головой, не проронив ни слова.

Порой складывалось впечатление, что от него отступились, что главари смирились с потерей этого странного клиента. Но, сдирая послеобеденную мзду, Горбатый нет-нет да зыркал недобрым оком в наш угол, перешептывался с Николой. Присаживался рядом с Царем и, пытаясь уладить конфликт по-мирному, увещевал:

— Не можешь каждый день, будешь выносить пайку раз в три

дня, идет?

Такому одолжению позавидовал бы любой, но Царь не прельстился. Уперся, помалкивал и продолжал съедать свой хлеб. При всей слабости Царя в его упорстве была непостижимая твердость, протест несравнимо более мощный, чем психическая атака Лаптя. Сломить его можно было лишь чем-то необычным, сверхжестоким.

Развязка близилась, и решающий день не заставил себя долго ждать.

— Предупреждаю в последний раз! Кончай ерепениться! Не вынесешь сегодня, пеняй на себя! — сказал, как плюнул, Никола.

За ужином отработанным движением сунул я пайку за пазуху и глянул на Царя. Насупившись и уткнув нос в мисочку, он поковыривал подсохшую лепешку прогорклой, остывшей каши. Хлеб лежал под рукой. Вдруг он замер, надумав что-то решительное. Лицо его исказилось подступившими слезами, он взял кусок, переломил пополам и принялся мелко крошить его поверх несъеденной каши. Тонкие пальцы, теребившие хлеб, дрожали.

Тревожную тишину расколол резкий вскрик воспиталки:

— Поели?

Вставая, Царь плеснул кружку чая поверх раскрошенной пайки.

— Ну, Царь! Достукался! Пришел твой черед! — грозно изрек Горбатый.

Рык матерных угроз гремел в группе камнепадом, обещанием невообразимых расправ, бед, возмездий и смертей. Задумываться над реальным смыслом угроз не приходилось до памятной расправы над Царем.

Дымилась смрадным чадком параша. Рыжая лампочка цедила мутное немощное свечение. Всплыло почти забытое: уложив нас, мама строго приказывала:

— Повернитесь на правый бочок! Ручки под щечки! Спать!

Я нырнул в стылое чрево родной постели. Долго ворочался, прилаживаясь: подтянул колени к животу, подоткнул края подсохшей за день простыни и одеяла. Одеяло и простыни защищали бока от ледяного объятия задубевшего, мокрого матраса. Постепенно они пропитывались его сыростью, но в тоже время подпревали, нагреваясь от моего тела. Закрутившись плотно, с головой, можно было уберечься от измывательств, если нечаянно засну до срока: начнут стягивать одеяло, обязательно разбудят. Маленькую отдушину для носа и глаза приходилось, конечно, оставлять.

Ужался до возможных пределов и уютно залег, потягивая

кисловатый, давно привычный запах дохлятины. Первоначальные неприятные ощущения слабели. Вроде бы и пованивало сносно, и холодило терпимо.

Царь точно также завязался в свой конец одеяла. Мы спали валетом.

Медленно отходили минуты. Было необычно тихо, ни хохотка, ни говорочка. От шороха, скрипа пружин или покашливания замирало сердце. Ожидание ширилось, росло, заполняло мозг. Ни одной сторонней мысли, ни одного отвлекающего позыва. Только муторный страх и ожидание: сейчас, сию минуту грянет взрыв и разорвет на клочки Царя.

Внезапно погас свет, и сердце упало.

Меня сдернули на пол вместе с одеялом. Серые потемки наполнились дикой возней. Сгрудившиеся над нашей кроватью вертлявые тела наводили ужас как одержимая жестокостью нечисть из преисподней. Они давили друг друга и, словно свихнувшись скопом, орали в упоении:

— Облом гаду!

Глухие удары, брань и приглушенные жалобные вскрики:

— Не бейтесь, не надо!

Крики переросли в сплошной, незатихающий визг:

— И, и, и …

Я безмолвно торчал в проходе, пристыв босыми ногами к студеному полу. Холодная испарина выступила на лбу, липкие от пота руки дрожали как в лихорадке.

Хватит, хватит же! — молил я про себя. — Разве можно так бить?! Он маленький, вы убьете его. Потом самим не поздоровится!

Шабаш нечисти обретал зримые формы. Черти метались вокруг койки, а на белом прямоугольнике простыни дергался живой, трепетный комочек царева тела. Царь вдавливался в постель, защищая руками голову и увертываясь.

— Навыедренивался?! — рычал Никола. — Ублюдок, отдашь долг?

В ответ — жалобный плач.

— Дрын ему в зад! — возопил со своей койки Педя.

Психоз перерастал в ожесточенное безумие. Царя швырнули на живот. Четверо держали его за руки и за ноги. Горбатый вскочил на постель, возвышаясь над распростертым мальчишкой и копошащимися исчадиями ада самим дьяволом. Палкой от швабры он тыкал Царя. Ускользающий мальчишка бился в корчах, глухо орал в подушку. Никола даванул его коленом, а Горбатый изловчился и подналег всем телом на конец со щеткой.

Звериный, леденящий кровь вопль резанул по ушам. Вопль

потряс меня, как не потрясало ничто на свете. Кольцо шестерок распалось, а на постели сшибленной камнем птицей конвульсивно выгибался и странно сучил ногами одинокий мальчик.

Долго не смолкали стоны и плач, и только когда Царь мало-помалу притих и лишь сдавленно всхлипывал, стал понемногу успокаиваться и я. Холод гнал в постель, в привычную теплую вонь. Я присел на койку и шепнул:

— Больно?

— Уйди, ты! — огрызнулся Царь.

С другого конца спальни донеслось:

— Заткнись, Жид, пока цел! А то заодно схлопочешь!

— Примочку на пуп!

— Серпом по яйцам!

Чувства жалости и виновности смешались во мне, а глубоко, потаенно трепыхалась стыдливая шкурная мыслишка: слава Богу, измывались не надо мной, слава Богу, меня не тронули! И от этого на душе было гнусно.

Я не осмелился потревожить Царя и решил переночевать у брата. Там, кое-как втиснувшись к троим теплым, крепко спавшим малышам, провел ночь.

Утром Царь с трудом поднялся с постели, и медсестра повела его в изолятор. Горбатый лебезил рядом, поддерживал больного и давал пояснения:

— Гробанулся с лестницы спросонок. Там темно и склизко.

Черные пятнышки запекшейся крови на желтоватых, слоистых потеках простыни приводили меня в трепет не один вечер, напоминая и предупреждая: и тебя не минет царева участь, а то что-нибудь и более жестокое.

Никола и Горбатый притихли, нервозно гадая: выдаст или вытерпит Царь? Приказали: пайки с завтрака, обеда и ужина тащить, кровь из носу! Готовились бежать.

Истлел день, за ним другой. Ничто не предвещало грозы. Царь не раскололся.

Горбатый сунулся было в изолятор, но медсестра турнула его. За то Маруха сообщила: температурит немного, отказывается от еды, читает. Беспокойство поулеглось.

Очередной раз заглянув к малышам, я обнаружил у них в группе медсестру. К Царю! — кольнула мысль.

Влажный ветер стеганул по лицу, вышиб слезу. Темные круги поплыли перед глазами, застлали рыхлый снег. Пошатываясь, я жадно хлебал пронзительную, сыроватую свежесть февральской оттепели. Снег осел, был мягок и скрипуч под ногой. Его ноздреватые, подтаявшие комья пятнами белели на темных

стволах и ветвях деревьев.

Пытаясь бежать, устремился к изолятору. Проскочил приемную и оказался в небольшой низкой комнатенке. Первое, что бросилось в глаза, был хлеб, лежавший на тумбочке рядом со стопкой книг. Три пайки — немыслимое богатство!

Четыре тесно сдвинутые койки занимали почти все пространство. На одной спал Царь, остальные были аккуратно застланы. В комнате было свежо, стекла окна обросли по краям мокрой корочкой льда.

Царь очнулся и удивленно вскинул глаза. Взгляд его словно пробивался из глубин иного мира, бесконечно далекого, недоступного мне и таким, как я. Царь приподнялся на локте, и стало заметно, как сильно он изменился. Костлявый лоб оклеивала сероватая кожица с двумя продольными стариковскими морщинами. Подбородок и скулы заострились, синеватые губы с чуть опущенными уголками изогнулись гримасой. Голова на тоненькой, как стебелек подсолнуха, шейке выглядела непомерно большой, приставленной от чужого тела, виски запали.

Я подавленно молчал, захлестнутый острой жалостью, едва справляясь с подступившими слезами: одно слово, и они хлынули бы неудержимо.

Ощущение причастности к глумлению над Царем не покидало меня эти дни, вызывая раскаяние и горечь. В голове крутились приниженные слова о моей невиновности, о том, что меня бьют и обижают не меньше, и никто не заступается. Вместо сочувствия и утешения я забормотал оправдательно:

— Горбатый стращает, что попишет меня или наколет …

Мой растерянный вид привлек, наконец, внимание Царя, вызвал сочувственный отклик. Лицо его напряглось, губы жалко надломились. Он кивнул на пайки и выдавил с натугой:

— Возьми, ешь… Не бойся, бери, а то медсестра утаранит, чтоб крыс не разводить.

Я щепетильно помялся, но голод пересилил смутные переживания, и пайка оказалась в моих руках. Сперва осторожно, потом смелее и смелее отхватывал зубами холодные, горькие куски и, почти не пережевывая, заглатывал их. Попытался сказать что-то душевное, благодарное, но лишь давился плачем и хлебом.

Разговор завязался сам собой.

— Больно?

— Нет, сейчас уж нет.

— Так вставай!

— Не хочется… Запеклось там все. Наверно не выздороветь мне.

В его словах слышалось глубоко скрытое страдание, и не только физическое, весь его облик был воплощением разрывающего сердце укора. Некоторое время я не мог вымолвить и слова. Царь доверительно продолжал:

— Сны вижу. Полки книжные пустые у нас дома. Как дыры. И в комнатах, и в коридоре. И ничего больше!

Сокровенная тоска по дому, созвучная моему повседневному настроению, таилась в его снах и грустном тоне.

Первоначальная натянутость исчезала.

— Твои родители где?

— Не знаю…

— Найдутся!

Лицо Царя посветлело, озарилось трогательной полуулыбкой.

— А я не вынес им пайку, правда?

— Ага. Таких, как ты, болъше нет.

Царь медленно, с усилием продолжал:

— Позарились на чужой хлеб … Хапают, крохоборы, и все неймется, все мало.

— Нужно письмо написать, пожаловаться.

— Не поможет. Папа писал … — костлявыми, прозрачными пальцами Царь теребил тесемки наволочки. — Умрете без хлеба. Я потому и решил не выносить.

Я смотрел на Царя с доверием и обожанием, но не мог преодолеть обычную внутреннюю заторможенность и отыскать такие же чистосердечные слова.

— Нас обирают, а мы все скрываем. Они жрут наш хлеб, мы их кормим. Нам скрывать нечего! Пусть сами хранят свои тайны.

Простота его слов озадачила меня. И правда, это не наши тайны. Ничего преступного мы не совершили. Кто давит слабых, ворует, тот пусть и таится. И Николе я ничем не обязан, если и поддакивал, то вынужден был, со страху.

Царь приоткрыл душу, его искренность вызывала почти благоговение, обаяние откровения и честности пленяло. Просвещенный и растроганный, я по-прежнему норовил словами искупить свою неведомую вину, но только немо таращил глаза. Было понятно, что Царь самый замечательный мальчишка, что с ним можно говорить обо всем правдиво и по справедливости.

И вообще здесь, в изоляторе, покойно и безопасно.

— Хорошо у тебя! Нет Горбатого, шестерок. Мне бы сюда на недельку.

— Книг новых нет. Про Робинзона Крузо читал?

— Не. Летом я фильм видел, Бэмби. Про оленя. Там ни одного человека, только звери. Здорово интересно.

— У нас не крутили.

— Достать бы перочинный ножичек! Можно солдатиков выстругать. Или шашки.

— В школу бы. Со мной учились детдомовцы, и ничего.

— Николу пусти в класс, живо всем рога посшибает.

— Не все ли им равно, сидеть нам в группе или заниматься в классе?

— Кому не все равно?

— Ну, не знаю.

Царь вцепился хрупкой ручонкой в прут койки и с трудом повернулся на бок.

— Всем на нас наплевать! Дойдем с голодухи, никто и не вспомнит!

— Запхали в эту дыру, как арестантов.

— Мы и есть арестанты, только маленькие.

— Те хоть знают свой срок.

Резко хлопнула дверь в приемной. Последний раз я взглянул на Царя. Он лежал на боку оживленный, головастый; мягкое сияние его широко открытых глаз вызывало доверчивое искушение говорить и говорить без конца, откровенно излить ему все, что наболело на душе.

— Прости, — вырвалось у меня и, не дожидаясь понуканий, я деранул мимо опешившей от неожиданности медсестры.

В группе тревожные раздумья охватили меня. Слово за словом вспоминался наш разговор, занозивший душу искренностью. Все во мне вздыбилось прозреванием. Я признался самому себе в том, в чем раньше боялся: оказывается можно и не верить блатным канонам. Старые, понятные суждения о добре и зле не утратили своего смысла. Сознание проснулось: плохое снова стало плохим, чуждое — чуждым. Блеснувшая искорка ясно высветила истинную ценность блатного мирка, а несколько минут общения в изоляторе сблизили нас больше, чем месяцы совместной маяты в группе и спальне.

На другой день Царя увезли в Ленинград в больницу. Медсестра вскоре уволилась, а взрослые и воспитанники быстро забыли о темной истории его болезни. Только я еще долго горевал о нем.

Отторжение Царя не прошло бесследно: я как будто слегка повредился умом. Прежде наплывавший временами страх стал теперь почти непрерывным, укоренившись легко возбудимым комочком плоти по соседству с сердцем. Стоило кому-то из вожаков задержать на мне взгляд, неожиданно окликнуть или задеть, как эта плоть начинала бешено трепетать и, казалось, вот-вот сорвется. Этот трепет, передаваясь по всему телу до кончиков пальцев, превратился в привычное пугливое состояние. Возможно

во всем виновато было недосыпание. Днем меня постоянно потряхивал озноб, особенно заметный в столовой: то ложка непроизвольно цокнет по зубам, то, приподняв руку, замечу стариковское подрагивание пальцев.

20
Забытье

Разобщенное скопище разновозрастных детей, где правит кулак. Шум, окрики, лай, тычок, плач. Неподвижность бессрочной отсидки. Но статичность противоестественна живому. Не мышцы, так сознание действует. Одиночество и скованность подстегивают его. Выхода из голодного тупика не доискаться. А память услужлива. Чуть колыхнул, дал волю, — пустилась перепахивать пережитое, не остановить.

Проступают живые лица, стены и вещи, знакомые узоры обоев; наплывают казавшиеся навсегда утраченными цвета и запахи. Роятся отзвуки слышанных фраз, обрывки мелькнувших мыслей, вроде бы давно стертых, поглощенных забвением. Из подсознания просачиваются все более мелкие подробности. Как капли дождя собираются в ручейки, так отрывочные пятна воспоминаний сливаются в целостные картины. Тонкие нити ассоциаций вытягивают их в связную последовательность, прокручивают перед мысленным взором. Прошлое встает зримо и четко, как вчерашний день. Начинается его новая жизнь, как жизнь отснятого фильма. И съедается время, отмирают дни пустого созерцания и страха.

Все самое важное понемногу утекает из внешней сферы, сферы общения, внутрь, в меня. И можно попытаться пережить отрадное прошлое заново, заслониться им от настоящего. Прошлого не отнять, как пайку хлеба.

Отблеск огня полыхнул в окне. Взрыв разодрал тишину, ударил по ушам. Стены скакнули и прерывисто задергались, смиряя жуткую свистопляску. Фугаска! Конец! Остановилось дыхание, замерли мысли … Дрожание гасло, а мы вбирали в себя малейшие шорохи, со страхом ожидая, рухнет дом или нет? С шуршанием и звоном с верхних этажей сыпались полопавшиеся стекла. Вперебой галдели зенитки, но новых разрывов слышно не было. Пальба зениток отдалялась, и вскоре сирены провопили отбой. Пронесло. Жизнь продолжалась.

Наша крохотная, выгороженная из кухни и смахивающая скорее на чулан комнатенка вновь ожила.

— Отбомбили, — тихо сказала мама. — В дом напротив попали. Занялся, горит!

Мама сидела у нас на кровати и кормила грудью брата. Я ощущал тепло маминого бока и вжимался в него. К другому боку

льнула сестра. Поделили мы и мамины косы. Всю бомбежку я комкал и теребил мягкий завиток хвостика доставшейся мне косы.

— Об одном молю: накроет, так всех сразу и насмерть!

Неспокойно елозил и жадно причмокивал губами братишка. Мы скучились настолько тесно, что как бы составляли одно живое существо. В бомбоубежище мы не спускались. Маме было не совладать с тремя неподвижными детьми, а ходить мы разучились. Ноги, истонченные, обтянутые синей кожицей кости, не держали тела. Мы лежали, покрытые одеялом и всем тряпьем, что нашлось в комнате. Под такой тяжестью шевелиться трудно, но нос все-таки слегка зяб, и я отогревал его в кулачке. И с мерзнущим носом, и с давящим грузом тряпья я давно свыкся.

Сирый свет зимнего дня дымился за неровной сеткой наклеенных на стекла бумажных полосок. За ними мельтешили редкие снежинки.

Мама отстранила брата и приподняла на ладони маленькую, иссохшую грудь.

— Он кровь сосет, — сказала она громко. — Молоко исчезло.

Мама теперь часто разговаривала вслух неизвестно с кем. Поначалу я недоумевал, но постепенно пришел к мысли, что обращается она ко мне, — я же старший.

Мама продолжала задумчиво:

— Пожалуй, буфет мы тоже спалим. Выживем — разочтемся. А с мертвых и взятки гладки.

Простой смысл ее слов был понятен. Свою немудрящую мебель мы давно сожгли, а старинный, массивный буфет красного дерева с множеством шкафчиков, полочек, с резными дверцами и узорчатым верхом громоздился за стеной в пустующей комнате маминого брата. Дядя воевал, а его жена с детьми спасалась в эвакуации.

Мама порывисто поднялась и уложила брата рядом со мной, у стены. Спустя пару минут она притащила один из ящиков буфета и принялась чинить над ним безжалостную расправу, раздирая, разламывая его на куски топором, руками, ногами.

— Околеваем, буфеты бережем!

Я обеспокоенно следил за ее безудержными, резкими движениями и понимал, что ее взбудоражила злосчастная фугаска, едва не угодившая в наш дом. Мама согнулась в три погибели и набила щепой топку маленькой чугунной печки-буржуйки, стоявшей посередине комнаты. Труба буржуйки, надломившись угловатым коленом, уходила в форточку.

Загудел, забился огонь.

Мама тяжело дышала, а я смотрел на ее уверенную расправу

с остатками ящика, дожидаясь той заветной минуты, когда что-нибудь съедобное можно будет положить в рот.

Отпотевая, тускнели верхние стекла окна. Чугунные бока буржуйки раскалились до багрового свечения. В нос ударило запахом раскаленного металла. Обращенный к огню край матраса разогрелся, не притронуться. Захотелось высвободить руки и присесть.

Затея с буфетом мне понравилась. Может быть найдется и что-нибудь поесть. Только сегодня, один разок, завтра мы потерпим. В пустом желудке тлел уголек, привычно, болезненно, и я размышлял о булочках, плетеных жаворонках с изюминкой на кончике носа. Их покупали еще весной, и я ссорился с сестренкой из-за сладких изюминок, стараясь выклевать их первым. Мама пичкала нас булкой с чаем, мы отказывались, оставляли недоеденные куски. Плетеный жаворонок назойливо парил перед затуманенным взором, и мечталось о довоенном времени, и совсем казалось невероятным, что сытые дни наступят вновь.

— Мама, — вырвалось у меня. — Какие мы были глупые, хлебушек не ели. Он же такой вкусный!

— Не понимали. Сейчас дошло, да поздно… Хорошо, хоть комнатка наша маленькая. Чуть больше, замерзли бы все давно.

Мама снова скрылась за дверью, но сразу же вернулась, возбужденная, сияющая.

— Смотри, что нашла! — воскликнула она, бережно, обеими руками держа банку с вареньем. — Забилась под буфет, мы и знать не знаем!

Широко открыла обрадованные глазенки сестра. Брат выпростал ручонку, протянул ее маме и залепетал припухлыми, слегка вывернутыми губками:

— Ам, ам! Ам, ам!

Голосок у него был тонким и слабым, не то что до войны, всего несколько месяцев назад.

Обжигаясь, мы прихлебывали дымящийся, подслащенный вареньем кипяток, вытягивали со дна ошметки раздавленных ягод. Живительное тепло потекло внутрь, расползлось по всему телу. Желудок раздулся до боли, но хотелось тянуть еще и еще.

Эта нежданная банка варенья и блеснула в памяти далеким одиноким видением, постепенно обрастая плотью подробностей.

Первым напился и уснул брат.

— Он умный, все понимает, — сказал я маме. — Хнычет, пока ты дома. Без тебя молчит.

Позднее, когда комната прогрелась, и по обоям поползли

жидкие ручейки растаявшей изморози, мама купала нас в оцинкованной ванночке. Без усилий переносила с кровати и обратно, сокрушенно причитая:

— Какие ж вы стали легкие, невесомые? Что дальше-то будет? Что будет?

Еще позже простирывала нашу одежонку в оставшейся после купания теплой мыльной воде.

— Старики говорят, — рассуждала она, — в войнах не столько от снарядов и голода гибнут, сколько от грязи, вшей, тифа, болезней. Не завшиветь бы!

Вконец разомлевший, блаженствовал я в свежей, приятно ласкающей тело рубашонке и посматривал на хлопочущую мать. Она перекрыла вьюшкой трубу, укутала одеялом наши чистые, высунутые наружу лапки. Сновала по комнате, наводила порядок, устало откидывая со лба непокорную, иссиня черную прядь. Я окунался в сон.

Блокадная голодовка и стужа ополчились против всего живого. Но ясность воспоминаний о тех днях теряется. Лишь отдельные эпизоды всплывают в едва различимой дали.

Брат и сестра все реже подавали голоса. Плотно упеленутые, они беззвучно лежали у меня под боком, и не всегда было понятно, спят они или пробудились, живы или уже нет? В короткие периоды бодрствования мой взгляд натыкался на окно, и искорка интереса удерживала меня от забытья. Там, в гаснувших сумерках, огромный аэростат зависал над крышей, а ночами лучи прожекторов неземным светом вспарывали темное небо, пошаривая взад-вперед среди вспышек и всполохов ракет и разрывов, скрещивались и пропадали. Прямоугольник окна погружался во мрак.

С каждым пробуждением телесная оболочка таяла, усыхала, почти не принадлежала мне. Только мерзли ноги, да впившаяся в желудок злая змейка щипала и жалила непрестанно. Если бы не ее болезненные укусы, можно было считать себя бесплотным. Но укусы будили, тревожили, требовали.

Я отмечал чуть заметные изменения в настроении мамы, следил за интонацией ее коротких фраз, ловил малейшие проблески надежды. Приволокла мерзлую доску, — сейчас растопит буржуйку, и станет тепло; бережно вынула из-за пазухи маленький сверток, — будем пить кипяток с крохами хлеба; появилось новое словечко: эвакуация, — возможно, и мы скоро уедем.

За промерзшими стенами часто выли моторы самолетов, гремели разрывы, стонала и надрывалась сирена, но к этим звукам мы привыкли и не замечали их. Они не нарушали

могильной тишины и оцепенелой неподвижности нашей обители, как потрескивание сверчка за печкой не нарушает покоя хозяев.

Казалось, мертвящая власть голода и зимы господствует безраздельно. Но еще одна напасть разгоралась последним, отчаянным всплеском жизни. Этой напастью были крысы. Давно уже с наступлением темноты остромордые твари вольготно шныряли у нас на кухне. От их шлепанья и шебуршания отвращение продирало до костей. Заслышав человека, крысы испуганно шмыгали по углам и исчезали в дырах, которые прогрызли во множестве.

За плотно прикрытыми дверьми мы чувствовали себя в безопасности, а, возможно, ужас голода и стужи притупил бдительность, поглотил внимание, и на борьбу с голохвостым зверьем просто не оставалось сил. К нему привыкли настолько, что иногда, первые недели блокады, мама подвешивала авоську с остатками съестного к шнуру кухонной лампочки. Крысы сатанели. Как заводные, они выполняли мощный разбег из дальнего угла, с писком взвивались вверх к авоське и, зависнув на пол пути, смачно шмякались обратно на пол. Они могли не прерывать настырных поползновений хоть всю ночь.

Постепенно веление голода затмевало исконный страх крыс перед человеком. В ту ночь из тягостного дурмана сна меня вырвала острая, саднящая боль. Подушка липла к скуле. Океан литой, непроницаемой тьмы распростерся надо мной. Тьма давила; казалось, меня замуровали живьем в подземном склепе.

Отчаянный плач сестренки разорвал тишину. Что-то холодное, мерзкое и живое задело лоб, и я заорал громко, безудержно. Чиркнула спичка, и тут же раздался вопль мамы:

— Крысы!

С криком и грохотом заметалась она по комнате, яростно швыряясь башмаками, размахивая шваброй. Желтоватый язычок пламени коптилки выхватил из полумрака лица брата и сестры. Они мазюкали по щекам темную кровь и горестно голосили в полусонном оцепенении. Моя боль локализовалась: нос и ухо жгло огнем. Я заревел ровно и жалобно.

Длинная очередь покусанных крысами блокадников, заполонившая поликлинику, двигалась в быстром темпе, и вскоре, помазанный йодом, я смиренно подремывал на стуле и поджидал возвращения мамы. Мама относила нас домой по одному. Доверительное каляканье двух старушек с детишками на руках привлекло мое внимание.

— Крысиный король объявился, — щебетала одна. — Истинный крест! Агромадный зверюка, с собаку! Сам темный, во лбу звезда белая светится! Захватил роскошную квартиру, хозяева

померли с голодухи. С ним тыща крысих. Плодятся, шельмы, кажну неделю, прости, Господи, мою душу грешну! Днем свадьбы играют, шалят на пуховых перинах, ночью — разбой! И все на людей, на людей! Король-то ин людоед. Хап и глотку напрочь! Дите целиком сжирает! Спаси и помилуй нас, Господи!

Последние остатки жизненного тепла капля по капле покидали нас. Вместе с теплом угасал интерес к окружающему миру, распадаясь, как глухой шорох удаляющихся шагов. Меркнущие лучики наших глаз должны были вот-вот погаснуть совсем. Периоды беспамятства удлинялись, пробуждения едва мерцали сквозь его черную поволоку. Пропало представление о времени, — тянулась сплошная ночь. Чаша весов колебалась на грани жизни: корочка хлеба, несколько щепок в печурку, — и живой пульс бился и трепетал. Лишний голодный день, — и чаша небытия неумолимо клонилась вниз. Медленно и неотвратимо, без взрыва, без острой боли затянувшееся забытье врастало в свое естественное продолжение, — вечное успокоение.

Безвременье подбиралось к нам уверенно, по-хозяйски, не торопясь, словно сознавая абсолютную беззащитность своих жертв, оставленных всеми на произвол судьбы. Ледяные объятия сжимались, и комочки коченеющей плоти предстали перед неотвратимостью перехода в иной мир. Надолго исчезло все. Сохранилось лишь смутное ощущение движения; нас поднимали, опускали, везли. Везли на саночках.

В какой-то момент искорка сознания высветила ослепительную белизну сверкающей на солнце снежной дали. Мама прижимала к груди меня, укутанного в одеяло, и силилась втиснуться в узкую дверь белого автобуса с сероватой полоской вдоль кузова. Сил не доставало, и кто-то подхватил меня изнутри кабины. Лицо мамы скрылось, и я, напрягая сознание, косил глаза, чтобы не потерять его совсем, а вместе с ним, и этот пронзительно яркий, хрустальный мир. Рядом послышались голоса: далекие, как сквозь заткнутые уши, слова, странные тем, что их произнес посторонний человек. Давно уже мы чужих голосов не слышали. Из разговора выпала одна понятная фраза:

— Лед еще крепкий, проскочим! Только б не бомбили!

Отлетело еще мгновение, и новое пробуждение застало меня в опустевшем автобусе. Автобус стоял, но мотор пофыркивал, и ему в такт подрагивали ряды сидений. Я удобно полулежал в дальнем от входа углу, ощущая это подрагивание и спокойно принимая новизну и необычность обстановки. Низкое солнце, пронзая грязные стекла, слепило глаза, я прижмуривался и посматривал вниз в открытую настежь дверь. Все так же сверкал снег, а из кабины торчал черный сапог и засаленный ватник

водителя.

В проходе показалась мама. Она сгребла меня в охапку и заспешила к выходу. Капельки пота прозрачным бисером высыпали на ее лбу, учащенное дыхание с шумом вырывалось из груди, огромные глаза излучали всезатопляющую радость.

Шофер привстал с сиденья и странно посмотрел на нас:

— Помочь?

— Последний, сама донесу.

— А они … живые?

— Теплые … кажется. — Заметив мои открытые глаза, мама добавила: — Глянь, этот не спит! Теперь выходим!

— Дай-то Бог, — с сомнением покачал головой шофер.

Мама соскочила с подножки, почти упала на снег. Автобус покатил, набирая скорость, как видно шофер поджидал только нас, а мама спохватилась и сокрушенно запричитала вдогонку:

— Ой, одеяло-то там осталось! Заморочил голову чертов ворон!

Огорчение на миг стерло отсвет недавней радости, но явь спасения вновь зажгла возбуждением ее глаза. Это возбуждение передалось мне. Впервые за много дней я упорно сопротивлялся наползающему забытью, удерживая себя на гребне живой волны.

Зал не зал, сарай не сарай — просторное полутемное помещение заполнила молчаливая толпа неуклюжих, замотанных до глаз в темное тряпье людей. Одни полусидели на полу, припав к жиденьким кучкам пожиток, другие лежали вповалку, вперемежку с чемоданами и узлами, такие же безмолвные и неподвижные. Не лица — чернь земли, не глаза — дотлевающий пепел.

Нетвердо шагая через людей и разбросанные манатки, мама пробралась к двум продолговатым сверткам: брату и сестре. Они лежали рядом, тихо и покойно.

Пробуждение прервалось. Какой-то отрезок времени поглотила знакомая тьма блокадной прострации. Потом воспоминания поплыли ровно, события последовательно сменяли друг друга.

Двухъярусные деревянные настилы расслаивали теплушку на четыре жилые секции: две справа от входа и две слева. На настилах плотными рядами, бок о бок, разместили блокадников. Лежали не раздеваясь, в пальто и ватниках, полушубках и платках, а поверх — одеяла. От плиты, стоящей в широком проходе меж нар, волны благодатного тепла ползли по теплушке, лизали промерзшие, заиндевелые стенки. Потолок над плитой слезился сырой изморозью. Четыре оконца в углах под крышей были наглухо забиты фанерой. Белизна дня сочилась сквозь

окаймлявшие двери щели. Когда двери сдвигали, ослепительный сноп света бил в лицо, морозный воздух наполнял грудь пьянящей, сладостной радостью.

Первые дни пути. Ошеломляющий паек: судки с наваристым бульоном, шмат сала невиданно огромных размеров, головки колотого сахара. И хлеб! Много хлеба. Большая Земля с предельной щедростью встречала выходцев с того света.

Вагон молчал, хотя погрузили много маленьких, стылых полутрупиков, иногда, от запаха пищи, раскрывавших глаза. Вот она грань жизни! Тела не шелохнутся. На обтянутых ржавой кожей личиках мумий черны надрезы ртов с черными пеньками выкрошившихся зубов. Глубоко запали виски костистых черепов.

Казалось, пришло избавление. Можно расслабиться, не думать о близком конце, не вглядываться с ужасом в леденящие кровь, провалившиеся глазницы детишек. Видимо, многие и расслабились. А смерть, словно опомнившись, бросилась рвать свою долю добычи, по праву причитавшуюся ей целиком.

Как ни изводил нас блокадный голод, как ни мерзли мы в ледяных квартирах, заразные болезни обходили нас стороной. Организм экономил силы в противоборстве с истощением, выставлял заслоны инфекциям, отказывая им в минимуме энергии. И вот съежившиеся желудки, чего только не переваривавшие за страшное полугодие, не справились с желанным насыщением. Кровавый понос принялся выкашивать беззащитных, изможденных беженцев. Эшелон и вообще-то чаще стоял, чем двигался, а в эти первые дни его специально останавливали, где придется. Согбенные, почти на четвереньках, пошатываясь и хватаясь за стойки нар, мужчины и женщины спешно вываливались из теплушек, срывали с себя штаны и вперемежку присаживались прямо у вагонов.

Вопросительно погудев: не погодить ли еще? — паровоз легонько трогал, а в чистом поле на девственно белом саване снега оставалось огромное, вытянутое вдоль путей ржаво-желтое мозаичное панно.

Не только кровавыми пятнами был устлан путь нашего исхода. На станциях, полустанках и разъездах, пока заиндевелый состав замороженных теплушек с жидкими дымками над крышами выжидал несколько часов или дней в тупиках, санитары на одеялах и пальтишках выволакивали трупы блокадников. Смерть мела без разбора: и тех, кто сохранил крупицы сил, и вконец истощенных, сгорбленных дистрофиков, чудом дотащившихся до эвакопункта в Ленинграде. Муссировался слушок о диверсантах и предателях, злонамеренно отравивших весь эшелон. Удовлетворенно толковали о бдительности охраны: изменников

сцапали и шлепнули на месте.

Мама да две три ее подруги, обремененные выводками полумертвых детей, держались до последнего вздоха, как запаленные лошади-трудяги в оглоблях. Их вело внятное чувство потаенной опасности: все страшное и мучительное не кончается сразу, как в сказке. Нужно утвердиться, обрести устойчивость естественного уклада бытия, от которого давно отвыкли. Нужно работать и работать, бегать, ползать, подавать, стирать, приносить и уносить, даже если сил уже совсем нет. Нужно ощущать, как свое собственное, состояние своих детей; знать, когда доверять этому ощущению, а когда разуму. Не недодать, не передать. Делать все возможное и невозможное, не щадить себя до последней кровиночки.

Эшелон удалялся от израненного города, от разрывов снарядов и бомб. Оставлял за собой могилы и кровь, но упорно, день за днем, три недели ковылял по рельсам в тыл, в далекую Сибирь. Короткими перегонами, как перебежками, выдирал он из зубов смерти самых везучих и стойких, неодолимо вцепившихся в жизнь. Продвигались настолько медленно, что некоторые из отставших больных успели подлечиться и догнать эшелон за Уралом. Таких, уцелевших, было не много. Большинству ссаженных с поезда никогда и никого догонять уже не пришлось. В нашем вагоне до Омска добралось десятка полтора счастливцев. Мы вчетвером устроились по барски, захватив нижнюю полку целиком, от стенки до стенки.

Пережитые вместе невзгоды и постепенное воскрешение в родной теплушке сблизили изнуренных беженцев. Самое страшное сгинуло, будущее светило надеждой. Мы вживались в покой и сытость, с каждым днем ощущая медленный прилив сил. Отошло в прошлое изнурительное бремя добывания пищи, которому так недавно отдавали все помыслы, все силы, всю жизнь. Это труднее всего было постичь.

Выкарабкивались в жизнь дети. Костлявая головенка на тоненькой шейке еще вчера безжизненно моталась по подушке, а сегодня на остром, истаявшем личике блеснули осмысленность и внимание. Жизнь пробуждалась шорохами и запахами, непрерывностью происходящего и любопытством, способностью хотя бы ненадолго сосредоточить внимание. Но до конца пути никто из детей нашей теплушки не смог самостоятельно встать на ноги.

На стоянках к нам с удивлением заглядывало солнце, припекало по-доброму — близко весна. Мама ходила к вагону-кухне с судками. Кормила нас заботливо, с ложечки, а после надраивала снегом посуду. Насыщение обильной пищей

утомляло, сестра и брат засыпали за едой. Я терпеливо ждал, когда мама освободится, положит на колени мою голову и примется выискивать ножичком вшей. В Ленинграде у нас вши так и не завелись, а в теплушке с ними не было сладу. Они набросились на нас, как на лакомство.

Мама неторопливо копошилась надо мной, поскребывала, пощелкивала. Я блаженно посапывал, слушал ее беседы с новыми товарками, также увлеченно выискивавшими друг друга ножами. Дремал и просыпался, не боясь ни сновидений, ни реальности.

Когда нас долго мурыжили на запасных путях, досада и нетерпение пробуждались во мне. С тихой радостью вслушивался в пыхтение и чихание цепляемого паровоза. Он разводил пары, тужился, шипел и, наконец, кричал тревожно и громко. Дергался, пробуксовывал, сдавал назад, толкая и раскачивая вагоны, отдирая пристывшие колеса. Трогал со скрежетом и лязгом. Подрагивали и потрескивали нары, родная теплушка ускоряла свой хлипкий гон. Вагон кренился, лихо брал повороты. Торжественной музыкой гудели рельсы, песню возрождающейся жизни выстанывали колеса. Спокойный сон наползал на меня, смежал веки, обволакивал целительной теплотой и умиротворенностью. Теплушка катила себе среди снегов, плавно покачиваясь и заваливаясь, утлым суденышком по волнам судьбы.

Судьба по своим прихотям распределяет милости. Мое детство она одарила неделями безмятежного пробуждения к жизни под мерное биение колес, неделями осязаемого и осознаваемого рождения заново, без мук и страданий, в покое и любви. Я не уснул навсегда, как большинство моих блокадных сверстников. И не было в приемнике слаще дум, чем видения из незабвенной теплушки, обжитой, с добрыми, исстрадавшимися людьми. Потом уже никогда так не было. Потом снова было голодно и холодно, тревожно и неуютно.

Мне хотелось туда, на качающиеся нары, подальше от унижений и вымогательств. Мечталось даже о блокадных днях. Страшно, когда разрывы сотрясают дом, но мимолетный испуг не сравним с всечасной враждебностью, с постоянным ожиданием оскорбления, удара или плевка в лицо.

За мои недолгие годы я свыкся с переменами. Участливые и равнодушные, взрослые и дети появлялись в моей жизни и исчезали вместе с убогими детскими садами, углами и коморками наших меняющихся пристанищ. Теперь я разделил обычную судьбу моих сверстников, чтобы навсегда прикипеть к своему безысходному времени.

21
Избранник

Пресные, неотличимые в своей обыденности дни низались серым бисером по нескончаемой нити. Ничего вроде бы не происходило, и эта незыблемость изматывала, хватала за горло. Хотелось броситься на пол, биться головой о стены, вопить и молить о спасении.

На осмотре захожая лекарша мяла холодными пальцами мои выпирающии ребра:

— Ну и мощи! Дистрофик!

Воспитательница кивала согласно:

— Блокадник.

— Тонкий, звонкий и прозрачный.

— Еще не выправился. Мать в тюрьме.

— Совсем усох. Его бы подкормить.

— Их бы всех подкормить.

Зима ковыляла к исходу. Бесились ветры, хлестали в окно мокрым снегом, гнали на восток толчею облаков. Меж их рваных косм порой проступали голубые латки, выстреливал золотой лучик солнца. Заснеженный палисадник вспыхивал и искрился. Но сизые облака постепенно прикрывали просветы, серая пелена снова затягивала небосвод. В полдень покапывало с перламутровых сосулек, прилипших к карнизу веранды. Под снегом ясно проступили контуры берегов реки.

Как дар небес приходили письма от мамы. Маму перевели в лагерь на стройку. С утра до вечера на воздухе, не то, что мы. Мама сокрушалась из-за потерянного учебного года и никак не могла уразуметь, почему нас не отправляют в детдом.

Я отвечал старательными химическими каракулями: живем хорошо, путевки скоро придут. Поздравлял с переводом в лагерь, желал поскорее освободиться. О долгах молчал: помочь не поможет, изревется вся понапрасну.

Исправно катал я и коротенькие посланьица тетке, просил приехать. Относил письма в канцелярию, и надежда загоралась слабеньким огоньком. Тетка не подавала признаков жизни. И росла уверенность: нужно рассчитывать только на себя, помощи ждать неоткуда.

Мне полюбился сортир или, как мы выражались, убортрест. Он размещался в дощатой, холодной пристройке с заросшим грязным снегом оконцем. Заиндевелую проседь стен испохабили затейливые росписи-схемы с надписями-пояснениями. Были и

просто надписи, от затасканного нравоучения: «Стыд, позор на всю Европу …» до воззвания: «Хрен соси, читай газету, прокурором будешь к лету!».

Оплывшие пики гор замерзших испражнений торчали из неровных овалов, прорезанных в досках пола. Подножья гор скрывались далеко внизу, в непроглядной глубине.

Тяга к убортресту не вызывала подозрений у главарей: сюда влекло всех подымить, погорланить в отдалении. Пованивало, — и пусть себе, повсюду разит, да и пообвыклись мы с ароматами. Я застревал здесь надолго, пока не коченел до тряской дрожи или не спугивали вожаки со свитой. Покойно было притаиться в стылой тиши вдали от недобрых глаз, расслабиться, дать волю потаенным, докучливым мыслям. Примчит лопоухий заморыш, покукует с постной мордашкой, и снова покой, и можно прикидывать шансы на спасение, лепить издерганным умишком план избавления.

В группе его не удавалось додумать до конца. Мнительный Горбатый чуял опасность и бдительно нес вахту надзора. Под его недремлющим оком непобедимый страх ледяным ветром рвал душу. И не было сладу с неразберихой в мыслях и дрожью колен, когда он неожиданно заглядывал в лицо, словно обшаривая и умерщвляя мой мозг. Всем своим соглядатайским нутром Горбатый чуял врага, и, как дерьмо на поверхность воды, из глубин его глаз всплывала негасимая вселенская злоба. Его окрик вышибал из меня тайные планы, как резкий удар пробку из бутылки. Уединение настраивало на иной лад: решайся, или будет поздно! Донос вызревал украдкой, в убортресте, где нельзя было подслушать моих дум, где страх отпускал, и сознание вырывалось из тисков. Извечный вопрос: пожаловаться или молчать по-прежнему? — даже не стоял. Решение выдать вожаков втемяшилось в голову давно и прочно: не донесу — дойду, загнусь! Мысли о доносе привязались как кошмарное наваждение, доводя до полного душевного изнурения. Ни о чем другом я думать уже не мог.

Как быть? Предам блатных, по всем законам — каюк! Никто и ничто не спасет. Я весь леденел, представляя решительного Горбатого с ножом или бритвой в руках. В приступе психоза или демонстрации преданности Николе, полоснуть кого-нибудь по глазам или ткнуть в живот для него — плевое дело. Мало ли способов мщения бытует в блатном мире! Придушат или пристукнут и вытолкнут в окно, как не однажды грозил Никола, а потом вся спальня подтвердит, что сам выбросился. Блатной мир так просто не отпускает ему причастных.

Расправу над Царем забыть невозможно. Настал мой черед, и

я ломал голову: как спастись? Посоветоваться бы с кем! Но посвящать должников в свои отчаянные намерения было равносильно самоубийству, временами я страшился признаться в них самому себе. Предательство вынашивалось в одиночку.

В память запал изолятор, строгая медсестра в приемной, пайки хлеба на тумбочке и безбоязненная теплота общения с Царем. Тогда впервые за много месяцев рядом не было врагов. Изолятор — единственное местечко, где можно укрыться и переждать бурю. А там видно будет.

План обрел четкую нацеленность. Оставалось одно: выдать вымогателей и попроситься в изолятор на несколько дней, пока Николу с Горбатым не отправят в колонию. Их преступление казалось совершенно очевидным и неопровержимым, а наказание — неотвратимым. Меня законно нужно в постель, захирел до головокружений. И докторша сказала — истощен. Окончательное решение созрело, не хватало решимости сделать последний шаг, переступить страшный порог, за которым события начнут раскручиваться сами собой.

Клацая зубами от холода, я покидал облюбованный закуток и, одичало озираясь, пришибленной мышью крался вдоль стен. Бочком проскальзывал в группу, затирался в толпу.

Как ни промерзал я в убортресте, к сожалению, ни разу не затемпературил, а после двух-трех голословных жалоб на озноб медсестра заподозрила притворство, и мне стало совестно к ней обращаться.

Ночи не дарили успокоения. Во сне подо мной вздымались и раскачивались скользкие покатые крыши. С них я поминутно срывался в черную бездну. Говорили, что я часто бредил, кричал и плакал во сне. Просыпался с ощущением несчастья. Вяло, по-стариковски выпрастывал жиденькие ноги из облипшей простыни, напяливал холодные шаровары и ледяные кирзовые бахилы. Ноги болтались в них, как в галошах. Медленно тащился вниз. Чурался всех, боялся невзначай кого-то задеть и схлопотать пинок или оскорбление. Запинающимися шагами забредал в умывалку. Зеркало отражало огромную голову с синей треугольной физиономией, едва вмещающей темные озера глаз.

Другие должники ползали такими же униженными тенями. Совсем затюканный Толик серел, припухал, становясь раздражительным и еще более плаксивым. Довериться ему было нельзя. На зарядке я лениво семафорил руками, делал пару полуприседаний, и со стороны мог сойти за невыспавшегося филона. От резких движений рябило в глазах, становилось дурно, требовалось напряжение сил и сознания, чтобы не упасть. В группе я бездумно сидел, подперев ладонями подбородок, или

ложился грудью на стол, ронял голову на руки и впадал в чуткую спячку, опасаясь завалиться на пол. От неудобной позы немела спина. Холодная рыбья кровь сочилась по жилам. Коченели руки, ломило суставы пальцев. Я запихивал ладошки-ледышки под мышки или прижимал к щекам. Если отогреть не удавалось, подсовывал их под зад. Я обонял свой постельный душок, тяготился телесной немощью; чудилось, что ребята сторонятся меня из брезгливости.

Вожаки беспечно доживали остаток зимы. Утрами, пробавляясь на толчке, вели коммерцию с постоянной клиентурой местных маклаков и барыг, снабжавших их за пайки картошкой, дурандой или семечками. Горбатый как-то выменял огромный немецкий бинокль. Никола захапал его по нахалке, без рассуждений.

В спальне отгородили тумбочками тесный закуток вокруг печки и коек Николы и Горбатого с Педей. Там сбивалось в кучу скандальное блатное воронье. Тумбочки ломились от паек, бацила и добытого на воле.

Внутри наболело. Перепад настроений, борьба со страхом изнуряли тело и душу. Явственно чудилось, что меня заподозрили в неверности и пытливо и неустанно выслеживают, собирают улики. Черные мысли не давали передохнуть. Я гнал их с напускной отрешенностью и ожесточением: будь, что будет! Пропади все пропадом!

Но жажда определенности, желание любой ценой покончить с затянувшимся сверх всякой меры мучительным испытанием овладевали мной все настойчивее. Я тайком прошмыгивал в укромный уголок коридорчика наискосок от канцелярской двери и застывал в нерешительности, пугливо карауля жуткий момент. В канцелярии вечно табунились воспиталки, уборщицы, бухгалтер. Громко судачили, иногда ссорились, что-то неспокойно доказывая другу. И в этой среде мира не было. В редкие минуты, когда начальница оставалась одна, невозможно было пересилить страх. Здесь накрыл меня проницательный Горбатый.

— Что шныргаешь где не надо, глиста вшивая! Шкандыбай в группу!

Через минуту в группе последовала расправа. Не примериваясь, он секанул тупой стороной ножа вдоль моих губ. Обожгло передние зубы, мелкая крошка осколков вместе с кровью попала в рот.

Терпение иссякло, я отбросил сомнения.

Воспоминания приносят горькую печаль. Я снова оказываюсь

между молотом и наковальней, снова пытаюсь прорвать полыхающее кольцо страха. Живая память ноет плачем занудных песен, тело опоганено затхлой постелью, прошлое невозвратно, будущее темно. В ночном мраке — ни звездочки, в дневной серости — ни просини. Нужно рискнуть, сорвать неразрывные путы покорности и приниженности, а сил совсем нет.

Как и тогда, я продолжаю искать выход из тупика, в котором очутился запутавшийся мальчишка, сквозь годы устремивший на меня лучи голодных, опечаленных глаз. Как вести себя слабому перед дикостью и тьмой силы? Извечный вопрос. Эта сила не признает логики, но трепещет перед большей мощью. Нищий и слабый наделен лишь одним средством защиты — словом. Неужели могут существовать какие-то нравственные препоны, возбраняющие использование этой последней возможности?

Одна мысль проклюнулась во мне и взросла до уверенности: фальшь молчания и подлость доноса соизмеримы в своем падении. Да и доноса ли? Безнадежная задавленность порождает жажду исповеди перед справедливым и добрым миром, если не настоящим, то грядущим.

Восприятие окружающего мира беззащитным и слабым мальчишкой и человеком, много пожившим и понявшем, перемешались во мне, и сейчас уже невозможно отделить их друг от друга. Остается одно — предельная правдивость.

Желание воссоздать и осмыслить правду захватывает и изнуряет. И я, как неисправимый еретик и нарушитель канонов, вновь одержимо устремляюсь наперекор судьбе, по кривой дорожке, по неправедному пути, пытаясь достичь крайней искренности перед самим собой. Писательство как прозрение: и своя собственная душа, и окружающий мир познаются не в единодушном порыве толпы, а одиноко и вольно, как и предначертано природой. Такое познание избавляет от гнета силы, притупляющей разум.

Когда изобретут мракобесовское излучение или снадобье для вытравливания из мозгов ереси, изъятия из памяти неугодного прошлого либо присматривания за ней извне, тогда-то и наступит погибель. Пока этого нет, пока наши мысли никому, кроме нас, недоступны, — возрадуемся! Это самый великолепнейший из даров природы! С ним мы выдюжим, выстоим!

Кажется, что мы, дети войны и гонений, острее и глубже взрослого поколения того времени чувствуем трагизм и тьму тех дней. Почему же никто не написал о приемниках? Ведь сквозь них просеяны миллионы ныне пожилых людей. Неужели из-за того, что были заведения не в пример ужасней, не достойны ДПР памяти? Неужели мои однокашники счастливо доживают свои

годы, и их не тревожит память? Мне кажется, что для нас счастье — это навсегда утраченная способность быть по-детски раскованным и безмятежным, это сбереженная детская чистота. Чистота тела и духа. Здания же наших жизней держатся на волоске: вместо непопранного достоинства в их основаниях подозрительные изломы. Приходится постоянно ждать беды, опасаться, не ринется ли жизнь вспять к голоду, лишениям, духовной кабале?

Я смотрю на едва заметные шрамы и отметины побоев и драк неодолимо, наперекор всему, косящим в то темное прошлое взглядом, и далекие детские страдания высвечиваются памятью объемно и глубоко. Трудно переоценить всю меру поступка, на который решился отчаянно борющийся за жизнь мальчуган, не отступивший в последний момент. Куда несло его с жалобой? Не к благожелателю и другу, но иногда и зверь бежит от верной гибели к охотнику.

Почему жребий пал на него? Почему выпутываться ему пришлось в одиночку? Мучительно думать, что какая-то нерастаявшая льдинка души того забитого мальчишки осталась во мне навсегда. Искушение овладевает мной: встретиться бы с тем голодным пацаненком, перекинуться бы хоть одним словом! Многим бы я пожертвовал за такую возможность. Но ее нет, и поэтому, — счастливо, малыш, вперед! Я поддерживаю и благословляю тебя отсюда, из твоего будущего.

Мальчишка уплывает, растворяется в бездне сознания, а я остаюсь наедине с добровольно взваленной на себя ношей.

22
Донос

Напряжение не спадало. Страх маячил за спиной, дышал в затылок, проникал во сны. Страх шептал: молчи! Разум внушал: выдай! Настало утро, когда я обреченно решил: сегодня или никогда!

Я балансировал на грани обморока, но четко представлял, что в канцелярии с утра многолюдно и следует повременить. Я приказывал себе успокоиться, заново обдумывал слова жалобы и каждый раз убеждал себя, что выбранный путь единственный.

Перед обедом, совершенно не в себе, пробрался к дверям канцелярии, определяя по голосам, много ли там людей? Вскоре начальница осталась одна. Была, не была! Преодолевая головокружение, приоткрыл дверь и в приступе отчаянной решимости переступил порог.

В первую минуту разум сковала паника. Я топтался перед столом начальницы и путано талдычил что-то о хлебе. Начальница зыркнула краем глаза мне под ноги и с постной миной продолжала усердно скрести пером. Неужели прогонит, не дослушав? — мелькнула трезвая мысль. Я еще скорее запричитал о своем, напирая на желание спрятаться в изолятор. Наконец она передернула плечами и резко, ледяным тоном осадила меня:

— Стоп! Что лопочешь? Объясни внятно!

Несколько вопросов, и до нее дошла суть.

— Не сочиняешь? Паникуешь поди?

— Посмотрите к ним в тумбочки.

— Сядь, не маячь! … Зачем же вы свои кровные пайки несете? Вы что, дефективные?

Она кликнула воспиталку и послала ее в спальню на досмотр, приказав сломать запоры тумбочек и проверить все тщательно. Я дрожащим голосом долдонил про изолятор.

— Хорошо, хорошо, теперь разберемся! — раздраженно отмахнулась она. Нервный порыв зрел в ней пробуждающимся вулканом, подавляя первоначальную растерянность.

Воспиталка вернулась, всплескивая руками и охая:

— Кладовые, полные добра!

— Выродки! Даром это им не пройдет! — зло выпалила начальница и примолкла раздумчиво.

Тут до меня дошло, что пути назад нет. Взрослые, чужие и непредсказуемые, впущены в наш темный мирок. Я ополоумел, мысли крутили водоворотом. Все тело до последней поджилки

трепетало в дрожи. Но, одолевая смятение, всплыла надежда: может быть конец мучениям?

Почему же начальница медлит? Не вопит от возмущения, не бежит наводить порядок, не мечется разъяренной фурией, как случалось не однажды и по менее значительным поводам. Как оплеванный, ерзал я на стуле. Взмыкнул было, пытаясь дополнить рассказ упоминанием о расправе над Царем, но было поздно. Кто-то вошел, начальница отвлеклась, и пришлось умолкнуть — невыносимо стыдно фискалить при посторонних, как и исповедоваться.

Все складывалось не по-задуманному. Я предполагал ошеломить начальницу, вызвать глубокое сочувствие к себе и враждебную реакцию к вымогателям. Думал, вознегодует и немедленно, бросив все дела, встанет на защиту. Ничего подобного. Она явно пыталась принять какое-то решение, подумать, прежде чем действовать, а пока раздраженно суетилась, не обращая на меня внимания. Бумаги порхали по ее столу. Но на серовато-бледных скулах измятого лица зажигались и густели фиолетовые бляшки.

— А ну, пошли! — сдержанно кивнула она наконец и выскочила в коридор. — Старшая группа, — на линейку!

Прорезалось!

Начальница закатила грандиозный скандал, метала громы и молнии. Я мандражировал в строю, в самом его хвосте, и с каждым сумбурным выкриком цепенел: помнит ли обо мне, отправит ли в изолятор?

— Нелюди! Развели уголовщину! Рвете пайки с малолеток! Изгаляетесь над слабыми! — гневно разорялась она, размахивая руками перед носом Николы. — Мародеры! Еще раз провинитесь, в тюрьме сгною! Рвачи поганые!

Выговаривала все как-то с обещаниями: кто будет сдирать пайки — того под суд, кто выносить — в колонию! Наказания в будущем, в настоящем посулы! Нет, не казенного шельмования я ждал. Взвинченность нарастала, я чувствовал себя совершенно разбитым и изнемогшим: сил нет, податься некуда, — конец!

Долго песочила нас начальница, долго утюжила тяжелым взглядом наши лица. Каждый ее взвизг вонзался в мозг острием дикого страха. Казалось, что не я предал, а меня предали начальница, должники, весь мир.

Всполошился приемник. Взрослые собрались в зале, окружили наш строй жиденьким заборчиком. Начальница и пара уборщиц поскакали наверх потрошить тумбочки. Приволокли уйму всякой всячины: свежие, черствые и даже заплесневелые пайки, кусочки маргарина, зажигалки, картошку, жмых, семечки,

махру и трофейный бинокль. За раз не справились, на рысях возвращались за остатками.

Николу и Горбатого погнали в канцелярию. Чем им пригрозили, неизвестно. На недельку раздели. Педю вообще не тронули; со страху я и упомянуть-то о нем забыл.

Не выгорели мои планы, правосудия не свершилось.

— Заложил! — первое, что я услышал после линейки.

— Сявка! — хлестанул злой окрик Духа.

— Скурвился, шалава! — ехидно осклабился Педя.

Разбитый и опустошенный, в давящем отупении сидел я в сторонке, ожидая казни. Стена отчуждения и презрения к лягавому отщепенцу отрезала меня от группы, от жизни. Положение стало безвыходным: угодил в свою собственную ловушку, и теперь труба, песенка спета!

За застывшими мыслями и чувствами затаилась предсмертная паника, и от нее можно было свихнуться. Я, маленький и слабый, остался один на один со всей группой. Как выдержать новое испытание?

Никола и Горбатый вернулись перед ужином. С суровыми, непроницаемыми лицами и убегающими взглядами они долго шушукались у печки, а меня била трясучка: ждал немедленной расправы. Подошел Горбатый, загундосил:

— Напустил понту, — концы отдашь! Ублюдок жидовский! Сказал бы нам, устроили бы передых… Мы ж тебя терпели, не трогали. Жил, как все. Не ценил. Давно следовало удавить!

Холодные, налитые злобой глазки его гадливо шныряли по сторонам, но в словах не слышалось прежней наглой уверенности. Все же, после паузы, прорвался мстительный крик его души:

— Наделал шороху, сексот! Берегись, Фитиль! Пощады не жди! — Но не тронул.

В столовой пол дюжины взрослых прохаживались за нашими спинами, как охранники. Ели мы дружно, без уговоров, мгновенно слизнув со стола хлеб и похлебку.

Воспитатели допоздна несли караул в спальнях, а ночью блюстителем порядка осталась тетя Дуня. Задумчивым филином, подвернув под себя ноги, устроилась она на стуле у печки и, когда Педя завел песню, неожиданно стала подпевать гнусаво-пискливым, но приятным голосом:

В шестнадцать лет, еще мальчишкой
Служить в пилоты он пошел.
Пропеллер быстрый с звездой на крыльях
Себе утеху он нашел.

Пронзительность блатного настроя песни была близка нам, также как и преданность делу и заветной подруге. Любовь оборвалась — жизни конец! И пилот «на пике педаль нажал».

Так пусть же амба, так пусть же крышка,
Так пусть любви последний час!
Любил я нежно ее мальчишкой,
Еще нежнее люблю сейчас …

Хоровое завывание окрасилось проникновенным тоненьким звоном. Когда мы были настоящими и естественными: когда пели или когда враждовали?

Усиленный надзор блюли несколько дней. Постепенно переполох поутих, и жизнь запетляла по старому. Лишь тетя Дуня частенько прибредала в спальню поголосить, скорее по своей охоте, чем по обязанности.

Я понимал, что вожаки не отступят, не спустят, и терял голову, томясь одной мыслью: какая кара мне уготована? Со мной никто не общался, хотя все поедали свои пайки за столом. И ни одного участливого взгляда или слова! Группа сплотилась в своей отчужденности к предателю: ни ссор, ни драк как будто и не бывало.

— Бойкот! — резануло слух вырвавшееся из неизвестности словечко.

Комната битком набита детьми, а с обеих сторон моего стула по дыре, никто не хотел садиться рядом. Эти дыры, как провал в бездну, за которым полыхает огонь, готовый вот-вот перекинуться и ко мне.

Скользнули по мне глаза и перемигнулись, загудел невнятный говорок, зазвенел смех, зашныряли резвые шестерки, — все вызывало смятение и неспадающую настороженную взвинченность, в любой недомолвке чудился тайный смысл.

Вышколенные шестерки то рьяно не замечали меня, то исподтишка, повернувшись спиной, выкрикивали оскорбления, гремевшие над моей головой камнепадом.

— Наклепал, образина жидовская!

— Предал, погань вонючая!

— Ссучился, тля продажная!

Пели крикливо, многозначительно, угрожающе:

Я мать свою зарезал, отца я зарубил,

Сестренку-уркаганку в колодце утопил…

Замотанный в белую простыню, Никола грелся у печки и, дирижируя настроением, разглагольствовал:

— Остоедренило здесь, опаскудело … Закатимся летом на юга, отогреемся. С цыганами к туркам увинтим. Во где лафа!

Насобачился он в хвастливых толкованиях, или в самом деле мятежная тоска по воле бродила в нем кислым вином? Его приятелей проняло, и они тоскливо запели:

Куда ветер дует, туда я иду,
Где солнце пригреет, там приют найду.

Грустные звуки метались, бились о стены, об окна, — на волю не вырваться, такие же пленники, как и мы.

Горбатый по-бабьи натягивал простыню на уши; напряженность и страх таились в его глазах. Он то ли успокаивал, то ли взбадривал себя песенками, с нервной веселостью канюча себе под нос:

Из кармана выхватил он финку, гопцы!
И вонзил под пятое ребро!

Или с чувством тянул:

Заманили гады, заманили!

Можно ли было заранее предугадать такой оборот событий? Внешне все выглядело спокойно, гроза приближалась исподволь; я замирал в ужасе и не раз про себя твердил: не отвертеться, кранты!

Как же тягуче заныло сердце, когда срок наказания истек, и Никола с Горбатым обрядились в казенные шмотки. Страх гнал в канцелярию, но повода для жалобы не находилось. Пайки не отбирали, не били, а принудить ребят общаться со мной не был властен никто. Каждую минуту приходилось быть начеку.

Обострилось внимание, я весь превратился в зрение и слух, чутьем улавливал любую необычную мелочь, любое движение, любой обрывок фразы. Из всего старался извлечь смысл, во взглядах главарей пытался прочесть приговор. И высмотрел: Горбатый и Никола после прогулки заханали ватники.

Я прокрался наверх и обнаружил под их кроватями два пузатых дерюжных мешка. Что-то затевалось. Воспаленный мозг ухватил одно: нужно пережить ночь, самую жуткую ночь в бесконечном ряду потерянных ночей ДПР. Только не расслабляться! Тогда не застанут врасплох, укараулю нападение, вырвусь, заору.

Решил не спать всю ночь. Юркнул в постель не раздеваясь, лишь скинул ботинки. Лежал ни жив, ни мертв; одержимо вслушивался, внюхивался, врастал в деловое шебуршание спальни. Сквозь отдушину одеяла не воздух тянул, — таращился напрягшимся, подслеповатым оком. Твердо знал: если набросятся, лежать нельзя, а то кол забьют, как Царю. Нужно опередить нападающих, вскочить и драпануть прочь, как только потушат свет. Главное — бежать! Сердце билось где-то у горла.

Свет не потушили, но и бросок Горбатого сзади, из-под кроватей я не прозевал. Резануло в висках! Я рванулся из недр постели, путаясь в простынях.

Сталь вспорола плечо, тяжело и грубо разваливая неподатливую плоть. Я заорал предсмертным, душераздирающим криком и, превозмогая боль, выскочил за порог. Сознание было удивительно ясным. Остро и четко видел я метнувшуюся следом горбатую тень, слышал клекочущий звериный рык, понимал, что нужно бежать. Бежать во что бы то ни стало!

Правая рука повисла плетью, боль разрасталась и жгла огнем. Горбатый с ножом в длинной, скрюченной лапе навис надо мной. Новый горячий, нестерпимый тычок взрезал спину, еще один ожег плечо. Когда ж это кончится?! Пожар бушевал в спине, ноги обмякли. Последний шаг, и я вывалился на лестницу. Снова удар! В глаза брызнуло сгустком слепящей тьмы, пол скользнул из-под ног, стены вздыбились, и я поплыл, поплыл в тошнотном полете в пролет, вниз, в никуда.

— Свертываемость отличная.
— Еще бы! В нем и крови-то почти нет.
— Шалгун с костями.
— Телосложения не знатного.
— Скорее теловычитания.
— В чем душа держится!
— Бедолага, пол спины искромсано.
— Тесак тупой, по верху порол. Вот и расхлобыстал.
— Силенок не достало. Зарезать и курицу не просто.
— Шкура дубленая, игла не лезет.
— Такое бывает у блокадников или голодавших.
— Говорят, главный трофейными иглами разжился.

— Тихарат, сам пользует.

Две женщины, усердно пыхтя, ковырялись в моей спине и переговаривались спокойно и деловито. Я лежал, уткнувшись носом в желтоватую, крахмальную простыню. Многопудовая тяжесть давила на правую половину спины. Спина сверху омертвела, а глубоко под омертвелостью билась острая, колющая боль.

Душила жажда, угарная тошнота рвала горло. Я стиснул зубы и ненароком ухватил складку простыни. Вкус оказался приятным, и я покусывал ее до конца операции.

— Безобразник! Дыру прогрыз! Кто отвечать будет? — внезапно разругалась докторша, перебинтовывая меня.

Было странно и даже немножко радостно из-за того, что она отчитывала на полном серьезе. Умирающего так не отчитывают. Что там простыня, по сравнению со спасенной жизнью!

Было больно, муторно, но не было страшно. Впервые не было страшно!

23
Изолятор

Первые дни в изоляторе проплыли в тумане сплошного благодатного сна. Сон сморил меня властно и сразу, унес от ненавистных людей и дней. Опустошенное сознание, измученное тело, все мое существо до последней клетки жаждали покоя. Продраться сквозь железо и жуть смертоубийства удалось чудом. Это ли не везение?!

Боль быстро шла на убыль. Чуть припекали швы, при неосторожном движении остро подергивало лопатку, но раны не волновали меня, я знал, что жизнь продолжается. С плеч свалилась гора, душа вырвалась из плена, я расслабился и, повинуясь инстинкту, впал в живительную, безмятежную спячку. Сознание отключалось, когда ему вздумается, и вновь возгоралось плавно, без вспышки.

Я с жадностью, иногда в полусне, глотал приносимую еду и с облегчением вновь погружался в удивительный мир тишины и отрешенности. Глубоко поражало самое простое: возможность спокойно поглощать пищу и засыпать без страха.

Начальство расщедрилось, и мне отваливали две-три пайки за раз, не скупились и на добавки. Главное, — не нужно было ханать трясущимися руками заветный ломтик, отдирать его от сердца, как частицу собственной плоти. Я дорвался до хлеба и жевал его, пока не слеплялись веки.

Ничто не нарушало моего телесного и душевного блаженства. Напряжение голодных и страшных дней понемногу спадало, промежутки бодрствования удлинялись. Сон и время развеяли боль и страх, осталось чувство окончания непосильной, изнурительной работы. Плохо, хорошо ли, работа завершена, ее не переделать, и беспокойство бессмысленно.

Дремотное оцепенение капля по капле вытеснялась туманными грезами о школе, приятелях, доброй учительнице. Всплывал и таял, как дым в поднебесье, расплывчатый образ детдома. Неотвратимо накатывало далекое прошлое. Я рылся в памяти, цеплялся за него, как за соломинку, только бы не думать о возвращении в группу. Вспоминалось легко, всласть. Память оживляла что-то безотчетно похожее на теперешние дни выздоровления.

Ряды больничных коек залиты утренним светом. Высокие окна. Пронзительная белизна простыней, из-под которых видны

обнаженные руки и плечи. Глубокое ощущение новизны и необычности того, что люди спали раздетыми. Во всем теле ощущалась цыплячья легкость и живость, так и подмывало проверить, хватит ли силенок подняться? Удивляясь собственной смелости, опустил ноги и, сунув их в валенки, встал. Колени гнулись не в ту сторону, слегка кружилась голова, но стоял, колеблясь, и понимал, что и шагнуть могу. Плюхнулся на постель переполненный необыкновенной радостью: глянул бы кто на мое геройство! Свершилось чудо выздоровления, а вокруг властвовал сон.

Потом долго отдыхал и слушал нестройное сопение палаты. Тянуло совсем покончить с сомнениями и испытать не позабытое чувство передвижения на своих двоих. Засвербило, подталкивая, нетерпеливое любопытство, побуждая высунуться за дверь и проверить, где мы?

Натянул рубашку и брюки и снова поднялся. Шажок за шажком, осторожно переставляя ноги, добрался до порога и выглянул наружу. Глаза разбежались: в огромном зале было полно моряков. Самых настоящих, в тельняшках и брюках клеш. Приблизились двое, первыми обнаружившие мое явление.

— Питерский?

— Да, — кивнул я.

Когда испуганная, полуодетая мама выскочила из палаты, я сидел среди моряков с бескозыркой на ушах и огромным куском белого хлеба в руках. Кусок был замечательный, откромсанный во всю буханку, толстенный, намазанный маслом и присыпанный сверху сахарным песком. Его было трудно и жалко есть: пока рот разеваешь и вгрызаешься, драгоценный песок сыплется на пол.

— Целехонек ваш герой! — Матрос осторожно передал меня вместе с хлебом маме.

Этот кусок белого хлеба грезился мне в самые голодные приемнитские вечера.

Воспоминания распутывались и оживали. Я стал ходячим дистрофиком Омского стационара выздоравливающих блокадников. Стационар обосновался в морском училище, а возможно, училище разместилось в бывшей больнице. Половину многоэтажного здания предоставили беженцам, в другой — обучали курсантов.

Недели в теплушке преобразили нас. Стекла чернота со щек, следы дистрофии не били в глаза, не поражали стороннего человека. Но смерть задела нас черным крылом, истощение прочно пометило лица и поступь. Не все и не у всех шло гладко, выкарабкивались по-разному. О иных шептали:

— Не жилец.

Смерти не прекращались. Мальчишку, соседа по теплушке, увезли в больницу с туберкулезом. Потом еще одного. Несколько рахитичных, вялых детей поднималось с трудом, а братишка едва шевелился, даже сидеть не мог.

Я отошел сразу. Спустя пару дней по приезду расхаживал без труда, а еще через неделю бегал по всем этажам снизу до верху. Замельтешили денечки выздоровления.

Истаивали снега, но еще приморaживало утрами. Нас подлечили и подкормили. Оживший табор перекочевал в обезглавленную церковь, переоборудованную под общежитие. Массивные церковные стены и своды измазюкали грязно-синей известью, но не высоко, а так, куда дотянулась мочальная кисть. Крепежные стояки — неошкуренные толстые лесины — держали потолки из неструганных досок. Половодье нар разбежалось по залу, алтарю, боковым приделам. Непрестанно гудели примуса, чадили керосинки с кастрюлями и чугунками с похлебкой, в ведрах и лоханях пузырилось и пенилось кипящее белье. Из конца в конец протянулись провисшие веревки со стиранным тряпьем.

Здесь всегда царил полумрак подслеповатого мерцания коптилок, лампад, дымных топок плит и буржуек. Керосиновый чад забивал кислый банно-прачечный смрад распаренного мыла.

По тесным, длинным проходам с приступочками наверх к алтарю сновали по-старушечьи сгорбленные женщины. Скулили и орали дети, стонали больные, спали вернувшиеся с ночных смен девушки.

Чуть встали на ноги, навалились вечные заботы: чем кормиться, где притулиться? Эвакуированные предприятия глотали эвакуированных людей. Детей затыкали в интернаты, сады и ясли. Натерпелись, намучились, но спаслись. Ритм новых дней диктовал непреклонно: работать, работать, работать! Впряглись вместе со всеми блокадники и потащили на костлявых хребтинах огненный крест войны.

Память высвечивала переполненные детсадовские группы с визгом, толкотней и плачем, болезни, рыбий жир, встречи с мамой в конце недели. В больших красных санках, «карете», волокла она нас троих через весь город на квартиру. Квартиры каждый раз менялись: кому нужна жиличка с крикливым, вечно больным выводком?

Постоянным пристанищем стала захудалая халабуда, вросшая в землю до подслеповатого, затененного крапивой оконца. Ее хозяин, квелый, хромой старикашка, приковылял на новоселье. Прихлебывал из чекушки, толковал покровительственно:

— Почему сдал? Не выживает в ей нихто. Порося завел —

исдох! Кроля — вмер! Куря, — дык не несуца! То ли дух в ей особливый, то ли сыро очень, — не дотункать! Другу рыть стану.

Сработал два корявых горбыльных лежака, а меж ними столик на скрещенных, как у дровяных козел, ножках. У входа сляпал маленькую, на одну конфорку, плиту, провозившись неделю. Землянка была размером с вагонное купе, но пониже и потемнее.

— Я ушлый, ядрена корень. Усе могу, усе узырю, — пыжил он ноздреватую, заросшую образину. — Зараз углядел: еврейка! Мне все одно: хучь негра мриканска, хучь чучма кавкаска! … Христянска душа все ж приятней.

Хибара нагревалась, как только занимался огонь в печи, и быстро выстывала, когда он гас. Сквозь обраставшее ледяной коркой оконце под потолком был виден край небушка, ствол и нижние ветви березы.

Здесь, на отшибе, мы и бедовали до конца войны. С убогой конурой сроднились, как лошади со стойлом. Ее обжитой душок манил из детсадовской и школьной маяты. Гостей не пригласишь, — тесно, убого и стыдно, а в остальном жилье как жилье, отдельное и спокойное. Неведение — великий дар детства. Теплый бок плиты, кусок хлеба, мамины руки, — и мир прекрасен!

Через год, другой наскребла бы мама и на комнатенку получше, да о другом думала, к другому стремилась. Откладывала последнее, готовилась в обратную дорогу к родному, насиженному гнезду. Потому и мирилась с дедовой завалюхой. Знала, пристанище временное, скоро домой, в Питер!

Жизненные силы пробуждались. Вроде бы полеживай себе в удовольствие, но одиночество стало в тягость. Швы давно сняли, жжение и покалывание ран прошло. Правое предплечье стало чуть тоньше левого, но чувствовал я себя здоровым, способным снова быть на ногах.

Праздным взором смотрел я в окно на пустынный палисадник и темный дом за голыми стволами деревьев. Знал, никто не навестит.

Весенний ветер шумел, сдувал серые подтаявшие снега. Над кронами могучих, разлапистых кленов безостановочно плыли гривастые облака. Их неповторимое разнообразие сначала занимало воображение, но неживая, безглазая унылость скоро наскучила. Почему облака никогда не набегают с восхода? — гадал я.

Я хватался за книги, оставшиеся здесь со времен Царя, силился вникнуть в их ускользающий смысл. Постичь его с

наскоку не удавалось. Процесс чтения требовал всего внимания, на осмысливание сути его не оставалось. Чтение существовало само по себе, а содержание книги само по себе.

Прежнее беспокойство занялось слабеньким огоньком, вытесняя безмятежную праздность. Видимо прощения мне не видать, от бойкота не избавиться, словом, жизни не будет!

Заявился Толик мазать цыпки, просунул в дверь огуречный черепок. Нетерпеливо вопрошающе уставился я в лицо гостя, гадая по его выражению, чем грозит мне возвращение в группу, и вообще, что происходит в дпрэшном мире?

Толик потоптался у порога, молча принял кусок хлеба. В его глазах не было ни укора, ни одобрения, как будто со мной ничего особенного не произошло. Боится выволочки за недозволенное общение, — решил я и, стараясь задобрить и разговорить мальчишку, пообещал:

— Приходи завтра, еще дам. Мне много приносят, остается.

Тишина и покой быстро растопили лед отчуждения и недоверия. Я видел, что Толику нравится в изоляторе. Одну за другой он выложил все новости:

— Николу и Горбатого так и не попутали. Они товарняком учесали, в собачьем ящике. Поездухой промышлять будут … Из сыска опер приваливал, выпытывал, куда они могли драпануть?

— Педя с шестерками пайки выжиливает?

— Не, лавочку давно прикрыли. Воспиталки в столовке с нас глаз не спускают … Знаешь, Лапоть Педе морду набил!

— Божись!?

— Шестерки хвосты поджали, хилять намылились. Не дрейфь, тебя не тронут. Побоятся, что снова колонешься. Они и в карты теперь не играют.

— И что?

— То! Горбатый тебя в карты играл и продул!

Я обмяк и онемел от неожиданности и воскресшего страха. Толик продолжал:

— Новую песню поем:

Располным-полна столовая,
Не наелся, но молчи,
Ведь в задрипанном приемнике
Повара все палачи.
Суп нальют одну водиченьку,
Каши ложечку плеснут,
Хлеба черного кусманчик
Крохоборы загребут!

После его ухода лежал я один одинешенек, не в силах совладать с прежним душевным трепетом. Блатные не прощают измен и способ свести счеты найдут. Мне претила даже мысль о возможности предстоящего возвращения в группу, не верилось, что когда-нибудь придет избавление от проклятого ДПР. Побег не осилить, да и бежать некуда, обольщаться не приходилось, а радоваться передыху и сытости и тому, что остался жив, видимо, придется не долго.

Заглянула начальница:

— Дрыхнешь, зарезанный? — с напускной веселостью спросила она и, приторно улыбаясь и осторожно подбирая слова, полюбопытствовала: — Не надоело хорониться? В группе весело, а ты зарылся, как бирюк. Спина-то болит?

Значит покою конец, настала пора принимать решение. Заметались мыслишки. Как обычно, собраться и спокойно ответить не удалось, а неизбежность конца затянувшейся противоестественной обособленности требовала реакции.

— Можно мне днем приходить в младшую группу, а ночевать пока в изоляторе? — Исстрадавшийся бедолага пытался выцыганить последнюю уступку.

Начальница изумленно дернулась, но сразу же расплылась, слащаво и равнодушно:

— Как знаешь.

После изоляторского покоя и уединения воробьиный галдеж мелкоты оглушал. Пестро обряженные, щебечущие сами себе под нос, малявки елозили по полу на коленях, хороводили непонятные игры. Дошкольники разучивали с воспитательницей стишки и песенки. Куда меня приткнуть, было не понятно.

Я вклинился в эту кишмя кишащую лилипутию и сразу почувствовал, что возврата в гомонливое царство неведения и пискотни быть не может, моего места здесь нет. Брат и сестра от меня давно отвыкли, у них были свои приятели. На линейке я растерянно и стыдливо шнырял глазами поверх длинного хвоста малышей и чувствовал себя неловко, неуютно.

Обалдев от непривычной суеты и верещания, я выскочил в зал и носом к носу столкнулся с Педей. Сердце сжалось и провалилось, я застыл, как перед страшным судом. Что за наваждение? Он моргнул, кивнул и спокойно прошел мимо.

Что бы это значило? Связываться сейчас не хочет? Да что он может без Николы и Горбатого?! Как на ходулях, подавляя застарелый озноб, поковылял я в свою группу.

Ничего необычного не произошло. Никто не выказал ни агрессивной нетерпимости или брезгливости, ни доброжелательности или участия. Не замечал я и угрожающих

пересудов за спиной, злые языки как будто поперевелись.

Вечером на свой страх и риск потащился в спальню. В постели бешеное сердце долго не унималось, но спалось спокойно, как и в изоляторе.

Через денек-другой прояснело: намертво затянутый узел разрублен, лихое времечко откатило, а что до размышлений и упреков, так кто ж сам над собой был властен? И не до того стало.

Нос Лаптя расцвел. Конопляные крапинки горели в потоке бившего в окно света. Окно пылало весной. Сверкающая голубизна затопляла заоконный мир. Акульи зубы сосулек на карнизе веранды слезились хрустальными бликами. Капли срывались с их прозрачных концов и звякали по ступенькам. Новизна пробуждающегося весеннего мира помогла схоронить горечь и грязь, страх и боль.

24
Согретые солнцем

Солнце сгоняло снега. Подмерзающий за ночь наст днем оседал. Расползались темно-бурые проплешины обнаженной талой земли и пожухлых прошлогодних трав. По утрам травы сверкали сизой проседью инея. Пролился нечаянный дождик и смыл остатки снегов. Рябые блики дробились и плавились в полуденных лужах. Ледяная лента реки одиноко белела меж темных берегов.

Посветлело в жизни и на душе. Часами неотрывно смотрел я на пестрые, омытые растаявшими снегами луга, на полоску леса вдали, резко поделившую темное — земное и светлое — небесное.

Редкие повозки крестьян проползали через мост к базару и обратно. Иногда дорогу заполоняли похоронные процессии с толпами провожающих и зевак, растянувшимися длинными путаными хвостами. Люди хлюпали по скользкой грязи, погребальные дроги увязали по ступицу. По временам колымага с гробом застревала. Скорбящие суетливо бросались на подмогу и, поднатужившись, скопом вытаскивали ее. Порой за гробом шествовал духовой оркестр. Это было событием! Первые же отдаленные звуки дребезжания медных тарелок срывали с мест группу. Давясь и толкаясь, мы валились на подоконники, прилипали носами к теплым стеклам. Замешкавшиеся взгромождались на стулья и столы. Скорбные звуки плыли над толпой, над катафалком, покрытым зеленым лапником с яркими бумажными цветами. Траурные шествия отвлекали на десяток минут от обычной беспробудной бездеятельности.

Притащились непроглядные, как обрат, сырые туманы. Они стлались по утрам над заречьем, но солнце легко слизывало их. Было занятно смотреть, как одинокая церковь, задымленная по самую маковку, постепенно выплывает из разодранных клочьев и раскланивалась по сторонам. В ненастье туманы сползали к полудню. Вместе с ними, помаячив на горизонте, рассеивались белесые гребешки заплутавших облаков.

Повинуясь невнятному зову, я выбежал раздетым на улицу. Двор оголился и выглядел замызганным и захламленным. Под ногами хрустел ночной ледок промерзших до донышек лужиц. Я забился за дом и ненасытно внюхивался в терпкие запахи догнивающих листьев и обнаженной сырой земли. От весеннего хмельного настоя голова шла кругом. Я вдыхал, смаковал, глотал

и упивался свежей, бодрящей прохладой, наполнявшей грудь чем-то могучим и чистым, проникавшей во все поры истомившегося тела.

Из-за угла одуряюще тянуло помойкой. Задрав нос, я двинулся, как по лучу, на эту пряную вонь. Помойка курилась теплым парком. Взволнованно озираясь, ковырнул я носком ботинка крупную, белую, вмерзшую в лед кость, смахнул луковую шелуху, мусор, разную дрянь. Это что за красная россыпь? Осторожно выколупал, вытер о штаны и в рот; подплесневелая краска отдавала едва уловимым, тухловатым привкусом сыра. За месяцы жизни в ДПР я стал непривередлив, как побирушка.

Сердито ругнулась ворона, видимо ей съестным не подфартило.

Я поплелся к конюшне, потрогал доску в том месте, где зимой пролезал за отрубями. Ее наглухо забили.

Ветерок обдувал лицо, холодил спину и грудь. Пора было возвращаться, но пленительный весенний дурман удерживал, и я еще немного постоял у нагретой солнцем стены. Хлипко подрагивали и пружинили колени. Промерзнув до костей, нанюхавшись смутных ароматов, топал в группу, чтобы протиснувшись к окну, снова всматриваться в пробуждающийся мир.

Ползли слухи, что река с часу на час тронется и, как пить дать, срежет к ядреной вдовушке деревянный мост. У быков на вздувшемся, пористом льду закопошились люди, видимо собираясь его взрывать. Мы следили за происходящим, боясь прозевать момент взрыва. Вездесущий Дух поспешно снялся и подрал поразнюхать обстановочку. Весь следующий день он отирался у моста, а вечером взбаламутил группу желтоватым, смахивающим на кусок мыла брикетом.

— Это тол!

— Параша?!

— Падлой буду! Еще одну хреновину свистану и кранты! Рвану приемник к шлепанной матери! Пусть горит синим пламенем!

Кто с сомнением, кто с завистью воззрился на шашку тола. Не верилось, что эта маленькая, безобидная фиговина таит в себе такую мощь.

Внезапно остро, с сосущей душу тоской меня захлестнуло желание разнести вдребезги, спалить дотла осточертевший ДПР. Чтоб его громом разбило, чтоб он взлетел на воздух, сгинул без следа! Воображение рисовало фантастическую картину огромного пожара. Мы выскакиваем во двор и заворожено, как в кино, любуемся гигантскими языками золотого пламени, бьющего из

окон. Мечутся в панике воспитатели. С треском и грохотом разваливается и исчезает с лица земли распроклятый дом.

И сразу же другая картина: мы сидим, свесив ноги, в открытых дверных проемах теплушек и, ликуя, мчим в детдом, в новый ДПР, в другой город, — куда угодно, только подальше отсюда. И горланим похабщину:

Поезд едет, рельсы гнутся,
Под мостом попы суются …

Жажда перемен будоражила воображение. Случилось бы хоть что-нибудь! Хоть что-нибудь всколыхнуло бы и расплескало застойное болото опостылевших будней!

Приемник был несокрушим, несгораем, непотопляем. Он дымил всеми своими трубами, рвался в неведомую даль, оставаясь навсегда прикованным к каменному основанию.

Чего только не надует в пустую голову весенними сквозняками?! Даже дурман вечных, несбыточных грез обрастает иногда земными подробностями.

Река вскрылась ветреной ночью. Обошлось без взрывов. Пожарники, примостившись у оснований быков, баграми распихивали льдины. Льдины толклись у моста с треском и скрежетом. Им было тесно и в узком русле, они чиркали друг о друга, задевали берега, застревали у плесов. Стремнина черной воды важно несла отливающие синевой сахарные острова. Весь день и всю ночь они плыли и плыли, нашептывая невнятную прощальную песнь. Им предстоял недолгий путь до залива, а их таинственное шуршание и сухое потрескивание навевали зависть и грусть.

Отзимовали. Солнце ломило в окна, выжигало глаза. Как ни прижмуривайся, его слепящих лучей не уберечься.

Плавился стылый быт ДПР.

Лапоть загодя пронюхал о том, что далеко за городом нам нарезали огород. Нетерпеливое ожидание кружило голову: возьмут на поле или оставят припухать в группе?

С посадкой картофеля управились без нас, побоялись, что разворуем семена. Группа разобиделась до озлобления.

— Не выпустят, запалим дом с четырех углов! — бурчал Педя, пришибленный торжественным выездом в поле вислозадой, гривастой лошаденки, которую я немного пограбил зимой. На телеге громоздились мешки с картофелем, поблескивал лемех плуга. Рядом прихрамывал приемнитский конюх-истопник.

Тужили не долго. Сажать морковку и свеклу отрядили почти всю группу, кроме меня и трех-четырех слабаков.

Для охраны посевов требовались ночные дежурства. Ночевки в поле — исключительная привилегия, о которой мечтали все. Воля всегда ассоциировалась с возможной поживой. Мечталось, что в поле можно подкопать высеянную картошку, посшибать хлебца в военном городке, просто что-нибудь найти.

Огородным раем и его доступностью правил Лапоть. До середины июня начальница запрещала ребятам одним ночевать в огородной сараюхе. Лапоть смиренно и настойчиво уламывал ее, божился, что все будет в ажуре. И она сдалась:

— Головой отвечаешь! Проштрафитесь, пеняйте на себя! Раздену и запру в группе на все лето!

Лето ворвалось к нам властно, по-доброму. Стремительно менялась жизнь, и скоро стало понятно, что самое трудное времечко переболели, перемогли.

Рухнуло затворничество. Вскрытый после зимы улей ожил, загудел, зашевелился. Нас вытряхнуло в благодатную теплынь, в зелень, в сияние солнца. Истомленные многомесячным мыканьем взаперти и тесноте, мы выскакивали наружу сразу после подъема в трусах и майках, босиком. С суматошными воплями, наперегонки неслись к реке умываться. После завтрака снова высыпали во двор, шуровали граблями, шаркали метлами, наполняли водой огромные пожарные бочки, обтянутые ржавыми обручами.

Сотня шагов от речки с полным ведром требовала огромного напряжения. Дужка обрывала руку, ушки царапали икры, вода выплескивалась на ноги. Брызги сеялись по пятам, катаясь в жирной пыли. От натуги глаза лезли из орбит, трещал хребет. Я поминутно останавливался и отдыхал, но как ни тужился, как ни надрывал пуп, поднять и перевалить ведро через край высокой бочки силенок не доставало. Приходилось со стыдом просить кого-нибудь помочь. Изнемогший, медленно возвращался к реке, черпал воду и снова старательно и безропотно тащил полное неподъемное ведро.

Вся в лаковом блеске значков, орденов и медалей приходила Маня. Золото эполет сверкало на ее округлых плечиках, уложенные на темени косички венчала драненькая кепченка с высокой кокардой. Пестрая рябь вырезанных из жести и искусно раскрашенных подделок ошеломляла. Мы окружали Маню во всем ее диковинном великолепии, с трудом сдерживая зуд в пальцах, желание потрогать слепящую мишурную красоту.

Маня заглядывала в наши лица облупленным носом, косилась на украшения, поправляла их, немного фасоня и кокетничая. Неотразимая в откровенном желании привлекать внимание и вызывать восхищение, она целеустремленно

двигалась на кухню к Жирпрому; покорять, так всех сразу!

— Цветет и пахнет! — неслось ей в след.

Глаза ее горели живым, весенним огнем, приоткрытые полные губы таили наивную улыбку, тугие груди топорщились из тесного ситца. У дикарей и помешанных одинаково естественная тяга к блестящему и яркому. Что-то глубоко родственное прет из глаз папуаса с серьгой в ноздре, с радужным переливом бисера на груди и напыщенного вождя в сиянии наград и разноцветье мундира.

Лето одаривало нас своими щедротами. Построившись парами, худосочное дпрэшное племя отправлялось в ближайший лесок за щавелем. По сторонам проселка темнела густая, заболоченная чащоба. Деревья мокли по колена в глянцево черной, неподвижной воде.

Дорога лениво взбиралась по склону песчаного бугра. Заросли редели, светлели. Мы сворачивали на торную тропинку и углублялись в лес. Тропинка вилась меж мощных стволов берез и осин, ныряла в гущу папоротников. Беспорядочные переплетения сухих корней, прорезавших землю, впивались в подошвы босых ног. У прозрачного рыжеватого ручейка дыбился замшелый валун-великан, а поодаль трухлявый пень сторожил огромный муравейник. Сквозь густую листву деревьев пробивались солнечные лучи, припекали затылки. Поляны лопушились молодой травой и, приглядев лужок позеленее, мы располагались у его края пискливым табором. Начиналась пастьба.

Я ползал на коленях по жесткому травяному ковру, торопливо рвал и жадно заглатывал кислые листочки. Они щипали горло, бередили желудок, но голода не утоляли. Осторожно, словно по наитию, отыскивал какую-то травку с сочными, белыми у корней стебельками, смачно грыз и посасывал водянистую мякоть.

Ребята набирали полные пригоршни щавеля и относили в большую плетеную корзину. Моего же терпения не хватало. Досадуя на невоздержанность, я, тем не менее, весь щавель немедленно отправлял в рот.

Сморенный полуденным зноем, я вытягивался в примятой траве, расслабленно раскидывал руки, подставляя жарким лучам торчащие ребра и острые коленки. Солнце ласкало мои хилые мощи, капля по капле насыщая каждую клеточку теплом и покоем. В синеве неба плавно колыхались и едва уловимо шелестели листвой вершины деревьев, заросли кустов полнились трескотней и свистом пичуг, и представлялось, что меня кто-то укачивает и баюкает. Постепенно мною овладевало оцепенение.

Какое блаженство валяться в истоме на пахучей траве! Лень

шевельнуться, смахнуть муравья или прогнать нудящего комара. Всплывают редкие мысли и, не задерживаясь, пропадают, — думать не хочется. Хочется внюхиваться в сыроватый запах травы, похрустывать сочным стебельком. Вялость разливается по всему телу, я забываю, где нахожусь, что происходит вокруг, но не сплю. Нежусь в сладкой дремотной одури, млею в полной прострации. И душой, и телом я ощущаю близость к траве, листьям, цветам и букашкам; я принадлежу им, они — мне, я частица волшебного, завороженного мира.

Доброта и ласковость земли, сияние небес принимают и отогревают меня в своих объятиях, вымывают из памяти лед и скверну. Целебный воздух врачует и нежит, несет обновление, хоронит тени страшных дней. Я вкушаю полной мерой безмятежность, впитываю созерцательную мудрость, чистоту и щедрость природы. Клеймо предателя не тревожит, его выжгло из души и тела сиянием сверкающего, ласкового мира.

Иной раз я скашивал глаза на воспитательниц и стайку девочек, окруживших их. Они кропотливо перебирали охапки пестрых цветов, плели венки, гадали на ромашках: придут путевки или не придут? Притомившись, негромко, в лад пели, тесно прижавшись друг к другу.

… На волюшке уж не гулять,
Угонят в дальнюю сторонку.
И буду петь и проклинать
Судьбу, судью и похоронку.

Обратно брели медленно, нестройной, растянувшейся гурьбой. Сворачивали к лесным опушкам в поисках земляники. Пиликали в свистульки из стручков отцветавших акаций. Вслушивались с надеждой в вещую ворожбу кукушки и вслух или про себя отсчитывали отмеряемые ею годы жизни.

Дома нас ждал неизменный щавелевый суп. Мы глотали его с волчьим аппетитом, как будто и не мяли в себя эту же кислую жвачку пол дня.

Любила провожать нас в вылазки за щавелем Маня. Босая, плотная, она шлепала поперед нашей «золотой роты», как проворный деревенский мальчишка перед отрядом марширующих солдат. Ее щеки лиловели, поблекшие ордена болтались на высокой груди.

При встречах с военными она переходила на церемониальный шлеп и отдавала честь. Мы тянулись следом, толкли бархатистую пыль. Прохожие останавливались, провожали знаменитого предводителя понимающими улыбками. Наша загорелая команда

врубала что-нибудь залихватское:

Маня! Я повара люблю, да, да!
Маня! За повара пойду, да, да!

Напирали на первый куплет, на повара. Все чаще за его широкой спиной проглядывала растерянная мордашка Мани, хотя обычно Жирпром никого и близко не подпускал ни к котлам, ни к хлебу. Кашеварил сам, управляясь за троих.

Лето ласкало и баловало нас благодатными денечками. Щавель отошел, осталось главное развлечение — купание. Ниже по течению реки широко разлилась мелкая заводь. Вода здесь быстро прогревалась, и сезон мы открыли рано, с конца мая.

С разбега оттолкнувшись от горбатенькой кочки, Лапоть первым бросался в воду, распластавшись в воздухе. Золотисто-зеленые брызги вспыхивали и сверкали на солнце. Отфыркиваясь, лупил на середину размашистыми саженками со звонкими пришлепами, словно вымерял ширину реки. За ним сыпалась и плюхалась разноперая ребятня. Вскипала вода, визжали девчонки. На другом берегу перекликались переплывшие туда пацаны. Покрикивали воспитатели:

— В водоросли не лезьте! Запутаетесь, отвечать за вас!

Держаться на плаву я научился за неделю-другую, но, попадая на глубину, быстро уставал. Тело наливалось свинцом, я отчаянно барахтался и, глотая пахучую, зацветающую воду, молотил к берегу.

Накупавшись, отходили в сторону и сушили на траве трусы, оголив тощие зады. Чуть подрагивала серебристая гладь воды. Вода была чистой только у широкой отмели. Справа и слева от нее зеленые листья водорослей плавали на поверхности. Их стебли покачивались, клонясь по течению, а на глубине в густых зарослях крутила воронка. Мы жевали вар, харкались, — кто дальше и точнее, — лениво болтали.

— Вода как мед, а вылезешь дерет.

— В воронку заплывешь, засосет, гадом буду!

— Шибздика вроде тебя. Мужик поздоровее вырвется.

— Нырнешь в газету и каюк! Разобьешься, как о камень!

— Газета ж тонет.

— Не сразу.

— Спорим, не расшибусь!

— Кто спорит, тот дерьма не стоит!

Солнце палило, было лень сдвинуться с места.

— У берега пиявок! До хрена и больше! Как там малолетки полощутся?

— Я конский волос видал. Вопьется в тело — хана! До сердца дойдет, как иголка.

— Жрать охота!

— Кишка кишке протокол пишет!

— Кофю с лимоном притаранить?

— Будет ли когда ржанухи вдоволь?

— Жди! Зекал на портрете? Ленин руку простер — все народу! Сталин руку за пазуху — все себе!

А в реке по-видимому была рыба, но разговоров об удочке и снасти даже не возникало.

Прибрел Педя, весь пропахший псиной, с лохматым, грязным кобелем.

— Все в порядке, Бобик сдох? — спросили его.

— Не склещить. Сучка грызется, этот согласен.

Сучка — это мать пса, которого Педя привел.

— Все одно случу. Тогда позырим, вымрут щенки или нет … Говорят, вымрут.

Солнце подкоптило наши животы и плечи, сожгло носы. Раз за разом с них сползала малиновая кожица.

После обеда мы тянулись на задворки к взорванному блиндажу с частью сохранившейся траншеи. Мы разобрали нагромождение бревен и камней, настлали сверху горбылей и фанеры, присыпали землей, оставив сбоку небольшой лаз. Внутри образовалось темное и сырое подземелье. Мы забирались туда, переполненные ощущением неуязвимости и отрешенности от опеки и догляда взрослых.

Мне было неприятно подолгу оставаться в подземном мраке, больше нравилось лазить в развалинах разрушенных до фундаментов кирпичных зданий. Руины начинались в сотне шагов за блиндажом и простирались на целый квартал к окраине города. Девственные груды красного щебня, покореженных перекрытий, хлама, сокровенные лабиринты полузасыпанных подвалов манили чем-то таинственным и многообещающим.

Мы шныряли среди первозданного хаоса, обшаривали останки одного дома за другим, откапывали стреляные гильзы и проржавевшие каски, немецкие и наши, и все находки волокли в блиндаж.

В одном из подвалов я неожиданно отрыл извоженную высохшей грязью торбу с патронами всех калибров: маленькими — пистолетными, побольше — винтовочными и такими же острыми, но еще больше, — крупнокалиберными. Ошалелый от небывалого везения, поволок я торбу к подземелью, едва не отрывая лямку. Изумляла не только сама находка, но и пользование обыкновенного холщового мешка для хранения

таких опасных и жутких предметов.

— Э, волки? Что Жид надыбал!

Педя, Дух и табунчик бывших шестерок обступили меня. Я намертво вцепился в торбу и визжал шальным матом, никому не позволяя к ней притронуться.

— Зачем тебе патроны?

— На хрена попу наган если поп не хулиган?

Я упорно мотал головой, медленно соображая, что же делать с этим необыкновенным богатством.

— На огород возьмем, с ночевой! — поманил Педя.

Я еще поупрямился, но на столь заманчивую блесну не клюнуть не мог. Да и спрятать патроны негде, все равно отберут или украдут.

С каждым днем проникали мы все дальше в глубь руин и находили больше и больше патронов, словно их там высеяли. Склад боеприпасов в блиндаже рос, и росло желание найти какой-нибудь завалящий «шпалер» и пострелять. Но нам повезло, ничего стреляющего мы не отыскали.

Мы выковыривали пули, высыпали порох и поджигали. Шипящее желтоватое пламя и пороховая вонь возбуждали в нас острое желание испробовать обретенное могущество на чем-нибудь стоящем. Пока организация пожара приемника откладывалась на более благоприятное время, мы разжигали в закоулках развалин костер, швыряли в огонь патроны и прятались за обломки стен. Костер взрывался с сухим грохотом, горящая щепа разлеталась по сторонам, пули цокали и рикошетили по камням.

Нас влекло в руины неодолимо, хотя шипы ржавой колючей проволоки и битые стекла нещадно кололи наши огрубелые пятки. Тупая, ноющая боль зреющего нарыва лишала сна и покоя, огромные волдыри вспухали на пол ступни. Я выворачивал подошву ступней наверх, расковыривал налившийся белый глаз гвоздем или лезвием, выдавливал гной. Знакомый зуд вскрытой ранки был даже приятен. Я прикладывал листья подорожника к розовой нежной кожице и безмятежно ждал выздоровления.

Пока нарыв набухал и нагнаивался, пока подживала ранка, приходилось ковылять, припадая на ногу, а то и на обе. За лето меня угораздило раз пять напороться на ржавые колючки, но отвадить от развалин эти напасти не смогли.

Иногда забредешь чуть раньше обеденного часа в гулкое запустение сумеречных комнат приемника, прошлепаешь по прохладному, непривычно гладкому полу и чувствуешь себя пещерным дикарем в заповедном, старинном храме. В глубине дома тренькнет ложка о тарелку, глухо гуднет одинокий голос, и

снова тишина …

Ночами с потолков к нам на постели капали злые полчища клопов. Мы драли ногтями пылающие бока, руки, ноги, по утрам любовались простынями, испещренными шоколадными крапинками. Их густота нарастала от одного банного дня до другого. Спалось же в родном клоповнике беспробудно и сладко.

25
Труд

Слухи о походе на торфоразработки сочились давно. Поджидали поход с нетерпением, с предвкушением новизны и надеждой раздобыть что-нибудь съестное. Мне не давало покоя всегдашнее опасение: возьмут ли? Тревожился попусту, — взяли!

Старшую группу подняли спозаранку. Похватали на скорую руку завтрак и двинули пешедралом через мост к темнеющему вдали лесу. На этот лес смотрел я подолгу прошедшей зимой, не представляя его реальности и возможности сюда попасть.

Дорога забирала в обход низкой луговины, затопляемой в половодье, к зеленеющим полям. Поля источали слабый запах сухой земли и навоза. Колеи полнились пылью. Пальцы ног утопали в ней, как в шелковистой пудре, и было приятно загребать и пускать по ветру серые вихорьки.

Путь предстоял дальний. Пустынный кривой проселок незаметно подобрался к реденькому осиннику и по его краю — к пологому холму. Лесок густел, тянулся к небу и постепенно переходил в сосновый бор, а проселок — в просеку. Стройные стволы мачтовых сосен лоснились луковичной шелухой. Было приятно шагать по холодку. Взбодренные свежестью раннего утра, мы без передыху, не покидая строя, отмахали больше половины пути. Мало-помалу поволоклись вразброд, рыская по придорожным полянам в поисках ягод или застарелых хвостиков щавеля. Ветви кустов прыскали в глаза росяными брызгами, мокрая трава окропила ноги по колена.

Солнце вывернулось сбоку из-за вершин сосен.

Мы шли, и ссохшийся желудок прилипал к спине, и в нем было так пусто, так просторно, хоть катай бильярдные шары.

Сворачивая за деревце по нужде, кто-нибудь непременно объявлял:

— «Поссым, — сказал Суворов, и тысячи херов сверкнули под забором» или «Одна кобыла всех срать заманила».

За увалом дорога круто сползала к бугристому болоту, поросшему редким кустарником. Здесь просеку устилала гать: срубленные стволы молодых деревьев плотно, в несколько рядов, уложенные поперек пути. Поверх бревнышек местами проступала мутная, бурая жижица. Когда мы ступали по шаткому настилу, она всквакивала и чавкала.

Мшистые пеньки торчали по обочинам, а еще чуть в сторону топкая, зыбкая почва расстилалась плавающим ковром. Густой

мох нежно пружинил, лаская подошвы ног. Кое-где темнели стоячие омутки теплой, заплесневелой по краям водицы. По временам в них взбулькивали пузырьки болотного газа. Жесткие кочки щетинились пучками соломенных стеблей. На кочках можно было попрыгать и послушать, как под колеблющемся травяным ковром расходятся и быстро затухают круги волн.

— Мертвая топь, — промолвил Лапоть. — Провалишься, засосет!

— Партизанский край, — уважительно пояснила воспитательница. — Гиблое место.

За болотом прятался одинокий хуторок, десяток свежесрубленных домиков, и в отдаление — пара сторожевых вышек. Пустынно, ни одного человека, только спесивые свиньи безмятежно нежились в лужах. Нас, незванных пришельцев, и взглядом не удостаивали. Мирные чушки, немного худы и грязноваты, но одного хряка с литым загривком хватило бы заполнить излишнее, сморщенное пространство наших желудков, где совершенно определенно нет жизни. Какая там жизнь, тьма тьмущая и тоскливое запустение.

С ленивых свиней если не сытая шамовка, то хоть немного развлечений. Группа пустилась седлать необъезженных, визжащих животных. Отчаянно, им в тон, вопила воспиталка.

После первого похода нам еще лишь пару раз удавалось порезвиться веселыми скачками. Свиньи быстро поумнели. Непостижимым образом учуивая наше приближение к околице, они снимались с насиженных мест и улепетывали стремительным аллюром, без оглядки, как струхнувшие собачонки. Лишь иногда нам доводилось заметить издали взволнованные крючки хвостиков зазевавшихся животных.

Мы у цели. Глубокие борозды, исполосовавшие черно-бурое торфяное болото, стлались в необозримую даль. Вспоротая земля дышала прелым сырым теплом.

Нам предстояло переворачивать подсохшие сверху пласты и подставлять солнышку пропитанный влагой бок. Неровные штабеля готового, просушенного торфа громоздились вдоль кромки взрытого поля.

Продолговатые, нарезанные поленьями комья с первого взгляда казались не тяжелыми, а работа не хитрой, вполне по силам. Так, легкая прогулка вдоль борозды. Но минут через пяток я взопрел, а через полчаса измучался и выдохся.

Полосы вывернутой земли змеились за горизонт. Горячий пот струйками сочился со лба, щипал глаза, ноги дрожали от напряжения. То на коленях, то вприсядку копался я в черном перегное, приподнимал ком и переворачивал, приподнимал и

переворачивал. Грязь облепила руки и ноги, я скользил и вяз, но как ни спешил, дело почти не двигалось. Согнутые спины ребят мелькали далеко впереди. Назойливо липли мухи, деревенели мышцы, а я все полз и полз, с безнадежным остервенением ворочая неподъемные комья.

Один за другим одолевали свои гряды ребята и блаженно рассыпались поодаль на травке. Я поминутно оценивал оставшуюся мне часть: с моим проворством с работой не справиться, из проклятого болота не вырваться.

Солнце нещадно жгло затылок, плавились мозги. Знакомая боль плескалась в висках, горело горло. Ребята давно покончили со своими нормами и уползли с солнцепека в тень. Может передохнуть? Нет, все ждут. Я бился как чумной, толок коленями жирное месиво, тягал и тягал мокрые пласты.

Иногда мне кричали, и я едва разбирал:

— Не волынь! Жрать охота!

— Шевелись, глиста вяленая!

— Будет мудохаться!

Черный с головы до пят, как навозный жук, ковырялся я один на огромном поле. Два переступа на четвереньках, упор ладонями в пласт, нажим, переворот; еще два переступа, еще переворот. Болезненное напряжение нарастало, становилось непереносимым. На подмогу надежды нет, в нашем стане такое было не принято.

Здесь, на этом неоглядном торфянике я впрягся впервые и впервые познал, что такое есть физический труд, как может он быть горек и сладок! Никогда после труд не был столь непосильным и таким желанным. Увильнуть, остаться в приемнике граничило с униженным признанием своей слабости, своего малолетства и, следовательно, незаконности каких-либо притязаний на равноправие. Я никогда не отлынивал и прилежно тянул свою лямку.

Конец, домучил. Ковылял обратно вдоль борозды, обессиленно покачиваясь. Пятки чамкали и разъезжались в грязи, осклизлое месиво продавливалось меж пальцев ног. Разъеденные слезами и потом пылали глаза и щеки. Быстро подсыхающая грязь стягивала кожу.

Меня заждались, и передыхом не пахло. В изнеможении свалился я на траву, но отдышаться не успел.

— Айда!

Группа снялась и пошлепала прочь от мерзкого болота.

— Марш, марш!

— Пешком за пайком!

— Дрянь работа! Идешь домой, а прихватить нечего!

Возвращение прошло как в тумане. Потный, обалдевший, не

замечал я ни свиней, ни трясины, ни косогорья. Волочился в хвосте, оступаясь и припадая на обе ноги, а приотстав, стискивал зубы и сбивчивым, неверным скоком нагонял ребят. Не было моченьки поднять руку и смахнуть пот; только бы дошагать, не отстать. Хотелось рухнуть под куст и заснуть.

Пришел в себя на следующее утро, ощущая острую ломоту в натруженном теле. Поясница не разгибалась, кулаки не сжимались, гудели руки. По лестнице не сходил, сползал, повиснув на перилах.

Но боль не была донельзя в тягость. Я знал, что крепну, становлюсь сильнее, и в следующий раз справлюсь с заданием не хуже других. Самовнушение это вселяло отраду и удовлетворение.

Гоняли нас на торфоразработки нерегулярно, раз-два в неделю. Мы ворочали мокрые пласты, либо складывали штабелями уже высушенные. Продолжались походы до затяжных августовских дождей.

Лето было в разгаре, и мне не терпелось ухватить за хвост огородного счастья. Удобного случая не представлялось долго.

— Едешь дежурить, — как-то снизошел до меня Лапоть.

Теплый ком подкатил к горлу: сподобился милости. Чувству благодарности не было предела.

Отужинали и, прихватив одеяла, погрузились в длинную колымагу. Вислозадая кляча размеренно и степенно пошла к полевому стану. Мы сидели по краям телеги, болтая ногами, и мне с трудом верилось, что примазался к такому взрослому и избранному сообществу.

Добрались засветло. Лошаденку стреножили и пустили пастись на ближний лужок. Ребята поливали гряды, я таскал сушняк для костра: хворост, старые доски и плетни с пепелищ сожженной деревни, огороды которой и нарезали приемнику под посевы.

Нескончаемые июльские сумерки лениво ползли с востока. Густела синева небес. Бархатистая тьма опускалась на поля и дальний лес. С реки подбиралась прохлада.

Запалили костер. Сухое дерево занялось ярким, белым пламенем. Постреливали, попыхивали искры и, взмывая вверх вместе с дымом, гасли.

После тряской дороги очень хотелось есть. Нетерпеливым взглядом шарил я по грядам моркови, красной свеклы, лука. Урожай не созрел, но чувство близкой поживы не гасло ни на миг. Съедобными оказались молодые завязи свеклы.

— Нашу не тронь! — предупредил Лапоть. — Вон чужая, рви

до уздечки!

Я пополз по грядам, выщупывая, как кур, полуналитые хвосты и набивая ими карманы. Обмыть терпения не хватало. Я обтирал их лопухом, глотал и глотал, раздирая горло. Свекольное изобилие ошеломляло, и с пустым желудком не было сладу. Под зубами хрустел песок, от неаппетитных, сладковато-противных клубеньков вязало язык и весь рот.

— Хрена ль пакость сырую жрать? Погоди, напечем! — умерил мой пыл Педя.

Побросали свеклу в костер, накинули на плечи одеяла и расселись вокруг огня.

Саднило исцарапанное горло. Недозрелые плоды взбухающим комом вспучивали желудок. Я полизывал сухие губы и раз за разом жадно припадал к колодезной бадье, лакал студеную, обжигающую воду. Боль не утихала.

Голод мутил разум: свеклы прорва, нужно есть, не теряя времени. Когда еще такое представится?! Под носом была еда, и трудно было не потерять власть над собой, не подчиниться могучему велению брюха.

Прутиком я выкатил из костра подпаленный сверху, но сырой изнутри, плод и нетерпеливо рванул его зубами.

— Гужуйся от пуза, Жид! — жмурился довольный Лапоть. — Помни свекольный рай!

Распухший язык распирал рот, давила отрыжка, но пока не умяли всю горелую свеклу и желудок не наполнился до предела, успокоение не наступило.

Прибрела ночь. Яркие звездочки золотистыми зернами разбежались по небу. Оранжевая луна с объеденным боком одиноко плыла в центре сизоватого туманного нимба. Временами жиденький дымок костра тонкой паутиной наползал на нее, и тогда ее сиротский лик слегка покачивался, окутанный прозрачной, колеблющейся кисеей.

Мятущийся свет пламени разрывал посеребренный полумрак обступившей нас ночи. Сухим жаром припекало руки, обдавало лицо. Закутанные в одеяла ребята застыли бесформенными изваяниями. Подрагивающие, красноватые отсветы костра плясали на их лицах.

Педя запел. Давно неслыханное, тягучее нытье захватило нас:

Звенит звонок, идет поверка.
Монтер задумал убегать.
С трудом поверки он дождался и
И стал проворно печь ломать.
Сломал он печь, сломал вторую,

Залез на длинный чердачок.
По чердачку он долго шлялся,
Себе веревочку искал.
Нашел веревку, тонку, длинну,
К трубе тюремной привязал.
И потихоньку стал спускаться,
А часовой, растяпа, спал …

Сорвалась звезда и, светлячком во тьме, стремительно ринулась к земле.

— Куда улетают падучие звезды? — спросил кто-то.

— В море, наверное, или в океан.

— Это душа покойника отлетела, ей Богу!

— Брехня! Если б по мертвецам звезды сыпались, опали бы все давно. Доходяг в печах жгли миллионами, — ни одной не свалилось! — заявил просвещенный Педя.

А мне подумалось, что, быть может, мирно помаргивающие звезды — это крохотные отверстия в сказочное царство, озаряемое немыслимо ярким солнцем.

Неподалеку в кустах всвистнула спросонок птица. Ее крик резко прозвучал в ночной тиши.

Ребята пели еще, а когда примолкли, я стряхнул дремоту и глянул в костер. Пламя опало. Лениво поплясывали чахлые огненные язычки, долизывая черные головни. Неверное мерцание догорающего костра высвечивало беспорядочную картину коллективного сухоблудия. Развлекались бесстыдно, не таясь, и это идиллически-открытое зрелище коробило и немного пугало.

— Что на отшибе, Жид? — осклабился похотливо Педя, почуяв чужой взгляд. — Чураешься?

Я поплотнее завернулся в одеяло и на мгновение пожалел о своем опрометчивом поступке: ночевка в такой компании могла кончиться плачевно.

— Он мал и глуп и не видал больших залуп!

— Малолетка, в жопе буй, во рту конфетка!

— С зимы удлинился, в ботву пошел.

— Ништяк, год-другой, — и будет наяривать вместе с нами.

— Если с голодухи здесь не дойдет.

— А жиды импотенты! — ляпнул кто-то.

— Мура! — со знанием дела возразил Педя. — Евреи и негритосы плодовиты как кошки.

— Сотворить бы помесь жида и черномазого.

— Наш херштурмфюрер собирался после войны негров блондинистых разводить!

— Может блондинистых жидов?

— Не, с жидами у всех вражда кровная: их в печь, на истребление!

— Жиды неистребимы! Этого Горбатый пырял, пырял — и ни хрена! Жив!

Евреи были охаяны, вознесены, а не полегчало.

— Сюда б дешевку с бешеной маткой!

— Думаешь сладишь? Ей нужен знаменитый, как у Петра Первого, в двенадцать спичек!

— На плечо закидывал?

— Свист!

— Ей-ей! В задний карман прятал.

— Марухи достало б на всех.

— Сиповка старая! Щекотурится, будто честная!

— Съезжала в общагу, от радости сияла как медный жбан. Будто не ее кодлой шморили!

— Маньку-дурочку бы!

— Не даст! Шалава рябая, любит жареное! От кухни ни ногой!

— Говорят, Сталину омоложение сделали. Вживили обезьянью железу.

— Этот тоже до баб не промах! Двести лет проживет.

— И слава Богу! Что Россия без Сталина? Захиреет!

Разговор перекинулся на другое.

— Пора рвать когти. Обрыдло здесь, да и все сроки прошли, — то ли неуверенно, то ли задумчиво промолвил Педя, словно уговаривая самого себя.

— За Горбатым на юг похряешь?

— Не, попру к «куколкам» на острова.

— Это которые без рук, без ног?

— Ага. Сытно и не хлопотно. Там всегда санитары требуются!

Помолчали.

— Раскинулись ляжки у Машки! — трубанул кто-то на известный мотив.

Компания подхватила разнузданно, громко. Непотребная песнь взвилась над костром и умчалась в густой мрак застыдившейся ночи.

Я наглодался свеклы и накачался водой сверх всякой меры. Непережеванные, шершавые куски подпирали ободранную глотку. Рот заливало горечью, слегка познабливало и поташнивало. Хотелось выплюнуть съеденное. Слабость наваливалась все сильнее, расползалась изнеможением и тяжестью по всему телу. Тянуло залечь в родную вонючую постель и не двигаться.

Я поковылял в сарай, выбрал на ощупь местечко и залег.

Острая боль в желудке прервала мой сон. Лихорадило. Голова пылала огнем. Абсолютная темнота ограниченного пространства сдавила ужасом, — не вдохнуть, не выдохнуть. Чей-то негромкий храп приободрил меня, и на обмякших, ватных ногах я потащился к выходу, задевая лежащих вповалку ребят.

От одинокой головешки, дотлевавшей в черном кругу, вился тонкий дымок.

В нетерпении стаскивая на ходу трусы, воссел в борозде. Из меня хлестануло, как из трубы …

С пол пути к сараю завернул обратно. Снова понесло, неуемно, мучительно. В воспаленный мозг заползала тьма, о возвращении в сарай и не помышлял. Обессиленный, путаясь в спущенных трусах, отдыхал в борозде между очередными позывами. Ледяной змеей скользнула мысль: здесь, вдали от взрослых и докторов, не спастись! Разрывая тишину ночи, я оглушительно, во всю мочь, завопил. В дверях сарая забелело лицо. Я призывно заныл и позвал на помощь.

Послышались голоса:

— Жид загибается!

— Обожрался, мозгляк занюханный!

— Жадность фраера сгубила!

— Ничего, до утра погодит.

— Срать и родить нельзя погодить!

Последнее, что дошло до распадающегося сознания, был решительный крик Лаптя:

— Лови кобылу! Гоним в город!

На этот раз длительная отсидка в изоляторе истомила меня. С утра ребята правили в лес, на реку, на торфоразработки. Я с завистью глазел им в след, отлеживаясь в скукоте и одиночестве под неусыпным надзором местных клизматологов. Всей душой я жаждал возвращения в группу.

После болезни меня окрестили новым, Бог весть которым по счету, прозвищем: Кровянка!

26
На второй виток

Старшая группа редела. Несколько рядовых шестерок были опознаны как беглые колонисты и водворены на свои прежние места. Пришел приказ: всех воспитанников четырнадцати лет и старше спровадить в ремесленные училища. Первая партия отбыла незаметно, без проводов и напутствий. По дороге сорвались все до единого.

— Наблатыкались, сволочи! — плакалась эвакуаторша по возвращении. — Подрали с голыми задами. Могли и из ремеслухи сбежать. Обутые, одетые, в форме, в шинелях!

Зов воли! Твой сладостный яд унаследовали они как роковую болезнь, пелена твоей благодати затмила им рассвет. Плевать им было на настоящее и будущее, на неминуемость порочного круга отсидки в новых правилках, на трезвые мысли и порушенную жизнь!

Зов воли! Твой сладостный яд настигает внезапно, и обесцениваются трезвые устои налаженной приспособленности, их бремя распадается, как карточный домик. Казавшиеся здравыми цели и ценности превращаются в прах. И только зов воли повелевает созревшим разумом.

Повезло Педе. Из военного духового училища прибыл маэстро за талантами. Вскрыли пианино. Маэстро, губатый, обрюзгший старшина в мятом кителе, торкал пальцами-сосисками в клавиши и вопрошал:

— Сколько?… Какие? … Повтори! …

На бледного, дрожащего Педю было жалко смотреть. Я и не подозревал, что он может так волноваться. Он торопился с ответами, сбивался, а под конец пустил слезу и жалостливо пролепетал:

— Еще разок испытайте?! Я знаю, просто смущаюсь. Я и петь умею. Может послушаете? Возьмите, не пожалеете!

Старшина хлестанул по клавишам всей пятерней что-то бравурное, хлопнул крышкой и заключил:

— Не блеск. Так, на троебанчик … Но, пожалуй, беру! Собирайся!

ДПР распрощался со всеми своими признанными знаменитостями. Из косячка разбитных шестерок, верных выкормышей Николы, уцелел один Дух.

Ряды старожилов заметно измельчали. Процеженные сквозь возрастное сито остатки старшей группы обрастали пополнением.

Как мотыльков с опаленными огнем крылышками, сносило к нам опаленную временем молодь. Четырнадцатилетних больше не присылали. Понавезли много детей почти ясельного возраста. Брат перебрался спать ко мне.

Среди новичков я нередко отличал соплеменников, но тяга к сближению подавлялась страхом пробудить подозрительность и неприязнь группы, вызвать всплеск открытой вражды. Я сторонился сомнительных физиономий и фамилий, покорно, в одиночестве волоча привычное бремя неправедного отщепенца.

Скоротечны летние дни ущербного северного лета. Августовская теплынь внезапно ломается. Сквозь невидимую небесную щель прорывается безобидный свеженький сквознячок. Спрятавшись за серую поволоку облаков и нудную морось, он рыщет окрест, шершавит водную гладь, будоражит и треплет густую листву, теребит травы. Осень и не мерещится. Не впервой наползает ненастье, занявшийся дождишко кропит землю, вызванивает по лужам. Разбегутся тучи, выкатит солнышко, и спастись от его жарких лучей можно будет только в реке.

И дождик стихает, встрепанные облака исчезают вдали, но на берег не хочется — прохладно. Может быть воздух прогреется, и мелкая заводь неудержимо поманит нас? И становится тепло, и мы подаемся к пустынной отмели, топчем подсохшую сверху пыль и липкую траву. Но купаться не тянет — не жарко. Свеженький сквознячок поласкал поверхность реки, посек ее стылыми струями и — пусть солнышко ярится — возвращения ласковых дней не жди. Вода потеряла манящую теплоту, зябко струится мимо, отливая ртутными бликами.

Приняли новую воспитательницу, — поджарую пигалицу, перетянутую солдатским ремнем поверх выцветшей гимнастерки, с пластмассовыми блямбами-сережками на мочках ушей. Личико худенькое, над ним кудряшки мелким бесом, видимо по случаю поступления на работу. Потом, в будни, пошли жиденькие косицы. Мы отнеслись к ней безучастно, как и ко всем ее предшественницам.

— Еще одну нам на голову. Зиночкой кличут.

— Сбежит, вострушка лягавая!

— Месяца не протянет, пайкой клянусь!

— Доходная, ни письки, ни сиськи!

— Говорят, в разведке служила.

— Цыпа в разведке!

Кличка не прилипла. Взрослых величали по кличкам только за глаза, а Зиночка с первого дня засела в группе, не чураясь ни старших, ни младших, а молчаливому, необщительному шкету

как-то пропела:

— Что набычился? Я ж любя спрашиваю.

Это «любя» прямо оглушило. Кто услышал, обомлел! То ли смеяться, то ли плакать над подзабытой святой невинностью?! Заводить с нами разговоры о любви в этом доме никому в голову не приходило.

— Без мыла лезет, — решил Дух.

Раза два-три в приемник заглядывал военный, зиночкин ухажер. Но потом это дело у них заглохло, Зиночка осталась одна. У нее не было своего угла, своих занятий, лишь койка в общаге. И вечерами она не спешила покидать ДПР.

Осенние заботы сосредоточились на заготовке картофеля. Без картохи — не жизнь! Наковырять ее себе на прокорм — дело святое, непреходящее.

Скороспелке с собственного огорода дозреть не дали, выкопали к концу лета. В сентябре наладились на уборку в совхоз. Всем приемником, вместе с начальницей, воспитателями и даже Жирпромом выползли на истерзанное поле. Кривые борозды полнились водой. Забрести туда отважилась только Зиночка. В линялых офицерских брючатах, в хромовых сапожках, она увязла в глубокой грязи среди жухлой ботвы и, растерянно хлопая ресницами, неустойчиво покачивалась, пытаясь удержать равновесие.

Хмельной, с плотоядно-лукавым прищуром взгляд Жирпрома пристыл к ее заду:

— Закопалась до ентой точки! … Ничо! Работенка не пыльна!

Тяжело оседая мощным гузном, он вытащил и вынес на сухое место сперва Зиночку, потом ее сапоги.

Совхозное начальство смилостивилось и осчастливило приемник другим участком, посуше, неподалеку от воинской части. В полдень в клубе этой части врубали музыку. Мы поднимались с колен, распрямляли онемевшие спины. Веселая мелодия взмывала над полем, будоражила приуставших тружеников. Мы забывали о лопатах и ведрах и, сначала несмело, потом увереннее принимались выдрыгивать руками и ногами дикий, неповторимый танец околдованных волей птиц. Поле вскипало разноголосыми вскриками, грязь летела из-под промокших подметок, а мы плясали назло всему свету. Чумазые, усталые выбрыкивали и кривлялись раскованно и беззаботно.

И, конечно, вечерами пекли молодую картошку.

Осенью нам постоянно перепадало съестное. За картофельной полосой последовала довольно продолжительная капустная. Нас пичкали вареной, жареной, пареной и квашеной хряпой, а сырым кочешком можно было разжиться тайком из

общественных закромов.

В подвал под веранду ссыпали несколько подвод капусты. Одна из ступенек крыльца сдвигалась, образуя узкую лазейку. В эту пропахшую плесенью сырую нору мы и повадились вечерами.

Муравейник затих. Зиночка в последний раз обошла спальни и уныло убрела восвояси. Я перевалился через подоконник и, всем телом прижимаясь к обшивке дома, прошел по карнизу на крышку сеней. Водосточная труба свисала отсюда в пожарную бочку. Бочка была полна воды, на поверхности которой закисала зеленоватая ряска, присыпанная мелкими пестрыми листочками.

Труба шаталась и скрежетала, и сползать по ней было боязно. Навернуться в тухловатую, стоячую муть ничего не стоило.

Протиснувшись в гнилостную сырость погреба, я нашарил пару вилков потверже и поспешил обратно; засекут, нахлобучкой не отделаешься! Карабкаться на крышу с грузом за пазухой и красться по карнизу к окну было опасно. Приходилось локтями придерживать кочешки, рискуя в любой момент загреметь вниз и сломать шею.

Меньший из похищенных кочнов я отнес сестренке. С другого сорвал грязные листья и, ломая горстями, принялся за позднюю трапезу. Проснувшийся брат не отставал от меня, смачно похрустывал, вгрызаясь в сладкую, сочную мякоть. Кочерыжка досталась Толику. Он побаивался высоты и не решался лазить по карнизу.

Зимой мы несколько раз батрачили в овощехранилище или, как мы выражались, в гноевонилище. Вынести оттуда что-либо было не просто, обыскивали. Работа не только скрашивала безликие дни, но и приобщала ко всем стадиям превращения волшебных клубней в вонючее месиво. Во всяком случае, нас подпускали только к нему. До плясовых номеров, как на поле, здесь не доходило, а пели частенько. Тянули что-нибудь беспросветно унылое:

Вот привалишь в лес, темнота кругом,
Темнота, ничего не видать.
Поплюешь в кулак и начнешь втыкать,
Ну и жизнь наша, так твою мать!
Технорук придет, вымерять начнет:
— Сотню кубиков надо вам дать.
Как подумаешь: сотню кубиков!
Эх, начальничек, так твою мать!

Непроспавшаяся, недавно амнистированная нормировщица лениво правила табунчиком жуликоватых филонов. Покосится

подозрительно, прогундосит:

— Шевелись, вярбованные! Урки дурножопые! Не отпушшу домой до полтретева!

Но пожалеет, отпустит. И наддадим ходу, и возрадуются самые смелые, схоронившие за пазухой леденящее жидковатое гнилье. Подпеченное в золе, оно проскальзывало в желудок горячим рвотным порошком.

После посещений гноевонилища трудно было представить, что бывает и не гнилая картошка. И пока она заболевает и сгнивает, не выздороветь и нам.

А безликие дни текли, как воды ленивой речушки, заплутавшей среди болот и неотличимой от них.

Многое отошло с прошлой зимой, и только дикое матюгание пристало неистребимо. Брань казалась естественной, она обволакивала речь, рвалась и хлестала из каждой фразы. Изгои вооружились отвергнутым языком и поднаторели в искусстве бряцания им. Недавно прибывший мальчишка, тихоня и молчун, неожиданно хмуро оборвал мое трескучее щебетание:

— И что ты все время лаешься?! Жуй, жуя, жуля, жуйня!

Меня озадачило его раздражение, но скоро неуемное похабное фонтанирование обернулось серьезной неприятностью. Я разучивал стишок и машинально чирикал карандашом по листочку с текстом, а праздничным утром был пригнан в канцелярию. Перед начальницей лежала злополучная бумажка со стихом, где меж строк была накарябана гремучая брань. Зиночка, согнувшись надо мной, возмущенно ругалась, бренча медалями и с трудом сдерживая незаменимые, рвущиеся из глубин души, горячие слова. Начальница, придавленная запавшим ей в голову единственно понятным из всех педагогических премудростей и воззрений: детей не бить, грозила:

— В колонию упеку! Стервец! О детдоме и не мечтай! От одних бандитов избавились, так новые подросли! Без обеда, и раздеть на неделю!

Отбывать это стандартное наказание стало труднее, чем прошлой зимой. Тогда раздетому дозволялось завертываться в простыню, воспитательницам было зазорно созерцать мужское естество почти зрелых парней. Теперь группа измельчала, и ангельская срамота восьми-двенадцатилетних мальчишек никого не волновала. Нам, оголенным бедолагам, чем-либо прикрываться запретили.

На линейке голопопым ослушником вталкивался я в середину строя, втягивал живот и зажимал ладошкой холодную, едва

приметную пипку. Красуешься на весь белый свет, шныргаешь затравленно зенками, — скорей бы в столовку, за столом все не так конфузливо и открыто. А из малышовой группы лезет наивный девчачий нос, зыркают то ли насмешливо, то ли недоуменно синие глазки. От жгучей стыдобушки подмывает из последней шкуры выскочить. Линейка застаивается, Зиночка не спешит, не телится. Поучает старосту, вещает что-то, как поп с амвона. Пообвыкла, голенький доходяга ее не смущает, а возможно тешится назло.

Мотанешь линейку, останешься без обеда. Собственное достоинство или голод — выбирай! Попробуй не сломаться! Деваться некуда, нужно терпеть. Бегут дни, смотреть по сторонам отвыкаешь, но давящая боль позора каждый раз пылает свежим ожогом, внутренняя муторность не притупляется. Даже после отбытия наказания кажется, что все воспринимают тебя только в голом обличии.

Со временем костлявая, бледно-синюшная фигурка падшего ангела становится отличительной приметой группы. Бывало, и две-три голых спины посверкивали среди серых, казенных рубах.

Помнится, повзрослел я за лето. Нагулять тела не удалось, но удлинился несуразно и догнал ростом многих ребят постарше, выделяясь лишь непомерной худобой.

27
Мирные будни

В темной безоконной кладовке оборудовали сушилку. Раз в неделю, навьюченные мокрыми матрасами, штрафники шествовали туда, как сквозь строй, мимо взрослых и детей, готовые провалиться от унижения и позора. Интимная неприятность обернулась, по воле милосердия, срамотой, похлеще стояния нагишом на линейке. Чудилось, что нам в спины шепчут брезгливо:

— Ссули гороховые!

Вынужденный постоянно напоминать окружающим о своей подмоченной репутации, я совсем было сник, обреченно и мнительно размышляя о будущем. Неожиданное избавление пришло в образе скрюченной и сморщенной старушки-врача. Назначенное ею зелье по-видимому было настояно на змеином яде с дустом, горчицей и перцем. От него все нутро рвалось наружу. В глубине души я сомневался в возможности полного исцеления, но — одно к одному, хуже не будет — решил перестрадать и вылакал целую чекушку прописанной отравы. И свершилось чудо! Хворь ушла. С трудом верилось в столь простое и быстрое исцеление от напасти, принесшей столько неприятностей.

Как прошел второй год в приемнике? Наверное наша маята немногим отличалась от жизни вольных детей послевоенных лет. Мы не учились, и поэтому досуга — хоть отбавляй! Но дни чем-то полнились.

Нам не доставало так многого, что имевшееся можно и перечислить. Вспоминается всякая ерунда вроде маялки и фантиков, чехарды и шашек. Собственно шашки нас занимали мало. Больше нравились поддавки или волки и овцы. Знали мы и несколько видов игры в уголки; однако всем им предпочитали бои в щелчки. Пулять шашки можно было до бесконечности, отщелкивая ненужные, пустые денечки. Но, как и прежде, комплект шашек был единственным, что иногда приводило к ссорам.

С холодами, как эпидемия, разразилось увлечение маялкой. Маялка представляла собой клок овчины с заячий хвостик, к которому цеплялось сплющенное грузило-свинчатка с полтину. Маялкой жонглировали, как футбольным мячом.

Приобщить нас к игре пытался еще Никола, владевший виртуозным искусством безостановочного подкидывания маялки

и правой ногой, и левой, и тыльной стороной ступни, и внешней. Вытанцовывал враскачку до одурения. Когда был в ударе, нагонял сотни очков без передышки и даже настропалился в трюкачестве: перебрасывал маялку через голову. Играть Никола соглашался только на пайки и партнеров себе не приискал, поскольку перещеголять его никто не мог. Теперь любой из нас имел возможность подрыгать ногами вволю. Поднаторели многие, но равного по мастерству Николе виртуоза не вытренеровали.

Нескончаемый полет маялки, как бы привязанной невидимой нитью или притягиваемой магнитом к ботинкам самых заядлых и сноровистых игроков, привлекал зрителей со всех групп. В одном из углов зала вокруг топтавшегося с маялкой пацана всегда табунились и гомонили болельщики.

— Доиграетесь! Килу намаете, оболтусы несчастные! — иногда ворчали воспитатели, по-видимому довольные тем, что мы находим себе хоть какое-нибудь занятие.

С маялкой и дни ковыляли вприпрыжку. Вышибешь тысчонку очков, глядишь, скоротал денек.

Порядки ДПР порасхлябались. Двери загонов стояли распахнутыми настежь, мы болтались из группы в зал, как неприкаянные. Да и не уместиться было всей старшей группе в одной комнате. Бестолковой разноголосицей полнился дом.

По-прежнему превыше всего ценился хлеб. С порога столовой я хватал взглядом свою порцию, — вот бы горбушка, хрустящая, с черной запекшейся корочкой. О ней мечталось, как о награде. Удача порождала такое удовлетворение, что на время пропадало вечно тлеющее голодное недовольство.

Мизерный, на пару укусов пластик непропеченного, ноздреватого хлеба с эфемерным довеском лежал рядом с моей мисочкой. По ее зашкрябанному донышку тонким слоем размазалась липучая перловая каша. Главное — хлеб; его жалкий вид вызывал обиду и вымученное каждодневним опытом предвидение: после еды голод займется жгучим огоньком и уже не потухнет.

— Здесь не будет ста пятидесяти грамм! — испуганно возроптал я. — Взвесьте пайку!

Запотевшее кухонное окно тускло светило сквозь пар и чад. Сальная, обрюзгшая морда тяжело сопящего Жирпрома с черпаком в руке надвигалась на меня. Совершенно красные, как у взмыленной лошади, глаза его и дрожащая капля на кончике волосатого носа вызывали отвращение.

С деланным недоумением и скрытой настороженностью он оглядывал меня, полизывая розовые, мокрые губы. Он видел меня насквозь со всем моим отчаянием, смятением и страхом. Наконец,

небрежно швырнул хлеб на весы. В куче разновесок всевозможных форм и размеров высмотрел самую маленькую черную гирьку со стершимися цифрами и брякнул ею о другую чашу. Хлеб оказался тяжелее! Повар снял довесок: затрепетав, чаши уравновесились.

— Ну, блажной привереда? — с напускным добродушием и миролюбием тряхнул он зобом. — Даже больше. А ты скулишь!

Струйки пота змеились из-под его колпака, неведомые чувства боролись во тьме его плавящегося мозга. Он поколебался, потом решительно сунул мне ломтик, а довесок бросил на стол.

— Не хотел все трескать! Хватай, что положено, и катись!

Его смрадное дыхание и откровенная наглость вздымали во мне чувство паничесого бессилия. Сердце зашлось в безудержном скоке, стало не до хлеба, не до выяснения.

Неспособность уличить жуликоватого мужика бесила нас. Мы отыгрывались в группе, поносили вываренную баланду, не стесняясь Зиночки, горланили:

Пролетают ложки, следом поварешки,
В стремени привстала кочерга.
Подтянув порточки, да вылетают бочки,
Жирные обжоры-повара!
В бой за кашицу! В бой за манную!
Нам тарелка супа дорога!
Дети тонкими бьют ножонками,
Но зато толстеют повара!

По временам Жирпром выплывал из кухни и лоснящимся блином подкатывал к Зиночке. На грузном лице его кривилась пошлая, маслянистая ухмылка, красные бельмы искрились и пучились. Он игриво касался зиночкиного плечика, льнул к ней упругим бедром и, закатив зенки, шаловливо изрекал что-нибудь высокое:

— Шахиня!

Возвращаясь, скалился и незатейливо мурлыкал:

Цветок душистый манит,
наверно он обманет …

Рядом с изящной, миниатюрной Зиночкой он выглядел нечистым и безобразным чудовищем, а ее спокойная невозмутимость, граничащая с приятием вульгарных поползновений, вызывала недоумение а, возможно, ревность.

Из кухни доносилось:

— Пончик! … Перчик!

В глазах Духа мелькнула искорка сумасшедшего:

— Зафитилить бы эту бодягу ему в нюх!

— Разбух, падла, от обжорства! Скоро хрюкать начнет!

— Он бухой в усмерть!

— Мало ему Маньки, и эту уламывает!

Вечерами смаковали шуры-муры Жирпрома со всеми приемнитскими дамами:

— Падок до баб!

— Зиночку охмуряет. Как ей не противно!

— Что ей остается? Мужиков на фронте поубивало.

— С Марухой еще при Николе столковался. В кухне тискались.

— Маньку на сеновал тягает, сам видел.

— Сломал целку дуре!

— Вот вам и не от мира сего!

— Оформил ее Жиопром, ей, ей! Округлилась!

Зимней ночью пронзительный крик тети Дуни возмутил наш покой.

— Робя! Бежите за фелшером! Маня кончается!

Сломя головы ринулись мы из спальни и обвалом посыпались с лестницы. Прогибались и трещали перила, шатались и скрипели ступени.

В столовой толпа полураздетых пацанов сгрудилась у открытой двери на кухню, не решаясь туда войти. Я подоспел последним и заметался за спинами, вставая на цыпочки, нетерпеливо подергиваясь и вытягивая шею. На полу кухни в темной, огромной луже крови сверкали белые икры маниных ног. Незнакомая черная старуха обгорелым пнем замерла у плиты. Маня жалобно мычала. Я весьма смутно представлял произошедшее, только перепуганно соображал, что же нужно делать.

Кто-то умотал за помощью, а старуха бормотала в отупении:

— Не виноватая я, вот те крест! Не виноватая! Ненормальная! Разве можно, брыкаться в такой момент!

Примчавший на широких розвальнях огромный мужик в белом халате поверх полушубка невозмутимо сгреб охающую Маню вместе с ее мужским пальтецом и понес к саням. Кровь сочилась к нему на халат и на пол, и было страшновато и муторно.

Утром стало известно, что Жирпром тоже подзалетел в больницу: то ли с радости, то ли с перепугу напился до озверения и едва не захлебнулся в собственной блевотине. Насилу откачали. В ДПР он не вернулся.

Несколько дней варево было вполне съедобным, во всяком случае в чем-то новым. Начальницу грозили вытурить, но временно оставили. Ходили слухи, что она собирается увольняться. Она почти не покидала канцелярии и на Зиночку кричать не смела. Через неделю Маня, как ни в чем не бывало, ошивалась у базарных ворот.

Небеса без устали трусили снегом. Но пара уцелевших ватников оставляла мало надежд на прогулку. Дрова поколола и сложила высоченными штабелями бригада инвалидов-шабашников. На нашу долю перепала самая малость: утрами разнести охапки поленьев ко всем печкам.

И в зале, и заглядывая к брату и сестре, я часто видел новенькую девочку, привезшую с собой несколько книг. Она подолгу читала, приладившись где-нибудь у подоконника.

— Интересно? — поборов робость, однажды полюбопытствовал я.

— Это «Пятнадцатилетний капитан». Дать почитать?

Смотри, какие здесь картинки.

Я слушал ее пояснения к выразительным, полным жизни и чудес иллюстрациям и не мог сдержать волнительной, неодолимой тяги к этой книжонке в зеленом переплете. Картинки завораживали. Сколько притягательной новизны проливалось с них: корабли и штормы, джунгли и охотники, негры и крокодилы. Меня неудержимо поманил незнакомый мир увлекательных приключений, в котором жили герои и который не дано постичь, не прочитав книги.

Рассматривание картинок поглотило все внимание, я не замечал никого вокруг. Внезапный наскок Духа окатил холодным и грязным душем:

— Жидик в книгах ни бельмеса! Читать не умеет! Ни бе, ни ме, ни кукареку!

Он держался агрессивно и презрительно, как в старые темные времена.

— Умею!

— Сразу!

— Отвали! — У меня пылали уши и дрожали пальцы.

— Прочтешь, вернешь, — мирно сказала девочка и, одарив улыбкой, деликатно покинула нас.

— Дай позекать! — бесцеремонно потянулся задиристый Дух к книге.

— На затычку, вытри нос! — озлобленно и раздосадованно окрысился я.

— Жахну! — угрожал он и тащился следом.

— Отстань, ты!

— Тебя тыкали коты да потыкали кошки на кривой дорожке! — допекал навязчиво Дух.

У кого другого он бы давно отобрал приглянувшуюся ему вещь, но со мной по старой памяти обращался деликатно. Я уперся насмерть:

— Не дам!

— Жид-еврей, сдохни поскорей! — канючил он, очумев от безделья и скуки.

— Вали к …

— Нечем крыть, полезай в нее картошку рыть!

— Полезай сам! Ну!

— Гну!

Очень содержательные разговоры и пререкания случались у нас. Я отходил, отворачивался, но избавиться от нудных наскоков не мог. Доводила придвигался и в упор, неотвязно брюзжал:

— Недорезанный! Поносник! Кровянка!

Ярость охватила меня. Первым, что попалось под руку, а это был пузырек с чернилами, дробалызнул я безмятежного Духа по башке. Густая, темно-фиолетовая жидкость залила стриженое темя, попала в глаза, рот и нос. Дух ослеп и завопил, как ошпаренный, перепугав и меня до дрожи.

Чуть опомнившись, он вспылил и с криком: «За кровянку не отвечаю!» с размаху воткнул вставочку с пером в мою руку пониже локтя и резко дернул.

Неловко пригнувшись, я высасывал кровь из темной, продолговатой ранки, будучи уверенным, что мы квиты и скандал исчерпан. Дух хлюпал сиреневыми соплями, сквернословил и, вытираясь подолом рубахи, лиловел на глазах ровнехонько, без просветов.

— Параша психопат! … Сексотина! … Век не прощу!

Я взглянул на него сквозь непросохшие слезы и внезапно зашелся нервным, испуганным гоготаньем. Меня трясло и выворачивало, саднящая отметина на руке забылась. Передо мной корчился, мазюкая по штанам чернильными руками, уморительный фиолетовый негритенок, а на его свекольной, потерянной физиономии ослепительно сверкали белки глаз.

— Что цветешь, как майская роза?! Спонталыку свихнул, жидячья кровь!

Веселилась вся группа.

Наказание отбывали напару. Схоронившись в мягкой тиши спальни, то кутали в одеяла голые телеса, то жались к противоположным бокам всепрощающей печки. Через весь дом бегали на линейку выставлять напоказ срамные места.

Наслюнявленными полотенцами Дух тер лицо, рассматривая

себя в черном глянце окна, как в зеркале. Слюней не хватало, грязные пятна оттирались плохо и еще неделю проступали на нем то в одном месте, то в другом.

Значительно дольше Дух невольно сдерживал кураж: выпалит оскорбление и тут же зырк вокруг: не переборщил ли и нет ли рядом чернильницы?

Уже на следующий день им владел незлобивый настрой. Умостившись по-турецки среди одеял и подушек, собранных с нескольких коек, Дух ворожил, отупело раскладывая пасьянс и занудливо канюча:

Два туза и между
Кралечка вразрез.
Я имел надежду,
А теперь я без.

Я корпел над «Пятнадцатилетним капитаном». Медленно и упорно, пошевеливая губами и проговаривая про себя каждую букву, продирался сквозь их дебри. Каждое слово вызывало запинку. Его нужно было составить по складам, разгадать и вникнуть в не сразу понятный смысл, как в ребус или в кроссворд. Я учился сосредотачиваться и настойчиво вгрызался в текст. Каждая страница цементировала прочитанное.

Мысленно я все дальше уплывал от нашего серого обиталища. Забылась непутевая, шиворот-навыворот, растелешенная жизнь, нудное мотание из угла в угол, маялка и шашки. Удивительные приключения капитана и его друзей, преодолевавших опасности и невзгоды, захватили меня и повлекли за собой, не давая передышки. Затерянные и одинокие, оторванные от родных и справедливого мира, попавшие в беду путники страдали, боролись и надеялись, как и мы в приемнике.

Утомившись, я ненасытно, как новенькую игрушку, вертел в руках книгу, прижимал к себе, как живое существо, мусоля палец, перелистывал странички. Обложка запомнилась до мельчайших подробностей. Это была публикация 1941 года в переводе Игн. Петрова с иллюстрациями французского художника Мейера.

Я закрывал глаза и думал о дальних странах, куда непременно примчит меня жизнь, о детдоме, об освобождении мамы, о своем еврействе. Казалось, что наказаний мне перепадает больше всех, что все меня ненавидят, а за каждым моим поступком, плохим или хорошим, подозревают природную изворотливость и дурной умысел. Все люди, как люди, один я выпадал из общего хоровода. И так мечталось быть незаметным, таким как все, чистым, без хвоста лягавого и обгоняющей время

достославной молвы.

Что может надумать мальчишка, начисто отрубленный от своих живых корней? От ледяного ветра ненависти не спрятаться, не отвернуться, не прикрыться. От него вздуваются уши, пухнет и раскалывается голова. Он вышибает слезы и ослепляет. Чужеродство не просто клеймо. Чужеродство гнездится внутри души, оно стержень, ломающийся вместе с жизнью.

Упорное корпение над книгой увенчалось успехом. По буковке, по словечку домучил я «Капитана». Жуль Верн живописал мудро, сочно и просто, щедро одаривая богатствами своего чудесного воображения и красотами без сомнения реального мира. Меня переполняла радость открытия этого мира и приобщения к нему. Новизна, как бальзам, врачевала пустоту окостеневшей души, наполняла ее животворными соками. А распиравшая меня гордость непередаваема: одолел такую толстую книгу! Не терпелось приняться за следующую.

С истинно еврейской общительностью, захлебываясь от восторга, растолковал брату эпизоды отдельных картинок, а после отбоя, глава за главой связно пересказал содержание книги всей спальне. Слушали меня, затаив дыхание, а следующим вечером попросили повторить все с самого начала. Видимо слабенький отблеск жульверновского огня согрел и их души.

— Ну, Жид! Натрыжный, бляха-муха! Раздолбалтаки книгу! — похвалил Дух.

Порывшись в шкафу, я выискал пару детских книг и с жадностью набросился на них. Просыпался с внятным зудом: схватить книжку и загипнотизировать, околдовать себя чужой, увлекательной жизнью. Словно привороженный, застывал я над раскрытыми страницами в группе, в зале, в спальне. Не разбирал кропотливо слово за словом, а торопил действие, часто пропускал скучные описания и длинные рассуждения, вчитывался в диалоги, безудержно мча по извилистой сюжетной тропке.

Вечерами потчевал прочитанным ребят. Такие повествования с продолжениями привились и, если за день одолеть очередную главу не удавалось, меня просили повторить все с начала. Когда мне не хотелось, даже уламывали:

— Не выпендривайся, Жид! Что там дальше!

— Расскажи сказку про звезду-одноглазку!

Я продолжал рассказ с глубоким удовлетворением: удостоился признания, оказался нужным. Радость теплым комом застревала в горле.

И этой зимой у меня не завелось близкого друга. Даже добровольное просветительское рвение читающего по складам грамотея подчеркивало его обособленность и инородность, и моя

внутренняя настороженность, скрюченность не ослабевала.

Я втягивался в чтение, с запойной одержимостью глотал все, что попадалось под руки. Неодолимо и властно пленял меня светлый мир книг. Мешанина событий и лиц, расцвеченных неистощимым богатством мыслей и чувств авторов, была несравнимо привлекательней нашей убогой повседневности, и застойная маята понемногу отходила на задний план. Жизнь обрела притягательный смысл — чтение!

Многое дарили книги, важнейшим же было то, что они легко и естественно глушили тревоги и неурядицы, обладали даже большей успокаивающей и целительной мощью, чем летнее приволье.

Читая, я терял ощущение времени, уплывал в иные края, а возвращаясь, подмечал удивительные и непонятные перемены. Без усилий, сама по себе, из речи стала выпадать похабщина. Душа не принимала мата, грубый блатной лексикон вызывал раздражение, терзал слух. Чтение не только обогащало, но и очищало язык. В книгах было все, кроме сквернословия, и с моих губ брань срывалась все реже.

Расставание с каждой прочитанной книгой порождало сожаление и печаль. Стремление раздобыть новую книгу — вот бы про войну и с картинками! — никогда не покидало меня. Голод разума занялся заревом восходящего солнца, требуя постоянной подкормки — новизны!

28
Докисание

Несколько недель меня снабжала книгами новенькая девочка, но чувство благодарности сыграло со мной злую шутку, и наши добрые отношения обидно и курьезно оборвались.

Болели мы редко. С мая по сентябрь, в ненастье и сушь щеголяли босиком, в трусах и майках — и в других нарядах себя не мыслили. Еды в обрез, тело — кожа да кости, хитрому вирусу и разжиться-то нечем. Моровые язвы и прочие чумные и холерные напасти обходили нас стороной. Приставали пустяковые, зряшные хвори. Вспоминаются суетные санитарные мероприятия вроде антиклопиных дезинфекций и коллективного гона глистов. Или вдруг кустистой россыпью взойдут на руках бородавки. Месяц, другой и, глядишь, сходят, сдираются. Чесотка появлялась, когда ей вздумается. Засвербит меж пальцев, попробуй поначалу разбери, что за сыпь на шершавой, в цыпках и трещинах коже? Поскребешь, помучаешься, станет невмоготу, бежишь в изолятор натираться мазью.

Одно время одолевали ячмени на глазном веке. Мы называли их писяками. Розовая ягодка вызревала несколько дней, потом на ней вылуплялся светлый глазок. Прорываясь, он оставлял быстро сходящую болячку.

Писяки не лечили; они прекрасно должны были заживать без всяких снадобий, — так считали непосвященные медики. Мы же владели тайным, неизвестно кем изобретенным средством борьбы с писяками, средством простым и пригодным в любых условиях: неожиданным плевком в воспаленное око. Вся целительная мощь скрывалась в неожиданности, а весь шик — в смачности и точности плевка.

Безобразный, с ядовито-фиолетовым отливом ячмень вспрыгнул у новенькой. Глаз заплыл, лицо уродливо искривилось. Эта досадная несправедливость огорчила меня больше своего собственного писяка, благополучно истаявшего вслед за спасительным плевком. В голову порой взбредало смутное искушение излечить девочку. Как-то в зале, я, преодолев секундное замешательство, осторожно плюнул в лицо новенькой. Девочка остолбенела:

— Дурак! — только и нашла она, что сказать.

Воспиталка малышовой группы поволокла меня за ухо в канцелярию, надсадно крича:

— Паскудник! Что удумал! Дочитался, опупел! Совсем мозги

набекрень? Харкать девочке в морду! Если тебе?

Лишь в последний момент она сдержалась и не плюнула. Кровь шибанула в голову, вся глупость лечения и мерзость выходки прояснились мгновенно. Раскаяние и горький стыд терзали меня: отколол номерок, полудурок? И не собирался, плевок получился сам собой, ненароком. Как всегда, язык прилип к гортани, а в голове не находилось подходящих оправдательных слов, растолковывающих недоразумение.

Без одежды, без обеда и ужина, без веры в шарлатанский метод врачевания писяков дальнейшая жизнь представлялась безнадежной и нелепой.

В конце этого несуразного дня меня неожиданно позвали в столовую. Видимо все поняв и посочувствовав, Маруха поставила передо мной алюминиевую мисочку, полную дымящейся каши. Я опустился голым задом на холодную скамейку, ткнулся носом в сладкое благоухание и внезапно горло свело судорогой: ни открыть рта, ни глотнуть. Как ни силился, ничего съесть не смог.

Кашу быстро сглотнули случайно забредшие в столовку пацанята, а меня опять томила запоздалая досада: недоумок чертов, лучше бы накормил брата и сестру!

Пристыженный, я скрывался в спальне. Оплошность казалась непоправимой, жизнь — вихляющей вкривь и вкось, как прошлой зимой. Стыдно было показаться на глаза и девочке, и воспитателям.

Постепенно прохладная неподвижность спальни, жадный гуд пламени в печи, широкие окна, залитые хмурым светом угасающего дня, успокоили меня. Ни докучливой трескотни голосов, ни подозрительного зиночкиного ока, только спасительное, завораживающее действо книги. Я утопал в нем, прирастал к нему всей душой, впитывал в себя его краски и ароматы. Шелестели страницы, копотливая приемнитская занудливость не свербила сердце. Отвлек меня Дух:

— Торчишь тут, как пень, и ни бум-бум! Слыхал? Гроши сменили!

Я знал об этом. День-два назад сподобился лицезреть голые, будто вылизанные, магазинные прилавки и полки, сверкающие стекла пустых витрин. Продавцы, недавно спустившие остатки лежалого барахла, равнодушно взирали на праздношатающихся покупателей. Только на почте бойко сбывали пожелтевшие, довоенные открытки. Соцторговля заглохла. Обезлюдело даже лобное место у темной, в грязно-желтых наледях пивной будки.

Дух притащил клей и газету с образцами новых дензнаков. Полюбовавшись на них, он принялся сосредоточенно выстригать газетные ассигнации и бережно склеивать их соответствующими

картинками наружу. Он трудился с одержимостью старателя, учуявшего золотую жилу, и мечтал вслух:

— Сомну гроши, выпачкаю. Вечером всучу продавщице. Видал старушенцию подслеповатую, в подвальчике хлебом торгует? Не разберет ни в жись… Думаешь застукают? Черта с два! Тебя бы стуканули, как фраера!

Зависть брала от мудрой затеи пройдошливого Духа и мечталось раздобыть газету и также ловко сработать немного фальшивых купюр. Но Дух осадил:

— Такие газеты нарасхват! Весь город поди лепит!

Приволоклась теплая компания старожилов, посмотреть на искусные поделки старателя. И пошла, поехала немудрящая болтовня, — отблеск того времени и жизни.

— Валютчики гроши рисуют, от самделишных не отличить.

— И ксивы подделывают.

— Маню бы натаскать. Ордена смогла, и красные тридцатки намалюет за милую душу.

— Дух мастак! Не голова, а тыква! Настряпал липовых денег. Мозги как у Ленина.

— А что, говорят, у Ленина самые большие и тяжелые мозги!

— Не бзди! Может кто и побашковитее рождался, мало ли что!

— Помните, Никола сварганил отмычку? Любой замок вскрывала.

— У него и кастет был. Легонечко вмажет, и темя проломил!

Натерпелись за лихое времечко, намыкались под гнетом блатных, а вспоминали их, как священных идолов, с восхищением. Будто рядом их тени несли неусыпный дозор, готовили расправу над очередной жертвой. Им приписывали фантастические способности в оболванивании фраеров и потрясную физическую мощь.

— Убить можно и пальцем. Одна маманя кинула сыну письмо-треугольник. Уголочком в висок тюк, и хана!

— Свист поди!? Спуталась, гадина, с хахалем, а невинное дите мешало.

— Слышали? Одна курва защипала дочку до смерти, чтоб фраер не бросил.

— Пацаненок маленький хирел, хирел, чуть концы не отдал. Думали, мать не кормит. Оказалось, огромная крыса его хлеб сжирала, пока мать на работу ходила.

— Мальчишка что ж не пожаловался?

— Он и говорить не умел.

— Окачуриться можно и от солитера. Сидит в пузе, пожирает все, что сглотнешь. Сколько ни рубаешь, все мало. Он в длину

метров десять. Вылазит горлом так долго, задохнуться можно.

— Только блатные шамают до отвала. Сварганишь дельце, и в загул!

— Воры хитрее всех. Попрыгунчики пружины к корочкам примастрячивают, за прохожими гоняются.

Проскользывали рассуждения и на другие темы, призрачные и мечтательные:

— Мне еще двенадцати нет. Попаду в детдом в этом году, могут в Нахимовское училище направить.

— Нужно четыре класса кончить, а ты и читать не умеешь.

— Научусь, там помогают.

— В Суворовские и Нахимовские только сыновей полков берут. А мы кто?

— Нужно блат иметь, знакомого генерала или полковника. Попросит за тебя, — возьмут.

— А генералиссимуса не хошь? Будешь в детдоме учиться на одни пятерки, направят без всякого блата.

За окном вызвездило. Жидкое сияние желторожей луны просачивалось в спальню. Луна с любопытством подглядывала, подслушивала.

Дух искромсал газету и принялся сушить сляпанные деньги, прижимая их к теплой печке. Деньги расползались, расслаивались. Настырный Дух нетерпеливо поругивался.

Незатейливая болтовня сочилась вяло, по-будничному. Столько говорено переговорено, жевано пережевано. Все давно измусолено, давно приелось. Несли нескончаемую похабную околесицу о японских гондонах с усиками, о гермафродитах, о детях с собачьими головами. Толковали сны, коптили потолок жиденькими цигарками, грызли ногти, драли на растопку кору с березовых поленьев. Но никогда не бередили память родных и близких, память доприемнитских дней. Этих дней как будто бы и не было, или, быть может, инстинктивно мы ощущали их святость и неприкосновенность.

Согревали нас песни, и мы обязательно пели, слаженно и упоенно:

Люби меня, детка, пока я на воле,
Пока я на воле — я твой!
Тюрьма нас разлучит, я буду жить в неволе,
Тобой завладеет другой!
Я пилку возьму и с товарищем верным
В тюрьме я решетку пропилю.
Пускай луна светит своим прозрачным светом,
Но я все равно убегу.

А если «на баркасе» заметит меня стража,
Тогда я, мальчишечка, пропал.
Тревога и выстрел, и вниз головою
Сорвался с «баркаса» и упал.
Меня повезут во тюремну больницу,
В тюремной постели помирать.
И ты не придешь, моя милая детка,
Последний разок поцеловать.

Песни вплелись в нашу жизнь, как молитвы. Пели и днем, и на сон грядущий. Выскуливали расхожие блатные мотивчики, уголовный душок был терпким и густым. Очень любили мы «Жил в Ростове Витя Черевичкин» и «Как по Чуйскому тракту в Сибири». Хотелось правдиво и искренне петь о своей жизни, о близком и желанном, но такие песни в ДПР не просачивались, да их и вообще не было.

Так и сиживали долгими часами, так и ползла растелешенная, шиворот-навыворот, непутевая жизнь. И когда вглубь мутных дум врывалась явь, — необходимость щеголять святой наготой на посмешище всему приемнику, — перепад в настроении оглушал, как увесистая оплеуха.

С чтением книг общение не было столь необходимым, и я осознал, почему Царь мог целыми днями ни с кем не контактировать. Однако к концу зимы я одолел все книги, оказавшиеся в шкафу. Попробовал мусолить их заново, но чтение не захватывало. Снова было тошно стравливать ползучие, выхолощенные минуты. Заедала беспричинная хандра, наплывы тягучей тоски. Ко мне зачастили связные сказки-грезы, сотканные из реальных, мнимых и книжных образов. Я засыпал и просыпался в обнимку с каким-нибудь увлекательным вымыслом. Если первой зимой меня одолевали мысли о жизни с мамой, то теперь я лелеял и живописал сладенькие картины будущего. Таких картин было не много, и я любил пересоздавать их вновь и вновь…

Переполненный театр сверкает хрусталем люстр и золотом лож. Я пою со сцены жалостливые песни, рассказывающие о нашей несправедливой судьбе. Овации, зрители плачут, и наших мам освобождают …

Мой ястребок мчит навстречу вражеским самолетам. Я палю из всех пулеметов и сбиваю фашистов одного за другим. Под конец тараню главного немецкого асса и прыгаю с парашютом. Приземляюсь среди восторженно поздравляющей меня толпы. Стихийный митинг. Толкаю речь о приемнике, и всем мамам

объявляют амнистию …

Чаще всего меня преследовал сладкий, навязчивый до мельчайших деталей сон-мечта.

Я гуляю по Ленинграду и собираю утерянные медные монеты. Отчетливо, как наяву, вижу обочину тротуара, ржавое пятно на асфальте и едва различимый медяк-копейку. У поребрика другая монетка, дальше еще и еще. Набралась уже целая жменя. Попадается и серебро, я терпелив и зорок.

Через дыры в карманах монетки, побрякивая, сыплются в порточины. Шаровары тяжелеют, ползут с бедер, приходится прижимать их локтями. Внезапно я натыкаюсь на старую холщовую торбу на лямке. Вытряхиваю туда добычу и собираю дальше. Хочется перебрать и пересчитать деньги, но нетерпение гонит вперед, нельзя терять ни минуты! Торба разбухает, я с трудом волоку ее и гадаю, хватит ли денег перебиться нам троим до освобождения мамы?

Мельница разыгравшегося фантазирования крутилась послушно и плодотворно, как по заказу создавая желанные картины. Бег видений можно было легко остановить, возвратиться назад, проигрывая и домысливая сценки так, чтобы концовка получилась счастливой.

Книги и грезы отгоняли черные думы, помогали совладать с голодом и скверным настроением, держаться в стороне от ссор.

Порой все виделось в дурном свете, было невмоготу терпеть, думать, надеяться. Терялась ясность и светлость грез. Серые стены давили без явных, осознанных причин. Чудилось, что леденящий ужас пережитого не рассосался, что я по-прежнему в его плену, что уродливые, узловатые рубцы испятнали тело и душу, а чистые, превосходящие меня во всем люди презрительно тычут в меня пальцами, как в отвратное и больное чудовище. И никто никогда обо мне хорошо не думает и не говорит.

Первая зима в ДПР заслонила былое. Конечно, жизнь с мамой осталась со мной, во мне, но уж очень отдалилась. Вторая зима была несравнимо легче первой. Будь она много лучше, надели она нас хлебом вволю и теплой одеждой, мы все равно рвались бы прочь. В ДПР не было будущего, и мы тяжело перемогали эту его пустоту.

Вспомнят о нас, наконец, или мы обречены на вечное заточение в этой проклятой дыре с ревмя ревущими трубами? И тянуло выть волком им в лад.

— Хоть бы одну сволочь из начальства сюда занесло! Просто так, спонта! Все бы не так занудно, — взывал понапрасну Дух и дико матерился. — Душу вынут, пока плевой подачки дождешься! Хоть и законной!

29
Побег

Строительные леса оплели здание вокзала. На подходе к нему я наткнулся на временную билетную кассу, дощатую будку, смахивающую на огородный сортир. Ее стены шелушились струпьями облупившейся краски.

Беспорядочная орда пассажиров осаждала будку. Самые проворные бодали головами маленькое окошечко, напоминавшее неровное очко в полу убортреста, и, ведомые необоримым природным чувством — видеть собеседника, пытались узреть лик кассирши, хамски запрятанной внутри.

Крайняя взвинченность множества людей, резкие выкрики, жара. Ветерок взвеивал и кружил легкую пыль.

К очереди было не подступиться. И зачем? Денег-то нет! Поротозейничав издали, я побрел мимо и неожиданно зацепил взглядом что-то блестящее и желанное: матросская бляха! Под деревом на зеленой травке молодой парень в выцветшей до пепельно-серого цвета форменке заботливо подстригал ножничками затоптанную, рваную бахрому грубо залатанных порточин. Из-под бахромы торчали босые ноги, кривые обутки валялись рядом.

Русая шевелюра с клоками белой проседи совсем не вязалась с узкими, мальчишескими скулами и беззаботным видом парня. Меня безотчетно потянуло к нему. Матрос раздумчиво оглядел и затем огладил подкромсанные клеши, вдавил ножницы внутрь толстого, складного, видимо, трофейного ножичка и по-свойски подмигнул мне:

— Что, малец, и твои подкорнать? — пошутил он. — Урезать, так урезать!

Я растаял от его приветливости и глянул на свои широченные трусы и торчащие из них худые ноги.

— Местный?

— Из ДПР.

— Из допра? — переспросил он.

Я пояснил.

— Знатно вас обряжают. Мне, что ли, пример взять?

— А я убежал. В Ленинград к тетке подамся.

— Взяла бы тетка тебя к себе.

— У нее своих двое. У меня еще братуха с сеструхой есть, помладше.

Матрос извлек из кармана серебряные часы, посмотрел время

и принялся обуваться.

— Поезд сейчас. Места бы занять. Рана у меня на ноге, заживает плохо.

Он вскинул на плечо полупустой вещмешок и метнул косой взгляд по моей тощей, как у борзой, фигурке.

— Не мечи икру! — сказал предостерегающе. — И в толпу не лезь. Без копыт останешься, а то и без башки. Так сядем.

Я поплелся за прихрамывающим матросом к засыпанной мусором и окурками утоптанной посадочной площадке у путей с черными просмоленными шпалами. Сюда стекались пассажиры, готовясь к решающему штурму.

Было радостно от того, что прибился к сильному, и немножко волнительно: как это «так сядем»?

Вдали показался шумный паровозик, чихающий струями пара, с вереницей зеленых вагончиков. Заполошный табор, окружавший билетную будку, быстренько снялся и ринулся к нам. Паровоз медленно надвигался и вдруг сердито и пронзительно закричал, отгоняя лезущих под самые колеса осатанелых пассажиров.

Матрос хладнокровно опустил руку на мое плечо и потянул назад за спины наседающей толпы. Я остро ощутил уязвимость своих босых ног и, закипая всеобщим возбуждением, подумал: не сяду, задавят! Стоять же, чувствуя на плече тяжелую, дружескую руку, было до жути приятно.

Паровоз подтащил вагоны, заскрипел тормозами и остановился. Толпа пассажиров, расчленившись на разрозненные группки, бросилась на приступ дверей.

— Смотри, где окна открыты! — крикнул парень.

Открытых окон было много. Мы шагнули к одному из них.

— Становись на плечи! — приказал матрос и присел.

Я неловко, коленом пытался влезть на него.

— Цепляйся за вагон! — гаркнул он и наклонился еще ниже.

Я вскарабкался на подставленную спину, нечаянно мазнув острым коленом по носу парня. Он тяжело поднялся, и мне оставалось только перевалиться через приспущенную створку и кувырнуться вниз головой в вагон. Ничего не соображая в головокружительном всплеске возбуждения, не чувствуя боли ушиба, тут же вскочил, подхватил протянутый в окно мешок и кинул на деревянную лавку, — занял место.

Настала очередь матроса. Он ухватился за край створки, подтянулся. Багровое, искаженное от натуги лицо с напрягшимися желваками на скулах и мощная шея с вздувшимися жилами показались в окне. Рывок, перевод локтей во внутрь, и он забрался ко мне.

— Впендрились! — шумно выдохнул парень. — А ты боялась.

В считанные секунды вознеслись мы в вагон и разместились у окна напротив друг друга.

В дверях и на подножках образовались пробки. Разгоряченные, взмокшие люди продавливались в вагон и выпученными глазами шарили по скамейкам в поисках свободного места. В наш отсек, сломя голову, волоча за собой пару узлов и чемодан, притащился лысоватый толстяк и присоседился к матросу. Потом набежали еще люди. Последним приволокся растерзанный старикан с заросшим серой щетиной лицом, в затрапезном длиннополом балахоне и облезлой камилавке. Он втиснулся рядом, больно приткнув меня к стенке.

Старика давила одышка. На мочках его ушей, как прозрачные сережки, висели крупные капли пота. Он тяжело и шумно тянул воздух и прерывисто бубнил себе под нос:

— На штурм, хазерум! За веру!

Оставшиеся без мест устраивались в проходах на вещичках, а то и просто на полу.

Паровоз тявкнул и резко дернул. Я впал в отчаяние: вот так зигзаг! Утром и не думалось о побеге. За последние полчаса столько всего набежало: и знакомство с матросом, и необычная посадка! Мимо окна плыла одинокая касса, а из-за деревьев прощально пялилась пустыми проемами колокольня под ржаво-зеленым шлемом. Пошлепывали колеса, подрагивал вагон, прогромыхали фермы моста. Поезд резво набирал ход. Минута — и он припустил изо всей мочи вперед, в неведомое.

— Отчалили! — довольно пробасил матрос.

— Сумасшествие! — клохтал обтрепанный старикан, все еще переживая посадку. — По ступеням размазали! В вагон внесли!

Для начала отлично, подбадривал я себя, с обожанием поглядывая на матроса. Давно следовало удрать. В ДПР жизнь пройдет, никто и не вспомнит. И как повезло, подумать только! К отправлению подгадал. Конечно, особо обольщаться не следует, неприятности еще впереди и наказание, как всегда, меня не минует. Но строптивый внутренний голос убеждал: терять нечего!

Поезд полным ходом удалялся от ДПР. Теплый ветерок задувал в окно, щекотал ноздри, приятно обдавал горящее лицо.

Пронесшийся по вагону шумок растревожил пассажиров. Из тамбура прорвался тревожный крик, и суматошная стайка парней метнулась по проходу. Ей в след ринулись срывающиеся с мест безбилетники. Кто-то нырнул под скамью.

— Контролеры! — летело из уст в уста.

Приехал! Быстро и недорого!

Матрос вскочил и предупредил соседей:

— Присмотрите. Мы скоро. — Кивнул мне. — Айда!

В тамбуре он собственной трехгранкой открыл дверь в туалет. Мы вошли и заперлись на все засовы.

— Без такого ключа далеко не уедешь! — пояснил он.

Мы ополоснули лица и присели рядом на крышку унитаза. Здесь, как в родном убортресте, по стенам были накарябаны похабные наставления и воззвания.

Шум в вагоне не стихал, мы слышали громкие взвизги, перебранку, топот. В дверь пару раз ломились и приказывали немедленно выйти, но мы засели наглухо и не отзывались. Парень был, как и вначале, спокоен и решителен, и я проникался все большей уверенностью в том, что с ним не пропаду. Кто я ему? Не пришей кобыле хвост, а не отделался от меня ни до посадки, ни сейчас, хотя легко мог это сделать.

Матрос задрал подстриженную штанину. Ниже колена нога была перебинтована грязным, раздерганным бинтом. Парень ловко размотал его, и мне едва не сделалось дурно: мышцу икры рассекал уродливый рубец. Рубец был черным, рваным, с глубоким до кости провалом. Он гнилостно подванивал, а вся нога синела нездоровой отечностью. Я старался не смотреть на страшную рану.

Пока матрос перевязывал ногу переполох в вагоне утих, и мы пробрались на свои места, довольные друг другом.

А по отсекам размыкали кошели, извлекали нехитрую снедь. Тянуло блаженными запахами домашних харчей: теплым хлебом, сочным чесночным душком, вареной в мундире картошкой. После отвлекающих от голодных мыслей тягот и нервотрепки первых минут на воле, в желудке требовательно засвербело.

— Пусто в утробе? — спросил матрос.

— Кишка кишке бацает по башке!

— Приступим и мы.

В его рюкзаке нашлись хлеб и вяленая рыба, то ли вобла, то ли тарань. Он щедро ломанул краюху и сунул ее мне вместе с плоской, как фанера, рыбиной. Можно ли было мечтать о большем? На пороге вольной жизни я безудержно драл зубами одервенелую воблину, уминал хлеб и преданно поглядывал на матроса.

Рваные клочья паровозного дыма стлались над самой землей. Палило солнце, гремели колеса. Наперегонки с поездом неслись телеграфные столбы с низко провисшими проводами. Состав огибал болото, и его членистое, змеиное тело открылось целиком. Зрелище показалось необыкновенно привлекательным и живописным. Было жаль, что поворот проскочили слишком быстро, и насмотреться не удалось.

Ощущение новизны не оставляло меня. Молодец, что улепетнул! Свобода пьянила, удачное начало вселяло радужные надежды.

Я уплетал хлеб, огладывал тараньи кости, выплевывая жесткую чешую. Рыбьи останки было жалко выбрасывать. Снова и снова принимался выгрызать и обсасывать их, стыдясь своей прожорливости, но сладить с ней не было сил.

Тесня пассажиров, безногий полупьяный нищий на каталке с колесиками-подшипниками медленно продвигался по проходу, отталкиваясь от пола зажатыми в ладонях деревянными брусками. Пот заливал его красный лоб и вздутые щеки, капли падали в прилаженную перед ним кепку с медяками. Хрипло и надсадно бормотал он один и тот же куплет песни:

Болят мои раны, болят мои раны,
Болят мои раны тижило.
Одна зажваит, друга нарываит,
От третьей придется умереть.

Прерывался, бубнил невразумительно, выклянчивая монеты. Хлеба не брал, и подавали ему плохо.

Встрепенулся и заерзал сосед-старикан, оправляя свисавшие до полу фалды балахона и доставая из кошелки большую бутыль.

— Потребляете? — Несмело заглянул он в лицо матроса. — Дорогу скоротаем и утешимся.

— Пойдет, — кивнул парень, ломая еще хлеба и вытягивая новую тарань.

Старик засуетился, принимая еду, и зашамкал, благодаря. Дрожащими руками набулькал в железную кружку матроса, плеснул и в свой граненый стакан. Смачно приняли по первой, покряхтели и принялись шумно занюхивать и закусывать.

— Сногсшибаловка, продрала до позвонков, — передернулся матрос.

— Зелье премерзкое, а на душе легчает.

Я украдкой покашивался в лицо старика. Сеть розоватых, склеротических прожилок испещрила его щеки, сизоватый нос и белки глаз. Глубокие скорбные складки обрамляли рот. Мохнатились серой порослью огромные уши, седенькая бороденка сливалась с трепаными пейсами.

— Я вам скажу, человек — непостижимое существо! — общительно начал он. — Не имеет откуда ни есть, ни жить, а рожает, нянькается, растит. А потом? — Голос его дрогнул, набухшие веки дернулись. — Гребанула война, и осталось сиротство стариковское!

Он поспешно опрокинул в рот водку, матрос не отставал. В жадных взглядах попутчиков, набившихся в отсек, горело одно желание: выпить! Старик продолжал:

— Я имел троих сыновей! Теперь две похоронки, третьему передачу возил. Мечтал свиданьице исхлопотать, выпивку прихватил, как для людей. Что уже разве и на сына взглянуть нельзя? Что б я так жил! Разводить шуньги-муньги не стали, шуганули без разговоров. Таки всему их учили, быть людьми забыли объяснить!

— За что сын-то сел?

— В плену выжил. Бог ему дал счастье — светлые волосы. Они и спасли.

— Без блата не выпустят, — сказал кто-то из попутчиков.

— Блат выше наркома, — добавил другой.

— Нет, как вам это нравится? Блат! Какой у нищего блат?! — Он заметно сомлел, его язык заплетался. — Кругом ширмы, одни ширмы! Все — ширмы! За ними — тьма!

Матрос старательно чистил рыбу и подсовывал сухие стружки старику. Они выпили еще, загладывая водку деревянной таранью. Сильный, прошедший войну матрос не гнушался немощного еврея! Школа ДПР вдолбила в меня невероятность подобного. Матрос даже пытался успокоить старика:

— Что сидит, не тужи. Кто там не был, тот будет, а кто был, не позабудет.

В этот момент ожил лысоватый толстяк:

— Как сын-то в плену уцелел?

— Не дознались.

— Не дури голову! Штаны снимали? — настойчиво пытал толстяк.

— Зачем? Штаны снимали с подозрительных. Он фамилию соврал, отчество соврал … Беда с этими отчествами! У меня один сын был Менделевич, другой — Менделеевич, а третий и подавно Мойшевич. Я человек маленький, но два имени имею: Мендель-Мойша.

— Зачем не сделал сыновей Михайловичами?

— Оцим-клецим! Уж лучше Ивановичами.

— Перевод на русский к Михайловичу ближе.

— Извиняйте, господин хороший! По мне, так к Ивановичу: Мендель это Мойша, Мойша это Моня, Моня это Ваня, а Ваня это Иван!

— Ерничаешь, старик!

— Ты уж и нервный сделался!?

— Зачем сына-предателя родил? Зачем так воспитал? Дети тебе надо иметь? Камни надо иметь? — вспылил толстяк.

Расстроенный старик поперхнулся водкой и замолчал.

Горькой грустью пахнуло в сердце. Доверчивая болтливость старика подействовала на меня удручающе. Как ни был он пьян, как ни старался хмельной разговорчивостью унять боль кровоточащей душевной раны, в бездонной глуби его добрых глаз стыла немая тень тысячелетней, безысходной скорби.

Вступил, словно защищая старика, матрос. Он тоже заметно набрался, медленно жевал слова:

— Мои все погибли. Деревню пожгли. Заезжал туда. Отстроили десяток хатенок. Безотцовщина, детей мамкиными именами кличут: Вовка нюркин, Санька дашкин. Этот Санька — вылитый Митюха, кореш мой с детства. И свадьбы не играют, и бабы не родют, — парень поник на руки, потом продолжал. — Один здоровый мужик, он тебе и председатель и племенной ублажатель. Приютил двух сестренок жены, зажил с тремя! И ничо, сосуществуют! Победители. Только на фронте и побыли людьми самую малость. Насмотрелся я, мешок на плечо и айда! Кочую вот, доктора хорошего ищу, чтоб ногу спас. Оттяпать все мастера, а как вылечить, так нет их!

Окружающие придвигались поближе к закосевшему матросу, вслушиваясь в его слова, приглушаемые грохотом колес. Рваненькая босая побирушка с младенцем на руках попросила хлебца. Матрос подал. Побирушка опустилась на пол и закачалась в такт поезду, баюкая малыша.

— Мужики войну ломят, а война баб да детишек, — кивнул на нее матрос.

— А сироты? — поддержал его толстяк. — Простых семей, крестьян или рабочих, те еще как-то выправляются. Рано идут к сохе, к станку. А детей шишек разных уродует без пощады. И чем выше летал начальник, тем несчастней доля его сирот.

Одинакова, — подумалось мне, но, вспомнив Николу и Царя, решил, что он прав.

— Не приспособлены. Перепад от обеспеченности к беспризорности и голоду резче, потому и падают ниже, и увечья страшней.

— Знали б высокие головы судьбу их потомства, — вставил старик. — Ни в жизнь бы ни войн, ни передряг кровавых не затевали. Мир их детям также нужен, как всем другим. Хотя коронованную тьму услаждает не отцовство, — глумление над людьми.

Матрос, уперев локти в колени, с трудом удерживал отяжелевшую голову. Лицо его налилось кровью, глаза лихорадочно поблескивали. Я со страхом следил за ним, опасаясь какой-нибудь необычной выходки; уж очень он опьянел.

— Тарарахнем по последней, — глотая слова, произнес он. — Все пробежит. Ногу грозят отрезать, да радикулит крутит. А так все пробежит.

— У тебя радикулит? — пролепетал старик. — Азохэн вэй! Вот у меня радикулит! Это ж кошмар! В дугу гнет! Старуха крацается, мажет чем-то, а все зря … Сейчас приеду, она взвоет. Умирать буду. И от радикулита, и от боли черной за сынов моих.

— Тяжко, — тянул, не слушая старика, совсем опьяневший матрос. — Жизнь прожить — не поле перейти!

— Что жизнь? Пустяк! Я ее прожил. А поле перейти мне ой как не просто!

— На фронт хочу! В окопы, в дерьмо! Мать перемать! — со стоном выкрикнул парень. — Санька дашкин, Санька дашкин… Не могу, сукин ты сын!

Он схватился за горло, потом рванул на груди тельняшку, разодрав ее вместе с форменкой до пупа. Во всю его мускулистую, красиво очертанную грудь красовалась татуировка: пятиконечная звезда с распятьем внутри.

— Не надо мерихлюндии, — опомнился вдруг старик. — Ты молодой, славный. Все наладится.

— Санька дашкин, — бубнил матрос заплетающимся языком, мотая по сторонам головой. Потом запел, почти застонал, повторяя одну и ту же строку:

Задавили, гады, задавили!

Наконец голос его пресекся, он прислонился к стенке и умолк, будто уснул.

Мирно гудели голоса, сквозь забитые проходы и тамбуры сновали люди. Полынным настоем тянуло с лугов. Поезд проскакивал мимо серых оглобель шлагбаумов у переездов, женщин-обходчиц в пестрых платочках с желтыми флажками в руках. Дороги от переездов убегали в поля. Лениво ползли вспять дальние перелески. В зеленой траве вдоль полотна быстро змеилась узкая тропка. Гравий на склоне насыпи мчал назад с бешеной скоростью. Сбавили скорость у светофора. Поезд надолго замер среди желтеющих полей ржи.

— Опаздываем, — раздраженно вздыхал толстяк.

Странный тип, — думал я. О сиротах правильно говорил, но это его: «Дети надо иметь!» было неприятно.

От водки и жары матроса мутило. Он высунулся по пояс в окно и травил надсадно, со стоном и рычанием; потом оправдывался:

— Ослаб, из госпиталей не вылажу.

Старик заботливо придерживал его за ноги.

Выблевавшись, парень размяк и, откинувшись на спинку скамьи, неспокойно задремал, пришлепывая влажными губами.

В соседнем отсеке завели знакомую песню:

Судили девушку одну, она дитя была годами …

Совсем как в приемнике. И песня наша, грустная. Не верилось, что удрал, что еду неизвестно куда. Пассажиры жалостно дотягивали:

И приговор в руках судьи так недочитанным остался …

Вагон мотался, как на веревочке: туда-сюда, туда-сюда. Я пытался оправдаться перед собой за скоропалительный срыв, сестру и брата даже не предупредил. Но упреки вязли в беспечной обреченности, которой я вверял себя. Наконец-то созрел для побега, выпорхнул на волю. Что ждет меня? В глубине души на что-то надеялся и чего-то боялся, чего и сам не знал. Наверное всего.

Нестройный хор баюкал меня, мотание вагона укачивало. Я мирно кемарил, легко пробуждаясь от резких толчков поезда и вскриков поющих и так же легко падая в сон вновь. Окончательно разбудил меня пронзительный тенорок старика, негромко заведшего еврейскую песню, одновременно и грустную, и веселую:

Жил был один еврей,
Он имел семь дочерей,
И эти дочки, как цветочки,
Были ей-же-ей!

Хмель не оставлял старика, долго скулившего себе под нос что-то мелодичное и красивое.

На одной из остановок матрос незаметно исчез.

Еще раз ловили зайцев, и я отлеживался под лавкой за чьей-то котомкой, прислушиваясь к скандалу. Сцапали нищего с незрячими, без зрачков, как у статуй, пельменями глаз и мальчика-поводыря. Они бродили по вагонам и пискляво, словно под шарманку, выли на нудной, надрывной ноте:

В одном городе, близ Саратова,

Под названием город Петровск,
Там жила семья, небогатая,
Мать лежала больна точно воск …

Успокаивающей надеждой всплыла мысль, что и я мог бы вот так же бродить по свету и петь не хуже, и возможно это самый простой путь заработать себе на прокорм.

Ленинград встретил меня горячим дыханием разогретых солнцем камней и убийственным запахом жареных пирожков. Тревожный стук сердца не предвещал ничего утешительного. Я убеждал себя, что дело сделано, ничего нельзя переиначить и сожалеть не о чем.

Четкие первобытные следы оставляли на теплом тесте расплавленного асфальта пальцы ног. Разогретые металлические подножки трамвая припекали пятки. Вышлепывать по булыжнику было неприятно, твердо и больновато.

Я не плутал по городу. На привокзальной площади старик растолковал мне дорогу. Голова еще полнилась громыханием колес, хмельными голосами старика и матроса, песнями, как вдруг перед глазами все поплыло кругом: Юсуповский садик! Ноги сами понесли меня исхоженным переулочком к родной подворотне, словно я лишь часок назад выскочил погулять и спешно возвращаюсь домой.

Знакомый до дрожи застойный запах двора-колодца и, наконец, обитая драненькой клеенкой дверь. Отсюда нас, полумертвых, увезли к Ладоге, адрес этой квартиры я затвердил лет с трех, а возможно и раньше.

Тетка не сразу признала меня, а признав, взвыла жутко, как по покойнику.

Моих писем она не получала. И не мудрено, полтора года кочевала с детьми из общаги в общагу, жила без прописки. Своих детей, мальчика и девочку, тетка спровадила на все лето в пионерский лагерь.

Обо мне вроде бы и рассказывать было нечего, и тетка занимала меня повествованием о своих мытарствах.

— Вселились сюда пол года назад. Таки высудила нашу жилплощадь. Имею право: жена погибшего солдата. И что? Суд присудил, а этот захватчик, холера ему в бок, засел здесь и ни в какую! Не выгнать! Три раза суд был, а ему хоть бы хны! Вломилась нахрапом с детьми, с узлами и не ушла! Выжили бесстыжую харю! Таки убрался. Лампочки с патронами пообрезал, унитаз уволок. Чтоб его разорвало!

Квартира являла собой первозданную пустоту: ни столов, ни

стульев, ни кроватей. Голые стены да два ватных матраса, раскинутых на полу.

Я уплетал батон, прихлебывал приторно сладкий чай стакан за стаканом. Остановиться не мог, на сладкое тянуло неудержимо. Одолевало искушение черпануть ложечкой из пакета, сыпануть в рот и похрумкать. Стыдился, хмелея от непомерного разогрева и наполненности.

А ужинали мы на кухонной плите, оседлав чемоданы, поставленные на попа.

Тетка слегка клюкнула и долго толковала о своих передрягах, закончив откровением:

— Живем одним: страшной памятью о войне, и нет сил ее одолеть, с нею до последнего часа. Никто ни в какие времена не хлебнул горюшка горше нашего. Новой заварухи боюсь. Антресоли видишь? Там в углу под всяким хламом заныкала я пять банок перловки на черный день. Никто о них не знает, никому до них не дотянуться. Смотри, не проболтайся! Стойте, родимые, дожидайтесь своего часа. Дай бог, чтоб он не настал … Пожалуй, туда еще пару банок можно впихнуть. С получки и покончу с этим. Придет ваш черед, дорогие баночки, просыпетесь манной небесной… Я не скажу за всех, блокадники предпочитают сухари. Приятельница моя собирает огрызки со всей коммуналки. Сушит, прячет, три мешка под кроватью. Думаю, крупа спорчее и места занимает меньше. Стреляного воробья на мякине не проведешь! Снова так просто не дамся … От мамки твоей письмо имею. Недалеко трубит, час на пригородном.

Дрянь дело, — понял я, помыкавшись пару дней. Зачем было убегать? Чтобы повиснуть у бедной тетки незванным нахлебником?

— Махнул бы к мамке, — посоветовала тетка. — Она расконвоирована. Может и повидаетесь. Радость-то какая!

Она объяснила, как добраться до лагеря.

30
Мать

Я соскочил с притормозившего поезда на теплые доски низкой платформы. Доски были испещрены блестящими, отполированными подошвами множества ног шляпками гвоздей. Волнение зайца-безбилетника сразу спало. Особого внимания мое беспорточное обличие не привлекало, но все же временами казалось, что тавро ДПР горит у меня во лбу, и унести ноги подальше от казенных опасностей не терпелось.

Закопченные заводские корпуса с высокой, грязно дымящей трубой жались к железнодорожному полотну. Лязг и рокот механизмов доносились из-за кирпичной ограды. Воздух пропах горячей металлической пылью и острыми испарениями бензина и гари.

Разъезженную дорогу прорезали две извилистые, глубокие колеи. Гремучий грузовик переползал из рытвины в рытвину, натужно гудя и тяжело переваливаясь с боку на бок.

Нетерпение подгоняло меня, и скоро грохот цехов и машин остался позади. К заводским корпусам примыкал рабочий поселок. Желтые двухэтажные домишки соседствовли с длинными черными бараками и насыпными избенками, крытыми рубероидом. Крапинки его слюдяных блесков сверкали на солнце. Сараи, огороды, плетни тянулись далеко за окраину поселка. Отсюда под острым углом разбегались два разбитых проселка. Я остановился в нерешительности, удрученно оглядываясь по сторонам, пока не высмотрел неподалеку женщину, копошащуюся среди огородных гряд.

— Теть, а теть? Где здесь лагерь заключенных?

Женщина разогнула спину и, подбоченясь, долго с удивлением рассматривала меня.

Чего глазеет? Наклонившись, подозрительно оглядел себя и удостоверился, что все в ажуре, я при полном параде: мослатые ходули-камышины густо припудрила дорожная пыль, резинка просторных выцветших сатиновых трусов сползла ниже пупка, растянутые лямки линялой сиреневой майки сползали с плеч, обнажая впалую загорелую грудь.

— Тебе зачем? — наконец вымолвила женщина.

— Там моя мать, — признался я и тут же решил, что бояться нечего: позвать вроде бы некого, драпану, если что, только меня и видели!

Женщина ободряюще улыбнулась и принялась объяснять:

— Главный лагерь километров за двадцать. Пехом туда далеко … Может подвезет кто. Другой, маленький, километрах в пяти. Там расконвоированные в совхозе работают. Тебе куда?

Я назвал номер.

— В ближнем не строго, подойти разрешат. В главный не пустят, там зона, охрана.

— Спасибо, — поблагодарил я и тронулся было в путь, но женщина полюбопытствовала:

— Матку проведать идешь? Где без нее проживаешь?

— В детдоме, — буркнул я попросту, не вдаваясь в пояснения и детали: о детдомах знали все, о приемниках и не слыхивали.

— Ты есть, поди, хочешь? Худоба-то, худоба, Бог мой! Обожди чуток.

Она заспешила к другому краю огорода, неловко переступая через борозды окученной картошки. Скоро вернулась и сунула мне кусок теплого хлеба. Глаза ее влажно блестели. Женщина была сама доброта, к тому же острый укол унижения впервые принятой милостыни разбередил душу, и меня потянуло в плач. Я не очень-то был голоден.

Пошел к ближнему лагерю, через силу пихая в себя хлеб в надежде едой погасить тревогу и жалость. Не найду маму, завтра поднимусь чуть свет и дотопаю до главного лагеря. Эта упорная мысль утешила и отвлекла, и вскоре забылись и добрая женщина, и ее участие.

Погожий летний денек набирал силу.

Я ступал свободно, размашисто, не ощущая своего здорового, легкого тела. Утоптанная придорожная тропинка петляла в густой траве. Справа и слева от дороги кустарники и березовые колки перемежались зеленеющими полями. Кое-где виднелись полузасыпанные, обвалившиеся воронки. По краю леса извивалась мелкая, убегающая вдаль траншея. Воронки и траншея поросли редкой, неровной травой.

Оглянувшись, я увидел далеко позади трубу завода и прибавил шагу: найду или не найду маму, на станцию возвращаться придется.

Дорога была пустынна. Пропылит ворчливая полуторка, громко взбрякнет всеми своими железяками на ухабе, и снова долгое затишье. Посвистывание пичуг, запахи трав и деревьев хмельным дурманом беспечности обволакивали сознание. Тропка стлалась среди мирного и приветливого раздолья. Чужие взоры не следили за мной со скрытой угрозой или насмешкой, ничье невидимое присутствие не давило, не смущало, не связывало. Солнце просвечивало насквозь каждый листик, каждый цветок. Страшным и мрачным мыслям просто неоткуда было взяться.

Словом перекинуться не с кем, да и не хотелось. Горести от людей, а здесь я один. И поля, и перелески, и пустынный большак казались давно знакомыми, близкими. Все дышало светом, теплом и покоем, и на сердце становилось легко и мирно. Тревоги канули в прошлое, их унесло очистительной волной избавления от надзора и внимания. Настроение было отменным.

Глубокое, захватывающее ощущение полной свободы нахлынуло на меня. После двух лет заточения в толпе я впитывал в себя живые соки дружелюбия и милосердия природы. Вокруг раскинулся принадлежащий мне дивный мир, весь изумрудно-голубой и прекрасный. Он не обманет, не продаст, не обидит. Хотелось выкинуть что-нибудь необычное, неосуществимое в устоявшемся приемнитском быте.

Впереди в балочке зачернели маленькие, беспорядочно разбросанные по широкой луговине хатенки. Тесовые крыши торчали в прозелени палисадников, от которых вытоптанные в траве дорожки сбегались у избы под железной крышей с вывеской «Сельмаг».

У избы громко судачили две старушки, и я вознамерился было спросить, далеко ли до лагеря, но вдруг увидел его. На отшибе, у кромки леса серели две громоздкие, приземистые юрты, обнесенные высоким забором из колючей проволоки. У распахнутых настежь ворот скособочилась обветшалая сторожевая вышка. Гнездо наверху поникло, накренилось, и наверняка никакому попке в нем не удержаться. За юртами теснились сараи и навесы, меж ними сновали мужчины и женщины.

Я остановился у ворот, озираясь в нерешительности. Охраны нет, это и не лагерь вовсе …

— Эй, оголец! Что пялишься? Шибай мимо! — раздался надо мной хрипловатый, повелительный голос.

Широкоскулый мужик с приплюснутыми глазами в гимнастерке защитного цвета выплыл откуда-то сбоку.

— Я к маме …

Он слушал мои пояснения удивленно и раздумчиво, потом решительно сказал:

— В поле все. Я туда еду. Малость погоди, запряжем, покатим.

Почмокивая, мужик погонял коня, и дорога скоро привела нас к морковному полю. Среди груд деревянных ящиков, разбросанных вдоль кромки гряд, копошились женщины.

Подъезжая, возничий весело гаркнул:

— Эй, бабоньки! Мужичка привез на разживу! Кто пляшет?!

В голове стучало и прыгало, колотилось сердце, глаза лихорадочно бегали по незнакомым лицам. Эта? Нет, не похожа.

Эта? Тоже нет. Вот знакомый наклон головы, овал лица, полуулыбка. В этот момент и мама меня узнала. Она глянула недоверчиво, вскочила и метнулась вперед. Как передать ее внезапное потрясение, трепет и радостную дрожь искаженного страхом лица с огромными, вспыхнувшими глазами. Седая прядка выбилась из-под косынки на ее влажный, шоколадного отлива лоб, прозрачные бусинки пота выступили над верхней губой. Цветастая кофточка мамы взмокла от пота на спине и подмышками.

Высокая, с впалыми щеками она плыла ко мне напрямик, как слепая, спотыкаясь о ящики, кучи ботвы и моркови. Обхватила сильными руками, крепко прижала к груди, целуя и всхлипывая.

— Откуда ты? Что стряслось?

— Ничего, все нормально. Рванул из приемника. Надоело.

— Что с детьми? — Глаза ее тревожно светились, она страшилась услышать плохое.

— Живы, здоровы.

— Сердце зашлось, тебя увидела. Думала, непременно несчастье.

Мама понемногу успокаивалась. Я смотрел на нее, узнавал родные черты и в то же время ощущал что-то совершенно новое, незнакомое, исходящее от ее по-девичьи угловатых плеч и резких морщин вдоль лба и вниз от носа.

Мы присели на траву у края поля, и мама забросала меня вопросами о сестре с братом и приемнике. Я кратко поведал ей о своих не слишком-то разнообразных занятиях: ничего особенного, все серо и буднично.

— Цирик сам предложил подвезти? — недоверчиво спросила она, кивнув на мужика. — Он же начальник конвоя!

Тут же забыла о нем.

— Отощал же ты? Узкоплечий. Вымахал, не узнать.

Я подоспел к обеду. Конная повозка с закоптелыми, дымящимися котлами подкатила к ящикам. Со всего поля к ней стекались женщины.

Торчащая над котлами хмурая баба в замурзанном переднике ловко, одним взмахом шумовки шлепала горячую кашу в посудины заключенных. Когда настал наш черед, мама сказала:

— Сын приехал! Не чаяла свидеться.

Повариха моргнула тусклым оком и плеснула нам чуть больше, чем другим.

— Иди, гуляй с сыном, — разрешил цирик совершенно изумленной маме. — К концу работы поспей!

— Доволен чем-то начальник, — заметила мама, когда мы отошли. — Другим и поговорить не разрешал, гнал. Правда из

детей к нам еще никто не добирался.

Денек выдался на славу, как подарок. Едва шелестела листва. Зеленое лесное марево поглотило нас, заслонило от чужих глаз, их ненеужного внимания и суетности. Медленно углублялись мы в заросли, перепрыгивали старые окопы, хода сообщений, натыкались на землянки и блиндажи. Земля была изранена и изрезана, как истерзаны жизни и судьбы людей.

— Чтоб туда даже не смотрел! — словно угадав мое намерение заглянуть в один из блиндажей, предупредила мама. — Сколько несчастий стряслось за лето: то мальчишки подорвались, то корова.

Мы искали ягоды и грибы, но не нашли. Давно не было дождей.

Я брел рядышком с мамой, заглядывал в ее опаленное солнцем лицо. Она не сводила с меня истосковавшихся глаз, словно стремилась насмотреться про запас, и все удивлялась моему появлению. Впервые за многие месяцы на меня смотрели глаза, полные преданности и обожания. Если о чем-то в жизни и мечтать, так это о том, чтобы тебя всегда ласкал и хранил такой взгляд.

Впереди засветлела полянка-выкос со сметанным в середке круглым стожком. Мы разворошили его и уютно устроились, вдыхая душистый настой свежескошенного сена.

Я еще немного рассказал о нашей жизни, почему-то вдруг показавшейся неинтересной, не стоящей внимания и вспоминания. Первая зима в ДПР растаяла в черной дали, впечатления поистерлись, утратили остроту и важность, а злоключения не казались страшными, грозившими гибелью. Так, случайность, которая никогда больше не повторится. Да и ворошить старые скверные истории вроде бы было не за чем, ничего уже не исправить, не изменить. Всем было плохо. Я скромно прошелся по верхам, умалчивая о самом унизительном и мерзком. Давал общую картину. Не сладко плакаться маме, даже упоминая вскользь, как тебя били и убивали. До сегодняшней встречи она не знала об этом — письмо с сообщением о нападении Горбатого к ней не дошло — и воспринимала давние невзгоды в настоящем времени. Растроганная и убитая, она плакала тяжело и долго, а я упрекал себя за неистребимую тягу к разглагольствованиям: нет, чтобы промолчать, а шрамы просто не показывать.

Потом говорила мама. Я не столько вникал в смысл ее слов, сколько упивался дорогими, оживляющими далекие, счастливые дни звуками голоса. Мама вспоминала о тюремных горестях:

— Извелась тогда, изболелась. Лаки, химия, отрава.

Чувствовала: не выдержу, дойду. Позеленела, высохла. Зимой пригнали доносчицу, что меня оболгала. Стало совсем невмоготу. Кислота под руками, и втемяшилось в голову: плесни да плесни ей в бельмы! Все равно конец! Насилу удержалась.

— Здесь, на стройке обтерпелась. В работе поднаторела, не всякий мужик угонится. Котлованы роем, на перекидку в самый низ ставят с лопатой, заводилой. «Включай мотор», — кричит мне бригадирша. Бетонируем, камни вожу на тачке. Заводище отгрохали, видел? Махина. Чего не воздвигнешь скопом! Трудяги здесь в почете, в относительном, конечно. Так что в этом смысле более-менее повезло. Была б послабее, давно б спровадили по этапу куда подальше.

Я прильнул к маме, к ее живому теплу, ощущая своим щуплым и легким тельцем ее силу и слабость, чувствуя ее желание заглушить мрачные мысли своим добрым восприятием окружающего мира, от чего нас два года настойчиво отучала жизнь. На миг вспомнилось, как блатные куражились над честным трудом, над теми, кто трудится. Спросил о другом:

— Почему расконвоированным не разрешают жить дома? Работать здесь, а вечером к детям? Вы отсюда не убегаете, с нами и подавно никуда не денетесь.

Мама жалко улыбнулась, вздохнула. Ее темные, подернутые слезами глаза блеснули живой тоской.

— Наверное, так дешевле. Здесь все такие же преступники, как и я. Почти всех можно расконвоировать. Где их с семьями расселять? … Друзья у меня здесь славные, такие на воле и не снились. Если кто и согрешил, не для наживы, чтоб выжить!

Мы говорили, а наши мысли упирались во что-то неразличимое, огромное: океан непроницаемой тьмы самозапрета, покорности, — и дальше ни слова. Вопрос: — «где справедливость?» — не возникал. Только неодолимая внятная тревога, тяжесть и муторность на душе.

— Нищета и голод к чему не принудят, а настоящая мать пойдет на все, чтобы спасти и прокормить детей. — В голосе мамы звучали оправдательные нотки, и мне стало немного неловко.

— Надоело на этой морковке. Отпрошусь в свою бригаду, в зону. Там труднее, за то кормят лучше. И зачеты.

Это здорово! Есть шанс, что ее помилуют или ополовинят срок.

Мама говорила со мной, как со взрослым, и от этого было приятно и боязно. Боязно от смутного понимания того, что никакой я не взрослый, а слабый, но сверх меры «просвещенный» пацаненок, придавленный чем-то тяжелым и чуждым. В ДПР нас

окружал такий же настрой, такие же разговоры, разве что с более живописными подробностями.

Общение с мамой пробудило давно позабытые чувства своей нужности, зависимости, несамостоятельности. Эти чувства глушили беспокойные думы о будущем, но не возвращали давно утраченного состояния безмятежности, воможности вообще забыть о своей безопасности, не стеречь ее.

Я сомлел и прилег на сено. Мама все также растроганно смотрела на меня, грызла травинку и немое горе стыло в ее широко распахнутых глазах. Как и у старика еврея, моего недавнего попутчика.

Серая осенняя мгла окутала блокированный город. Голод наступил мгновенно и неожиданно, как землетрясение или пожар. Не было времени ни приготовиться, ни решиться на отъезд, ни спланировать ближайшее будущее. Соседи, родственники, знакомые чернели лицами, мрачнели. Ступали не твердо, волоча постариковски ноги. В тоне их говора, в растерянных лицах чувствовалась беспомощность.

А мы с мамой, как и до войны, подолгу гуляли в Юсуповском садике, пускали бумажные кораблики в пруду, глазели на огромные, способные перекрыть улицу аэростаты.

Сводить кое-как концы с концами маме приходилось и раньше. Еще до войны нас выручало ее скромное открытие: дешевизна мясных отбросов. Уши, хвосты, головы, рубец, потроха и прочая требушина назывались кратко: «с боя». Несколько часов кропотливой возни, и неприглядные копеечные отходы превращались в роскошный обед.

Распродажа «с боя» была налажена на Сенной площади в длинном крытом павильоне, имевшем два входа с противоположных концов. Внутри, справа и слева, протянулись ряды торговых ларьков. С начала войны они пустовали, и только «с боя» выбрасывали то в один из них, то в другой. Какой будет торговать и будет ли вообще, никто не знал заранее, а до начала работы павильон держали закрытым. Первым открывали вход, ближайший к прилавку, в котором происходила продажа. Решающим было везение: угадал, к какому из двух входов пристраиваться в очередь, — половина успеха!

После бомбежки Бадаевских складов мама все чаще возвращалась с пустой кошелкой и немым ужасом в глазах: добыча «с боя» превратилась в битву за жизнь. Как-то заметила: у входа в павильон мечется женщина-горемыка. Глаза горят, торкается в спины, как в стены. Пришла в голову отчаянная мысль: пытать счастья напару, авось вместе не пропадем! У

женщины сынишка сидел один замкнутым в пустой, продувной комнатенке. Сговорились бороться сообща.

Две статные, решительные женщины с вечера заняли места у противоположных дверей павильона. Долгая промозглая ночь. Очередь дежурила в покорном молчании, с надеждой и трепетом дожидаясь утра. Неподвижны заострившиеся, старушечьи лица подростков, угрюмы изможденные, истаявшие до ребячьей костлявости старики. Больше всего здесь женщин. Может быть, сегодня последний шанс спасти себя и детей.

В предчувствии физических тягот каждый непроизвольно истязал себя тяготами воображаемыми, пытаясь заранее прожить и пережить до мельчайших подробностей предстоящие перипетии давки, чтобы в нужный момент не ошибиться, не уступить, не сделать опрометчивого шага. Самые злосчастные подозрения терзали сознание, подспудно вбиравшее в себя нервозность толпы. Изводящие мысли кружились, сшибались и вспучивались, вытесняя друг друга в жесткой нетерпимости и подозрительности.

Полумрак, ощущение соприкосновения с огромным, живым, пошевеливающимся организмом колоссальной мощи и непредсказуемого враждебного поведения. Толпа увеличивалась, и волнение мамы перерастало в чувство обреченности и страха. Сама себе казалась песчинкой на гребне крутой волны.

Утро. Ожидание продолжалось, и росла убежденность, что ему не будет конца, и надежды напрасны. Не разумнее ли вернуться домой и отдохнуть после столь продолжительного физического и нервного напряжения? Удерживало последнее усилие воли.

Когда терпение окончательно иссякло и созрела твердая уверенность в том, что двери никогда не откроются и продажи не будет, гремел в замке ключ.

Подгибались в дрожи колени. Очередь прянула к двери. Напор нарастал, и вместе с ним во всем теле взбухали ожесточение, жажда борьбы и победы. Голодные, иззябшие люди, еще минуту назад едва державшиеся на ногах, жали беспощадно, сосредоточенно, с безумной надеждой хотя бы на йоту приблизиться к заветной цели. В лицах упорство, негасимая ярость и готовность на все!

Двери распахивались. Что может быть страшнее мертвой хватки толпы, загнанной в узкое пространство? Она рвется вперед, давит, плющит, несет. Она насилует самую себя. Отчаяние, лезущие из орбит глаза, натужные вскрики и стоны, брань и проклятия!

Круша и топча все на своем пути, толпа вламывалась в павильон. Горящие взоры метались по темному глянцу окошек:

которое открыто? Миг и самые передовые неслись к заветному прилавку.

Какой-то несчастный споткнулся, упал, потерял надежду на добычу. Толпа сомкнулась вокруг, едва не стоптав.

В нечеловеческом напряжении мама вырвалась из людских тисков и бросилась к хвосту новой очереди. Грудь в спину, грудь в спину вжимались друг в друга прорвавшиеся в павильон добытчики. Руки в стороны, в растопырку, — посторонних вон! Дикая, жалящая, многоглазая, многоногая живая вопящая змея сдавленных тел колебалась, росла.

Мама в головке змеи; теперь нужно примазать подругу, переорать, переубедить жаждущих справедливости соседей.

— Осади! Без очереди!

— Пошла вон!

— Она стояла!

— Не видели!

— Выперли ее!

— Не пустим! Вали отсюда!

— Она стояла! Передо мной!

— Сама и пускай!

— И пущу!

Короткая словесная перепалка не могла вылиться во что-то большее, каждый дрожал за свое место и боялся его покинуть. Побеждали агрессивность и напористость.

Забыв об усталости, волокли домой полные сумки куриных голов и лап, свиных копыт и желудков, щедрой мерой вкушая радость удачи.

Повезло маме с подругой разок-другой, но врубилось в память это везение. Оно стало той песчинкой, которая склонила чашу весов к отметке жизнь, а такое не забывается.

Голодовка усиливалась. Торговлю «с боя» прикрыли; не было ни забоя, ни отходов. Ларьки сломали на дрова и сожгли. Гасли последние надежды. Мы уединились в своей комнатенке. Мир будто вымер. Даже пощелкивание метронома знакомо нам не было, репродуктором обзавестись не успели. Газеты не приходили. Новости, слухи, кривотолки добывала мама в очередях за хлебом.

Вернулся из ополчения отец. Обмороженный, больной, с седой щетиной на впалых землистых щеках. Вялые движения, негромкая медленная речь неузнаваемо изменили его. Мама долго мыла его за занавеской, кипятила завшивевшую одежду, истребив последние запасы дров, — паркет из соседней комнаты.

Отец отоспался, отогрелся и поплелся на работу. И нам снова повезло. Там раскапывали ямы с многолетними,

пронафталиненными захоронениями мездры. Ее вымачивали в марганцовке и варили похлебку с осклизлыми ошметками жира и неистребимой вонью нафталина.

Отец ее есть не мог, не принимало нутро. Мать почти насильно впихивала в него вонючее пойло, но оно тут же исторгалось обратно.

Отец быстро слабел, а в январе слег и уже не поднимался. Растревоженный истошным воем сирены и грохотом близких разрывов, он сползал со своей кровати и подолгу, пока хватало сил, сидел у нас на постели. Держал меня за руку, иногда склоняясь и осторожно целуя мои волосы и глаза шершавыми, сухими губами, покалывая жесткой щетиной. Потом также целовал сестру и брата. Они спали днем и ночью. Пробуждаясь тихо и незаметно, искали глазами маму. Если мама была дома, она приподнимала нам головы, подсунув ладонь под затылок, поила горячим кипятком или пичкала дымящейся мездровой похлебкой.

— Это суп. Глотай смелее! Ешь, кому говорю! Не била давно!

Вот также настойчиво и непреклонно она скармливала нам лекарства еще до войны. Приученный к безоговорочному подчинению, проталкивал я жирные, пронафталиненные клецки в горло, подавляя рвоту и чувствуя, как горячее варево расплавленным свинцом заливает желудок.

Череда дней слилась в сплошную, нескончаемую ночь. Из своего теплого кокона я все реже проклевывался в ледяной, отдаляющийся мир. Фиксировал: изменений нет, и втягивался обратно во тьму, бездумье и мертвящий покой.

Все давно бы кончилось, но мама не сдавалась. Только стала бояться зеркала. На черном лице ее в глубоких провалах безумно горели огромные глаза, способные, казалось, воспламенить и испепелить все вокруг.

Добывание съестного — отоваривание карточек — требовало всех душевных и физических сил. Не ведая покоя и отдыха, в неодолимом отчаянии, как будто сжигаемая нещадным внутренним огнем, кружила она по замерзшим улицам в поисках спасения. Выстаивала бесконечные очереди за крохами хлеба, тащила домой обломки мебели и дерева из свежих развалин, заглядывала на отцовскую работу в надежде на помощь. Не знала, откуда брались силы, не размышляла о безнадежности или шансах на спасение. Ее гнал из дому мощный и властный зов: вызволить, выцарапать из лап смерти детей. Спасение могло прийти только извне. Пассивное ожидание в промерзлых стенах нашей комнатенки-усыпальницы сулило верную гибель.

Грянула радостная весть: эвакуируемся! Отъезд назначили на

конец февраля, но возникло новое препятствие: военкомат не отпускал отца. Существовал приказ — всем мужчинам на защиту города!

Отчаявшейся ли женщине противиться приказам военного времени? Обессилевшей ли женщине обивать пороги военных учреждений?

Мама возвращалась заплаканная, измученная. В пальто и сапогах валилась рядом с отцом, рассказывала: у каких дверей дожидалась, что объясняла, у кого просила. Понимала: еще немного, день, час, и не выдержит, сломается. Тогда конец всем. Решилась на крайний, отчаянный шаг.

Укутав потеплее спящего братишку, прижала его к груди и вышла на пустынную улицу. Согбенной, колеблющейся тенью побрела с бесценной ношей по узкой тропке меж белых сугробов. Мелкими, медлительными шагами от дома к дому, от перекрестка к перекрестку.

Ветрено, морозно. Только бы не поскользнуться, не упасть, не потерять сознание от голода; меж жизнью и смертью несколько мгновений неподвижности. В подъезде военкомата в изнеможении опустилась на лестничную ступеньку и долго отдыхала, прислонившись спиной к перилам. Собиралась с силами, готовилась к последнему решающему броску.

Отдышавшись, одолела два лестничных пролета и без задержки, не раздумывая и не травя душу, ввалилась в знакомый кабинет. Знакомый начальник вскинул на нее красные, утомленные глаза.

— Подпишите, — прошептала мама задыхаясь, протянула бумажку и почувствовала себя способной на все: драку, истерику, убийство.

— Я ж вам объяснял, — мертво буркнул начальник, не замечая крайней взвинченности застывшей перед ним женщины. — Мужчин мы не отпускаем!

— Вот вам еще мужчина! — с плачем взвизгнула мама и опустила завернутого в одеяло брата на стол, на бумаги. — Сейчас еще мужчину притащу, постарше!

Она устремилась к выходу с твердым намерением приволочь сюда меня, сестру, отца. Пусть сами спасают или хоронят! Не успела спуститься и на один пролет лестницы, как сзади послышалось:

— Гражданочка, вернитесь!

В кабинете начальник нервным росчерком пера молча подмахнул бумагу, притиснул печать.

Пошатываясь от усталости и пережитого взрыва возбуждения, еле волоча подгибающиеся ноги, мама поплелась домой, ощущая

себя сильной, способной преодолеть оставшиеся трудности и спасти семью.

— Едем! — воскликнула она с порога.

Отец не отозвался. Взглянув, она с ужасом осознала, что он не отзовется никогда.

Нестройная колонна лагерниц тесным табунчиком, без конвоя, сама себя поспешно гнала в зону. Усталым жеребенком, слегка приотстав, поминутно высматривая в толпе маму, послушно трусил и я, глуша в себе стыд и неловкость. Казалось, по обочинам дороги выстроились широкие массы кристально честных вольных людей и презрительными взглядами провожают меня.

Снова очередь к черному походному котлу. На этот раз повариха глянула недобро: непорядок не нравился. Плеснула в мамину мисочку не больше, чем другим. Мама подсунула кашу мне, но я воспротивился. Я привык справляться с голодом самостоятельно, не боялся полуголодного состояния. Будь то украденная капуста или обычная кормежка в приемнике, я всегда брал только то, что мне полагалось, никого не ущемляя и не испытывая неловкости объедалы и обидчика. Кашу мы съели вместе.

Морковки было навалом. Я пронес в лагерь полную запазуху. Заключенным это запрещалось, но меня не остановили. Я грыз ее, а мама даже потерла, но морковка не насыщала.

Попозже мама купала меня в последний раз. В закутке лагерного дворика на две табуретки было установлено металлическое корыто, в котором заключенные стирали одежду. Огрубелые, шершавые ладони скребли и терли мое грязное тело. Наскучившие руки ничего не забыли, сновали проворно и ловко, как в стародавние времена, когда нужно было искупать троих. Я замечал добрые улыбки женщин, издали посматривающих на нас, немного стеснялся.

Вообще-то мое явление не вызвало особого изумления. В глубине души я рассчитывал на большее внимание. Видимо, мой приезд оказался настолько необычным и неожиданным, что и реагировать на него было не понятно как. А, возможно, нас старались не замечать сознательно, чтобы не отвлекать друг от друга, дать подольше пообщаться, побыть вдвоем.

Ослепительное сияние дня осталось за порогом юрты. Сквозь маленькие оконца яркие снопы света били внутрь и рвали серый полумрак, заполненный рядами двухэтажных деревянных нар. У входа белела непомерных размеров приземистая плита. На ней вместе с одеждой заключенных сохли и мои трусы и майка.

Закутанный в простыню, сидел я на маминой постели, прислушиваясь к непонятной внутренней тревоге, едва различимой, но становящейся все отчетливее по мере того, как солнце клонилось к горизонту. Загорелые женщины столпились вокруг. С верхних нар свешивалась голова с длинной толстой косой. Снова я рассказывал о приемнике. Женщины стояли неподвижно, слушали молча, объединенные до странности одинаковыми выражениями лиц, омраченных застойной тоской. То одна, то другая смахнет прозрачную слезу и опять замрет. Я спросил шепотом у мамы:

— У них есть дети?

— Да, у всех, — был ответ.

От тихих горестных женских слез становилось не по себе. Царивший здесь особый, размягченный бабий дух смущал и тревожил.

Появился цирик, встретивший меня утром. Кольнул косым, недовольным взглядом: дескать, пора и честь знать. Подозвал маму.

— … Немедленно, — донеслось ко мне.

— Сейчас, сейчас, — запричитала мама покорно. — Только записочку напишу.

С карандашом и листком бумаги она пристроилась у тумбочки и что-то старательно писала. Тоненький карандаш выглядел почти спичкой в ее большом коричневом кулаке.

До меня дошла неодолимость новой разлуки: пора уходить! Нагостился, урвал незаконного счастья общения с собственной мамой. Скрытая тревога, мутной дымкой стлавшаяся за всеми сегодняшними событиями, холодным туманом поползла в душу. Привычная тяжесть придавила плечи. Снова нужно было полагаться только на себя, самому принимать решения. Снова мы разлучались, но я уже не был тем наивным и беззащитным ребенком, каким мама оставила меня два года назад.

В тон нашему прощальному настрою с дальних нар забился в упоении безнадежным плачем пронзительный женский голос:

Никто девчононьку не любит,
И никому ее не жаль.
Никто тоски ее не знает,
И не с кем ей разделить печаль.

От мамы я не услышал ни назиданий, ни напутствий. Мы даже не обсудили, погостить мне у тетки или сразу махнуть обратно в ДПР.

Мама сунула мне серый треугольник письма и проводила

далеко за деревню. По ее шоколадным щекам скатывались прозрачные слезы, она подавляла рыдания, не могла говорить. На прощание всплакнула всласть, с надрывом, оплела руками, обмякла и долго не отпускала. Суждено ли еще свидеться? Если и суждено, то не скоро. Впереди срок под завязку, а судьба зэков переменчива и непредсказуема. Страшно было думать о предстоящих годах разлуки.

Оплаканный, я не выронил и слезинки, унося с собой новую боль, которой полоснула по сердцу жалкая, растерянная гримаса маминого лица.

Знакомая придорожная тропинка петляла в траве. Оглянувшись, я увидел маму, чтобы запомнить навсегда. Она стояла в золотом диске упавшего солнца по-девичьи стройная, одинокая, в грубых растоптанных бахилах. Ветер колыхал длинную юбку, трепал седой локон, выбившийся из-под белой косынки, по-старушечьи повязанной под подбородком. Ей было тридцать три — славный библейский возраст, расцвет жизненных сил. Она неотрывно смотрела, как я ухожу все дальше и дальше, уверенно шлепая по утоптанной земле.

О чем она думала? Мне почему-то вспомнилось услышанное в поезде: «Дети надо иметь? Камни надо иметь!» Нет, наверняка не об этом.

Природа дала ей счастье родить детей. Вскормить и выпестовать не привелось, — удостоилась невольничьих пут, кайла и тачки. Предначертаниям природы не устоять перед извращенностью и уродством монстров тьмы, порожденных катастрофой человеческого духа. Сколько щедрого богатства молодых чувств, сколько любви было погребено ими заживо, принесено в жертву наркотическому безумию власти? Если бы вся безобразность, весь ужас их черных душ предстали зримо, то и Дантов ад померк бы в несравненном благообразии!

Нам выпало расти без матерей, вылетать из гнезд неоперившимися птенцами, без надежд на возвращение за недобранным теплом. И на миг окунуться вновь в безмятежность детства и божественную мамину опеку не посчастливилось. Слишком далеко унесло меня от неведения домашних мальчишек.

Было грустно, и в то же время другое, гораздо более сильное чувство овладевало мной, — чувство огромного облегчения. Открытая, обнаженно унизительная обстановка лагеря оскверняла наши отношения, отношения сыновней и материнской любви, всегда глубоко интимной, сокрытой от посторонних. Оскверняла вдвойне, на глазах друг у друга, одинаково беспомощных и раздавленных.

Моя смиренная трусца за покорной серой колонной не оставляла никаких надежд на милосердие: прошлую жизнь отрезало, нужно принимать новую как она есть. Былое никогда не вернется, и надеяться было абсолютно не на кого и не на что.

Не ощущалось ни беспомощности, ни открытости, ни потребности в защите, как два года назад. Скорее всего, я чувствовал себя взрослым и самостоятельным, пересекшим некий рубеж, замкнувший дверь в детство. Ничего не оставалось, как и дальше податливо приноравливаться к осквернённому миру, начать восхождение отшельником, взрасти в одинокого, травленного волка-бойца. По-видимому, это был один из моментов, когда здоровое чувство нравственной независимости отчужденного стаей возникает в сознании, что-бы прижиться там навсегда.

Письмо я прочел в поезде. Мама умоляла пожалеть детей и отправить их в детский дом. «Я провинилась и несу наказание. За что мучаются дети? Неужели они потеряют третий учебный год?» Письмо было адресовано Кагановичу. Последняя многовековая искорка веры еще теплилась в ее душе: еврей должен помочь еврею.

На следующий день маму перевели в главный лагерь. Пару раз я наведывался и туда. Никто из конвойного начальства до выслушивания моих просьб о свидании не снизошел. Я слонялся вдоль нескончаемого высоченного забора из колючей проволоки, опоясывающего бараки, и, оказываясь на одинаковом удалении от двух соседних сторожевых вышек с пулеметчиками, кричал в зону и просил позвать маму. Она спешно прибегала. Стоя по разные стороны забора, мы подолгу смотрели друг на друга и молчали, лишь изредка вскрикивая:

— Мама!

— Сын!

31
Возвращение

Что делать с обретенной свободой? Огромен вольный мир, а прибиться не к кому. У тетки царили убогость и нужда, на прокорм не заработать, а низменные переживания заурядного дармоеда-приживальщика оказались куда горше привычных неурядиц ДПР. Гульнул на волюшке, вкусил от ее щедрот, — пора подаваться восвояси. Как ни прикидывай, а только в приемнике есть обжитой угол с теплой постелью и налаженный быт с законной пайкой.

Тетка, без слова укоризны принимавшая незванного гостя, на прощание растрогалась. То ли нищету свою ощутила острее и безнадежнее, то ли невозможность помочь рождала сострадание и боль.

— Проклятущее время! Все прахом пошло! Наша жизнь загублена, и у вас не заладилось с детства. — Она сглотнула рыдание и сунула мне два рубля. — Горемыки мы, горемычные. Невмоготу станет, приезжай. Перебьемся.

Оплаканный у порога, двинулся я обратно неприкаянным голодранцем с ясным ощущением правильности принятого решения. Иного мне не дано, — только ДПР!

По дороге на вокзал скис окончательно, терзаемый муками добровольной сдачи в плен; убегали из приемника многие, обратно по своему желанию никто не возвращался. Привалить с покаянием, с повинной, — что может быть позорнее по кодексу живучих блатных законов? Поиздевается пацанва всласть:

— Прокормиться на воле не смог, фитиль криворукий! Сидел бы на нарах, не рыпался!

Думать о воспитателях было еще тошнее.

— Утек?! — съехидничает начальница. — Мотался б на воле. Вот вышибу к чертям собачьим! Созрел для колонии!

Я изыскивал оправдание своей никчемности, изворачивался, но ничего убедительного в голову не приходило. Придется заново налаживать дпрэшную жизнь.

С муторным чувством оскорбленного и легким мандражем заскочил в булочную и поистратился, купив пару городских саек, — гостинцы брату и сестре. Тянуло взять на два рубля ситного, но свежие булки пахли так аппетитно и заманчиво, что не удержался.

Прижимая к груди кулек с сайками, нырнул в толпу прущих на посадку пассажиров. Пригибался, хоронился за спинами, но

изловчиться и проникнуть на платформу без перронного билета не смог, напоровшись на остроглазого контролера. Окаянный цербер вцепился в меня наметанным взглядом, и как я ни изощрялся, прошмыгнуть мимо не удавалось.

— Чеши отселе, босяк! В милицию сдам! — Гоношился ревнитель порядка.

Я сбился с ног, рыская по вокзалу в поисках какой-нибудь лазейки, но быстро понял, что пробраться к поезду нет ни малейшего шанса.

В зале ожидания не сиделось; на бетонном полу мерзли ноги. Огорченный и расстроенный, кружил я поодаль от входа на платформу. Не возвращаться же к тетке за деньгами на перронный билет?

Контролер положил на меня глаз и, видимо, успел кивнуть менту. Тот вышел на меня спокойно и целеустремленно. Убегать не было смысла.

В отделении отбили телеграмму в ДПР: встречайте, прибудет скорым, ночным. Хотелось объяснить, что никакой срочности нет, что удрал я давно, а днем раньше вернусь, днем позже, — какая разница? Застенчиво промолчал.

Тревоги отлегли от сердца, безнадежный покой пожизненного каторжанина снизошел на меня. Как я раньше не дотункал попасться?

Приеду, напущу понту о похождениях на воле, наплету, что взбредет в голову. Как тыркался по балочкам и шалманам, как пробрался в лагерь заключенных, как замели меня мент с контролером. Сам бы нипочем не сдался!

Унылый и тягостный, обратный путь так не походил на недавнее путешествие в компании пьяных попутчиков, когда последняя смутная надежда избавления от ДПР потаенно, исподволь вела меня за собой. Ощущение зловещей обреченности, постепенно овладевшее мной, лишило остатков иллюзорных грез.

В тиши купе первого в моей жизни мягкого вагона судьба словно специально предоставила возможность спокойно поразмыслить над позорным настоящим, безрадостным прошлым и безысходным будущим.

Сопровождающий безгласно дремал в углу. Он направлялся куда-то по своим служебным делам и меня прихватил по дороге. Я забрался на верхнюю полку, где было уютно и душновато. Приятно пружинил матрас, его потертая матерчатая обивка пыхала в нос пылью при каждом неосторожном движении. Колеса звонко выгромыхивали дробный мотив. За окном на фоне темнеющего горизонта прыгали острые верхушки елей.

Приеду ночью, растормошу брата и сестру, угощу городскими булками. Будут рады радешеньки. Скажу, мама прислала. Скажу скучает, зачеты зарабатывает. Позавидуют, что с мамой повидался. Целый день гостил. О таком счастье и не мечталось.

Но счастливым я себя не чувствовал. Припухон продолжался. Придется еще зиму чахнуть в отвратной комнатенке с окном на реку. Невезуха, три года загублено. Кому будет нужен полуграмотный неумелый оболтус? И мама, и ее братья выучились, институты окончили. Жаль, братья погибли на войне, а то помогли бы.

Третий год пустой поднадзорной маяты вырисовывался во всей своей неотвратимости и беспросветности.

Что страдать, — утешал я себя, одолевая уныние. Кому сейчас хорошо? И тетка мучается, все так. В ДПР хоть не досыта, но кормят … Чтоб не томиться бездельем, научу сестру и брата читать. Чем не занятие? Учебники отниму у какого-нибудь вольного первоклассничка. Следующим летом снова к маме наведаюсь.

Еще весной глухой душевной опустошенностью на меня накатывало то безразличие, то тревога. Будущее казалось начисто перечеркнутым двумя годами отсидки; после ДПР жизнь потеряна безвозвратно и можно бездумно плыть по течению. Блудным отпрыском возвращаясь в родное лоно, я твердо знал, что выбора действительно нет. Только покорность и смирение. Видимо, мне на роду написано ожидание и ожидание без конца.

Манящий запашок городских кружил голову. Я не выдержал и, стыдливо помявшись, отъел тоненький обломок продольной складки одной из саек. Могли же ее случайно ободрать в булочной? Не утерпел и также обгрыз вторую. Крошка за крошкой скусывал я хрустящую корочку с поджаристых боков и с наслаждением сосал ее. Она таяла прямо во рту, как сахар.

Остановиться вовремя не успел, а когда спохватился, обомлел от досады: саечки предстали в невиданном обличии, совершенно без корочек! Оклеванные ровнехонько со всех сторон, они походили на комья серой ваты. Случайными, магазинными отметинами здесь и не пахло. С первого взгляда ясно, что это мякиши-оглодки, над которыми кто-то искусно потрудился. Стоп! — опомнился я, сунул остатки изгрызанных, обезображенных городских за майку, твердо решив умереть, но не отщипнуть больше ни крошки.

Встречала меня заспанная тетя Дуня. Предварительная взбучка свелась к сварливому назиданию:

— Приблудил, поганец! Чаво шлындрал?! Дома тепло, светло, и мухи не кусают. Кормежка, одежка. А они, окаянные, умные

шибко! Рыщут неведомо где и зачем!

На том и примолкла. Ухватила мокрой и ледяной, как смерть, лапкой и потянула домой.

Серый дом стоял богоугодной хороминой, нерушимой и вечной как мир, по-летнему пустой и гулкий. Он принял меня как своего, утешил и приласкал знакомыми запахами, понятными звуками. Здесь все казалось просто и легко, ко всему я был причастен. Я так глубоко и полно осязал и ощущал приемник, как будто сам его вылепил и населил людьми. В любой момент я представлял, что происходит в каждой из его комнат или даже во дворе, на пляже, в блиндаже. Хотя существование в ДПР изжило себя, я перерос этот простой мирок, другого пристанища у меня не было. На своем исконном местечке я был спокоен и уверен в себе. Сколько б ни коптиться в этом задрипанном приюте, сколько б ни поджидать прихода заветных путевок, изводящего бремени нахлебника-объедалы здесь не знать.

Перед завтраком пришлось дожидаться зиночкиного зова под окном канцелярии. Нужно было отчитаться после вольных странствий. Тетидунину ворожбу, донесшуюся из окна, подслушал случайно:

— Нечаянный, неожиданный интерес в казенном доме.

— Что ты, тетя Дуня! — возразил сиплый зиночкин голосок. — Какой может быть интерес в этом доме?

— Я знаю? Что выпадает, то и гадаю. Врать не стану.

— Ладно, продлжай.

— Грелка-то горячая? А то пойду, нацежу кипяточку. Прижми ее к животу ить, прижми! Полегчает. Разворотил он там тебе все.

— Пропаду я в этой общаге. Хоть какую бы мне клетушку отдельную. Всем бы за нее поступилась, никем не побрезговала бы.

— Знамо дело, да порушено все.

— Тут одну развалюху трухлявую предлагали за городом. Две тыщи стоит. Деньжат бы занять!

— Где займешь? Лучше прищепляй медали и дуй в сполком, проси жилье.

— Безнадега! Там баб с детишками, да калек!

— Ты добивайся, требуй!

— Нет жилья, что требовать. Об осени с ужасом думаю. Хоть темный чулан в бараке, только б долой с глаз людских. Все бы наладилось … Что за жизнь, от получки до получки не дотянуть?!

— Все в долг, все в долг.

— В кармане вошь на аркане да блоха на цепи.

— А, прожженный бродяга! — Встретила Зиночка мое

явление. — Сподобились милости, вернулся! Как тебя завижу, всегда гадаю: что опять отчубучил? Сколько раз с тебя штаны сблочивали?

— Раз пятнадцать.

— Во! А не поумнел! На шестнадцатый нарываешься! Пофасонишь с голым задом до осени, обалдуй! Где носило, докладывай!

— У мамы …

Женщины изумленно разинули рты, но слушали с любопытством и отпустили с миром и в трусах: то ли забыли о решительных намерениях, то ли пожалели.

После ужина Толик повел меня по заповедным уголкам города, словно я отсутствовал целый год и страшно соскучился по оставленным здесь красотам.

Густая толпа зрителей покидала кинуху. Мы просочились сквозь эту толпу в зал и уселись на свои абонементные места на полу перед первым рядом, задрав головы к экрану. Смотрели — который раз! — фильм о маленьком погонщике слонов. Наслаждались дивным зрелищем, пока обильные теплые струйки не поползли под нас из-под скамеек.

Зал покидали с легкой досадой и будто врубленными в мозг сценами фильма: огромные туши слонов кишмя кишат, и на одной из них, в самой стремнине, крохотный затерянный голый мальчишка.

Спать не хотелось, и мы подались на зов музыки, доносящейся из парка. Неясные силуэты в серой полутьме аллей, воркотня и лобызания парочек по кустам, открытая танцплощадка. У входа толкался не танцующий забулдыжный люд.

Мы ротозейничали из-за деревьев, опасаясь в сей неурочный час напороться на кого-нибудь из взрослого персонала ДПР.

Над густой шаркотней множества ног заливисто взвивалась медь труб, позвякивали тарелки. Мы подождали, пока оттрещал пронзительно-гремучий фокстрот, за ним откружили занудные повторы бального танца:

Сережа, Сережа, Сережа милый мой!
Не хочешь, не надо, катися колбасой!

Далее поплыла исполненная мягкости и трепетности мелодия танго. Больше всего мне нравились вальсы. Как околдованный, вслушивался я в зовущие, волнующие звуки:

Там на шахте угольной паренька приметили,

Руку ему подали, повели в забой.
Девушки пригожие тихой песней встретили,
И в забой отправился парень молодой.

— Маня! — пискнул Толик.

Любопытной дикаркой кралась Маня поодаль от танцулек, с жадной завистью пожирая глазами галлопирующие по площадке сдвоенные тени. Давняя история с абортом отвадила ее от приемника, и видели ее мы редко. Она неузнаваемо изменилась, раздалась, заматерела; все ее округлые формы строптиво выпирали из короткого и узкого ситцевого платьица, лицо огрубело, обрело лошадиную вытянутость.

Ненароком Маня набрела на стайку вольной шпаны. Те прицепились хвостом, лапали за груди, дразнили.

— Задрыгуся! — визжал туземец, едва по плечо Мане.

— С кем сегодня! — дергал другой за болтающийся поясок платья и лез под подол.

— Честная давалка! — кричал третий.

Маня жеманно отбивалась, кривила пухлые губы томной улыбкой. Из боковой аллеи вывернула пара приблатненных верзил. С напускным негодованием отогнали привязчивую шушваль и подхватили Маню с боков.

— Еще полезут, позовешь нас!

— Зеньки повыткнем, кто тебя тронет!

— Айда с нами, достояние народное!

Маня упрямилась, тянула к людной, освещенной танцплощадке.

— Не ломайся! — вскипел угрожающий возглас.

Парни повлекли Маню вглубь аллеи, где запущенный парк постепенно сливался с лесом. Меня вдруг словно хлыстом полоснула жалостливая, страшно знакомая мольба:

— Только не бейтесь! Не бейтесь!

— Носить будем кроха… на грудях, — звучал в ответ развязный хрип. — Эмблемой чистоты и невинности.

— Маня, Манюнька, Манюсенька! Да мы …

Гром оркестра глушил удаляющиеся голоса.

Давний, внезапно нахлынувший ужас пригвоздил меня к месту. Три тесно обнявшиеся тени таяли в густом мраке дальних кустов и деревьев.

Через неделю здесь же в парке мы едва не налетели на знакомую парочку: Зиночка и изрядно спавший с тела Жирпром неспешно фланировали по дорожке в том же направлении, куда уволокли Маню.

У Толика нижняя челюсть чуть не отпала. Мы рванули по кустам к забору и прямехонько в ДПР.

Зиночка гуляла бездумно в эти последние теплые ночи. Приходила измочаленная, распатланная, с соломинками в волосах. Мазала вонючим вазелином искусанные губы, смотрела невидящими глазами, безучастная ко всему, кроме канцелярского дивана. Его она и проминала, отсыпаясь до обеда.

Углубленная во что-то свое, сокровенное и важное, Зиночка устранилась от дел приемника. И на реку, и в редкие вылазки на торфоразработки, и на огород мы отправлялись самостоятельно, без взрослых. Зиночке было на все наплевать, словно внутри нее разлилась всезатопляющая сладость, и нужно насытиться, донежиться пока двадцать лет и лето милостиво, а там хоть трава не расти!

Жизнь вроде бы катила по раз и навсегда заведенному распорядку, но чувствовалось, что наш примитивный быт в чем-то разладился. Приемник как будто сам беспризорно плутал среди вольных лесов и полей. Во всем царили безразличие и равнодушие, мое возвращение едва заметили.

Родная группа приняла меня без насмешек и особого любопытства. Никто не требовал откровенности, не пытался дразнить. Слегка порасспросили и забыли и о моем существовании, и о моем побеге.

Привычно побрели дни, я растворился в их неспешном кружении. Пасмурным вечерком заноет, заболит душа о недоступном детдомовском рае и злосчастной доле, и снова все нипочем! Ожидание тлело глубоко скрытым, подземным горением, очень редко вырываясь наружу.

Узы ДПР стали необременительными. Молчаливая безучастность взрослых дарила нам слегка прикрытое формальностями и режимом, но в действительности бесконтрольное существование: обманчивую свободу зажатых в тиски бессрочной отсидки расконвоированных узников.

Мы старались взять от последних летних деньков все возможное. Как прирученные звери, вместе сходились в установленные часы к кормушке, а большую часть дня проводили вне дома. Если зимой снежное царство за окном давило своей неизменностью, вечностью, то сейчас бег времени был неуловим. Каждый дождливый день пугал не на шутку: не станет ли он той вехой, за которой кончается свобода и начинается новый виток отсидки?

Распутный настрой Зиночки растрепал, разобщил старшую группу. Она распалась на два стада: опытных аборигенов и малолетних новичков.

Новички держались вблизи приемника, купались у обжитого лежбища в мелкой заводи. Ребята поднаторели в «собачьем» стиле плавания, девчонки загребали по «бабьи».

Старожилы стайками по два-три пацана расползались во всех направлениях, лишь бы долой с глаз воспитателей, лишь бы подальше от ДПР. Мы не только избавились от опеки взрослых, но и откололись от измельчавшего дпрэшного племени.

Мы с Толиком любили дикие прибрежные заросли, любили уплывать на другой берег в парной дух перегретых, упревших под солнцем камышей, где вечерами с заполошной страстью орали лягушки. Топали в приемник с охапками стеблей кувшинок на плечах. Чтобы их нарвать, приходилось долго барахтаться в реке среди густых водорослей, рискуя в них запутаться и утонуть.

Границы нашего обитания неизмеримо расширились. Вдоль и поперек избороздили мы улочки и переулки городка, излазили сады и огороды. Частенько подавались в ближайшие поля и леса, бродили там одичавшие, сроднившиеся с волей и безнадзорностью. Как и прежде, изобилие свежего воздуха возмещало недостаток хлеба, а жизнь впроголодь обкатана с незапамятных времен.

Шныряли мы и по кладбищу, и по изгаженному, порушенному погосту, и среди местной голытьбы на паперти, где каждый бухарик, каждая шлюшка были нашими добрыми знакомыми.

Мне нравилось валяться на траве у конюшни ветлечебницы. В лишаях и парше, гниющие заживо одры висели на широких ремнях, охватывающих раздутое брюхо каждого из них. Копыта едва касались земли. По утрам косячки озабоченных ветеринаров ковыряли распухшие, покрытые струпьями и язвами крупы, всаживали уколы огромными шприцами. Влажные, вздрагивающие глаза лошадей едва тлели сквозь мутную пелену многодневного беспамятства.

Куда бы ни швыряла нас непоседливость, куда бы ни направляли мы свои стопы, все пути сходились на толчке. Не навестить это притягательное местечко хотя бы раз в день было сверх наших сил. Здесь я последний раз видел Маню.

Размалеванные губы ее алели кармином, выщипанные бровки поникли изломанными крыльями стрекозы, слегка шелушились опрыщавевшие, густо припудренные щеки. Она медленно, ступнями вовнутрь, несла перед собой оттопыренный арбузом живот. На нем холмились отвислые груди, и на одной из них сверкал настоящий гвардейский знак.

Маня ковыляла вперевалку сквозь шум и суету широкого проезда меж торговых рядов, устремив в себя неподвижный взор.

Рот ее был слегка разинут, на лице застыла обиженно-удивленная маска.

Сзади к Мане почти вплотную подкралась полуторка и тихонько, еле-еле покатила как бы почетным эскортом. Из открытого окна кабины торчала чубатая башка с плоской рожей разбитного водителя. Его широченную, зияющую пасть рвал с трудом сдерживаемый восторг. Он молча размахивал рукой, призывая торгующий люд полюбоваться величавой маниной поступью.

Серое месиво толпы жалось к обочинам, обтекая Маню и ползущую за ней машину, уступая им всю ширину дороги. Маня не замечала ни полуторки, ни множества вытаращенных на нее глаз. Приезжие недоумевали: в чем хохма? Завсегдатаи снисходительно ухмылялись.

— Снова брюхата!

— Ветром надуло!

— Развела фигли-мигли со всем гарнизоном!

— Дочь полка!

— Не обезлюдеть приютам!

У самого выезда, когда Маня должна была вот-вот исчезнуть за базарными воротами, шофер резко гуднул. Девушка дернулась и, обмякнув, опустилась в дорожную пыль прямо под капот остановившегося грузовика. Ликующий шофер ржал громко и нагло. В толпе сквозили прихотливо-плутоватые ухмылки юродивых.

К сентябрю прекратился отток в ремеслухи самых старших воспитанников. Много трех-шестилетних пораспихали в дома малюток. Перепало приемнику и несколько случайных путевок в детские дома, доставшихся почему-то новичкам, не прожившим у нас и полгода. Меня, Толика и еще десятка полтора старичков со стажем, как всегда, обошли.

Заполонил группы и спальни новый поток слабосильной, непросвещенной мелюзги. Зиночка пыталась организовать распиловку дров, но пригодных к этому делу ребят не нашлось. Мы с Толиком принялись было за пилу и топор, но быстро устали, натерли кровяные мозоли и с радостью бросили это непосильное для нас дело.

Третий год отсидки надвинулся вплотную черными осенними тучами. Сентябрь — первый месяц учебного года — уплывал вместе с последними надеждами на отъезд. Усилилось чувство заброшенности. Мы слонялись по дому в раздраженно-бездумном настрое, без дела и без желания чем-либо заниматься.

Я принялся писать дневник. Каждый вечер кропал две-три строчки о самом интересном, произошедшем за день. Однажды

перечитал написанное и обомлел: ежедневные меню. Странно… Наше пустое приемнитское томление всегда казалось противоестественным и несправедливым, но, в то же время, значительным и беспримерным, даже поучительным, а тут сплошная обжорная карусель.

И решил я учить сестру и брата грамоте. Занятия двинулись невиданными темпами. За пару дней превзошли азбуку, а через неделю читали по складам. Вмиг передал я все свои знания, с тоской ощущая их скудость.

В тот день мы притулились в углу зала с карандашами и листками бумаги. Занимались арифметикой.

— Эта задача решается минусованием, — смешно выговорил брат.

— А эта что, плюсованием? — передразнила сестра.

Она глядела на меня, ища поддержки, но мне нравились образовываемые братишкой новые слова, и я смолчал.

Брат, принимая молчание за одобрение, тут же выдал:

— Теперь давай диктоваться. Говори буквы.

За окном дождь нашептывал унылую осеннюю песню. Мокрая тяжелая листва, подернутая серовато-коричневыми пятнами, моталась и вздрагивала с порывами ветра.

Впопыхах, с громким криком в зал вбежала возбужденная Зиночка:

— На линейку! Быстро! Обе группы!

32
Я твой бессменный арестант

Голос Зиночки пронзительно дребезжал в бездыханной тишине переполненного зала. Одного за другим выкрикивала она отъезжающих в детские дома, и после каждого выкрика в толпе детей ярким и добрым светом зажигалась пара взволнованных, недоверчивых глаз. Скакнуло и радостно забилось и мое сердце: я, сестра и брат были в списке. Рядышком вздрогнул оглушенный Толик, — и ему подфартило. Список включал всех старожилов, отбывших здесь по два-три года.

Свершилось! Сколько раз представлял я себе этот заветный миг, жил им, призывал его в самые безнадежные и отчаянные минуты! И он грянул даром судьбы и пришиб, ослепил, лишил мыслей и слов.

Мы не возликовали, бурные восторги не значились среди наших чувств. Бесконечное ожидание прочно взнуздало нас сдержанностью и суровостью. Мы стояли и молча вбирали в себя этот торжественный, запоздалый, но бесконечно желанный миг.

В те секунды, как и в течение каждого мгновения глухого безвременья двухлетней отсидки, я жаждал одного: немедленно покинуть эти стены, шагнуть в переменчивый мир, где есть будущее, где мы станем обычными детьми с портфелями и учебниками, в пальто и шапках. Смысл случившегося овладевал сознанием, рождая тихую радость и нетерпеливое ожидание утра.

После ужина Зиночка позвала меня в канцелярию.

— Слушай, ты хороший мальчишка. Тебя били за то, что … ну, у тебя национальность другая? Молчишь? Знаю, били и обзывали. Я тут оформляю бумаги. Зачем вам эта национальность? При коммунизме национальностей не будет. Напишу-ка я везде — русский, тебе и твоей сестре с братом. Согласен? Вот и прекрасно. Давай и отчество ваше на русский переведем, Ивановичами вас запишу. Благодарить меня будешь всю жизнь за это. Иди и будь счастлив, если сможешь.

Тот вечер казался вечностью. По долям секунды перебирал я оставшееся до отбоя время. Чуть молчаливее, чуть бесстрастнее, чем обычно, прибрели в спальню. Словно ничего не случилось, и мы не в последний раз заваливаемся в свои постели.

Спать не хотелось, слишком велико было возбуждение. И оно вылилось захватывающим, безудержным пением:

… Будь проклята, ты Колыма …

Нам потребовались эти полные ярости и скорби строки, чтобы снять глубоко спрятанное потрясение случившимся. Мы тянули высоко, согласно.

Потом прорвало. Едва отзвучит одна песня, наперебой предлагали и заводили другую. Чего только не вспоминалось?!

Пели протяжно, тонким, звенящим многоголосьем, упиваясь родными, въевшимися в плоть и кровь звуками. Панихидная проникновенность пения захватила нас словно застенчивое и благодарное рыдание на коленях перед вспомнившем о нас мире. Я отрешился от мыслей, едва ли воспринимал смысл слов. Все во мне взволнованно отзывалось на это надсадное завывание; с ним столько связано, пережито, переплакано.

Угомониться не могли долго. Поминальный стон и мольба бились в груди. Мы безумствовали, исходя скорбными звуками. Далеко за полночь, охрипшие, растроганные и совершенно опустошенные истово твердили одно и то же:

Приемник, — все ночи полные огня.
Приемник, — зачем ты загубил меня?
Приемник, — я твой бессменный арестант.
Пропали детство и талант
В стенах твоих.

Так мы прощались с ДПР, с бесконечным двухлетием, с кратким, как вздох, детством.

Мутный предрассветный туман льнул к светлеющим окнам. Неужели отмаялись, неужели расстаемся с постылым домом призрения, неужели прибыли чудо путевки? Может быть утром объявят о допущенной ошибке, об отсрочке отъезда, и все встанет на свое место.

Странное наваждение вязалось во мне: спеть бы наши песни всем людям! Рассказать бы о тоске и грезах, о негаснувшем огоньке надежды, о заоконном мире с бесстрастной колокольней, о нестерпимой боли в заплаканных глазах лагерниц. Эту боль я понес с собой вместе с предначертанием, звучавшем во мне как набат судьбы: донести обо всем!

Я словно воспарил над временем и одним взглядом охватывал разрозненные картины прошлого: припухающие на смердящих матрасах тряские доходяги, порабощенные неодолимым страхом дикой тьмы с ее вечными законами силы; искаженные злобой и плачем детские лица; кровные пайки,

вырываемые из наших ртов; грязный, цвета чернозема, комочек давленого мякиша в прозрачных руках Царя!

Только рассказав, можно рассчитаться с непозабытым, неискупленным, непрощенным. Только написав, можно обрести покой и согласие в своей душе. Может быть, я за тем и родился на белый свет, один из многих тысяч ровесников уцелел в блокаду, продрался сквозь мрак ДПР и нож Горбатого, чтобы сделать свою память памятью общей, ее несмываемой частицей.

Тьме не удалось сломать нас окончательно, взять измором и жестокостью, ее железная хватка ослабла. Почаще бы такое случалось в жизни! Но два года таятся за спиной, от них не отмоешься. Слишком много скопилось в нас горечи, слишком глубоко проникла она, чтобы раствориться в ущербном тепле сбывшейся надежды.

Много ли два года? Жизнь растаскивается по денечку, по годочку, но каждый убитый день не выпадает бесследно. Он тащится сзади тяжким грузом невежества или сожалений. Можно ли наверстать упущенное? Можно ли отыскать утраченное? Бывает, что исток этого беспокойства прослеживается до недетских мыслей, полыхавших в мозгу взбудораженного мальчонки.

Брешь ДПР ничем не залатать, никак не превозмочь. Она зияет неодолимой препоной несовместимости. Ушедших вперед никогда не догнать, как ни лезь из оглобель, как ни меняйся.

Отбывающих разбудили чуть свет. По спящему дому заскрипели кровати, застучали шаги, загукали отдаленные голоса.

Обеспокоенная тетя Дуня занялась беспорядочными раскопками груды узлов с домашними пожитками воспитанников. Удивленно разводила руками, один за другим вскрывая почти пустые мешки, прятала блудливые глазки, вообще не обнаружив нужного барахлишка. Она взмокла от усердия и отчаяния, а когда законно приодеть нас не удалось, с видом обреченного принялась вытряхивать все мешки подряд и бойко отбирать подходящие шмотки; только бы поскорее покончить с этим грязным делом!

Большинство мешков тиснули еще прошлой зимой, но мой тетя Дуня отрыла. В нем остались две вещи: изжеванная нижняя сорочка с большим ржавым пятном на груди и штаны с дырой на заду. Из-за этих приметных отличий они, видимо, и сохранились.

Я скинул казенное бельишко и, извиваясь ужом, без нижнего белья вскользнул в родную дранинку. Манжеты рукавов рубашонки накрепко сжали локти, порточины едва прикрывали колени. Трещали швы, норовя расползтись и выставить меня

всему свету в чем мать родила. Сзади сквозь треугольную прореху белела попка.

— Выброси эту шваль! — пытался вразумить меня Толик. — Пяль клейменые шкары. Не заметят!

Так поступили многие. Я же преодолел нехитрый соблазн следовать совету Толика. От штанов и рубашки исходил давно забытый домашний запах, и я не мог оставить единственные, принадлежащие мне до конца без оговорок и сторонних притязаний вещи, не мог изменить последней, зримой и осязаемой памяти.

Я не стянул драных штанов. Тетя Дуня специально для меня отыскала ощетинившиеся гвоздями отставших подметок корочки. С великим трудом засадил я ноги внутрь.

Хлопотливые сборы завершились прощальным построением под окнами приемника. В сивом тумане потерялись деревья, конюшня, дальняя оконечность двора. Голубоватым маревом окуталась река. Казалось, мы очутились на дне морском, и толща воды рассеивает сквозящий свет невидимого солнца. Внезапно в вышине блеснул длинный косой луч, и стало видно, как мощно солнце сосет туман, как тянется он вверх и пропадает в открывающейся синеве, как медленно выпрастывается колокольня по грудь в пенных причудливых хлопьях.

Поеживаясь в сыроватой прохладе, ждали мы прощальных напутствий. Как и два года назад я крепко держал за руки брата и сестру.

Вдруг в застойной тишине двора взметнулись, постепенно нарастая, гулкие удары, крики, дребезжание. Окна спален облепили дети. Они махали полотенцами, шлепали по рамам, пищали. Расплющенные носы прижимались к стеклам, горящие глазенки сверкали возбужденно, участливо.

Распахнулась одна из створок, за ней пораскрывались и другие. Прощальные вопли вырвались наружу. Над унылым, подернутым белесой дымкой тумана двором расплескался нестройный хор громких голосов. Он дробил хрупкую тишину свежего утра, он дарил нам никогда не произносимые и не слышанные в ДПР слова:

— Счастливо!

— Не забывайте нас!

— Просите за нас! Пусть шлют путевки!

— Вызволяйте!

— Еще увидимся!

— До встречи!

Придется ли встретиться? Кто мог знать? Жизнь разводит нас по своим прихотям. Что-то трогательно счастливое трепетало во

мне, теплая удушливая боль подступила к горлу. Я запрокинул лицо к белесой синеве, изо всех сил стараясь унять эту сладкую боль, совладать с ней.

Вот когда мы почувствовали, как сроднились с приемником. Не этот ли осточертевший дом мечтали мы спалить, раскатать по бревнышку? Даже сейчас, в звездный час расставания не терпелось пришпорить время и поскорее утопать отсюда, как от проклятого гиблого места.

Возможно, я что-то прозевал и не допонял, возможно, нас здесь любили и считали родными? Обнажился скрытый, мозжащий нерв, и стало жаль привычный кров, где столько пережито, где малыши подросли, а мы, старшие, повзрослели.

Почему же так больно? Неужели теплота и искренность проводов мгновенно стерли все неприятное и ненавистное? Нужно было навсегда распрощаться с родными лицами детей, с домом и речкой, со слезами и поруганным детством.

Мы нашли здесь двухлетний приют и оставляли его с щемящим чувством привязанности к родному углу. Мы — отпрыски и выкормыши приемника. Мы прикипели к нему всей душой, всей наскучившей живой плотью, пустили здесь корни. Едва принялись ростки нашей жизни, пришлось расставаться навсегда, отрывать от сердец толику любви и родины, не утраченные несмотря ни на что!

Да воздастся всем, чье детство опалил тот пожар, за терпеливое неведение! Да изживем мы скверну из своих душ и обретем очищение! Да зачтутся нам злосчастные дни и ночи опоганенного детства!

Я противился охватившему меня плачу, но как ни запрокидывал голову, слезы обратно не закатывались. Все слилось у меня перед глазами. Горячий комок жгучих рыданий вырвался наружу.

Теплые слезы залили щеки и, остывая, поползли в рот и за шиворот. Задыхаясь, я сглатывал их солоноватые струйки, и было стыдно перед ребятами и взрослыми. Глядя на меня, зашморгали носами брат и сестра.

Растроганная тетя Дуня ткнулась лицом в ладони и заголосила, как по собственным детям. Сопровождающую нас эвакуаторшу проняло так, что она с воем бросилась в дом унимать рыдания. Две огромных прозрачных слезинки сорвались с точеных щек Зиночки, изваянием замершей у крыльца. Влажные потеки расползались по погасшему лицу Марухи. Прощание выжало последнюю сырость из глаз пацанов, ни разу не

всхлипнувших за долгие годы отсидки. Обильные, облегчающие душу слезы окропили покидаемую землю. Отревелись надолго.

Кончай выть, — приказывал я себе. Ты взрослый, с приемником покончено. Будем жить как все дети. Пересекутся еще наши пути-дорожки, вспомним и споем песни задрипанного ДПР.

Брат и сестра нетерпеливо тянули меня вперед мимо Зиночки. Спохватившись, она сунула мне знакомый треугольник маминого письма.

Не чувствуя ног, костылял я в заскорузлых штиблетах, загребая отставшими подошвами прохладную пыль.

Мы выбрались на пустынную улочку и нестройной стайкой взволнованных щенят побрели к вокзалу. Меченый-перемеченый, удалялся я от пуповины, рвал ее ради жизни. Остывшие слезы докапывали с мокрых щек.

Казалось, ликующие жители города должны валом валить на улицы, как на парад, приветствовать наш отъезд, дуть в трубы и бить в барабаны. Но только прощальные вопли взгромоздившихся на подоконники детей нисходили к нам, становясь все глуше и глуше. И словно невидимая скала вырастала за нами, навсегда отсекая уже не наш мир.

> Дорогие мои!
>
> Меня усылают по этапу. Сын мой родной, ты уже большой, смотри за детьми. Держитесь вместе. Из нового лагеря сразу напишу, но скоро писем не ждите. Не печальтесь, в блокаду хуже было, а выжили. Выдюжим и теперь. Я так надеялась еще хоть разок повидаться.
>
> Обнимаю и целую вас крепко.
>
> *Ваша мама.*

Слез больше нет, кровью скоро выть буду.

Конец

1979–1983, Ленинград

Выдержки из рецензий

«Октябрь» № 1, 1990. Писатель Руслан Киреев: «История … рассказана просто и жестко. Тут веришь каждому слову … Так пишут обычно свою первую книгу. Так пишут последнюю свою книгу. Пишут, как живут, — один-единственный раз».

«Знамя» № 6, 1990. Критик Ирина Васюченко: «… Впрямь есть что-то от чуда в отваге и вдохновении И. Поляка, описавшего неописуемое … Автор размышляет скорее о трагизме человеческого удела, чем о конкретных проблемах прошлого или настоящего. Правда черты изображаемой эпохи, психологические и бытовые, схвачены им превосходно. Но больше всех потрясающих фактов, душераздирающих подробностей поражает неистовая и торжественная сосредоточенность, с какой писатель вглядывается, вслушивается в былое … Его свидетельство вдруг оказывается … поэтическим. Да, проза И. Поляка, рискованно сочетающая высокую книжную лексику и низкопробный жаргон несет мощный заряд поэзии … Изображение никогда не равно самому себе, отсюда сильный и сложный эффект двойного зрения … Образы повести двоятся, под скотскими мордами приоткрываются человеческие лица … В повести И. Поляка, художнически чуткого к языку, природа насилия над словом и личностью одна. Кроме простой сюжетной связи … здесь ощущается зависимость более глубокая, мировоззренческая … Невозможно назвать повесть И. Поляка жестокой. Она страшная, да. Но, по правде говоря, я давно не читала ничего добрее».

Редакция «Октября»: «Повесть Ильи Поляка была найдена нами в «самотеке», и уже в этом — редкая удача и для журнала, и для автора».

«Еврейский Журнал», Октябрь, 2000. Редактор Юлия Жорова: «Книга Поляка — это также приключенческая история с интригующим сюжетом».

«Большой Вашингтон» № 2(11), 1998. Главный редактор Сергей Кузнецов: «Если сказать, что чтение романа вызывает потрясение или шок, значит ничего не сказать … Автор мужественно, не щадя ни себя, ни других, словно бы взрывает сладкую завесу детства. И мы видим Откровение. Это страшное Откровение. Его нужно читать … Сквозь весь роман прослеживается мысль автора, что он выжил … только благодаря помощи свыше, оказанной ему для того, чтобы он описал все это. Автор отлично исполнил свою миссию».

На журнальную публикацию «Октября» ссылаются ученые-филологи нового направления российской лингвистики —

«Фольклор ГУЛАГа».

Выдающийся фольклорист профессор Б. Н. Путилов в своей монографии «Фольклор и народная культура» (СПб.: Наука, 1994) пишет: «С трудом поддается изучению, хотя и прокламируется учеными, особая психолого-оздоровительная роль фольклора как спасения от разного рода репрессивных давлений, которые навязываются личности обществом. Примерами здесь могут, по-видимому, служить типовые ситуации, связанные с бытованием фольклорных текстов в экстремальных условиях. В повести И. Поляка «Песни задрипанного ДПР», которую мы вправе рассматривать как достоверный документ времени, представлен мир, где такая экстремальность выступает нормой быта: в приемнике-распределителе собраны дети, пережившие потерю семей, аресты родителей, беды войны. Голодное существование, полное бесправие младших и дикое самоуправство старших, нравственный распад еще не сформировавшихся личностей — такова обстановка, в которой существует свой фольклорный репертуар: блатные песни, изощренные ругательства, циничные клятвы и рассказы о «героических» делах на «воле». Но на этом беспросветном фоне выделяются песни, которые — на языке той же среды, но романтизированном, очищенном — вносят совершенно другие мотивы, вызывающие сильнейшую эмоциональную разрядку у замордованных жизнью детишек».

Международная конференция «Фольклор ГУЛАГа» (Санкт Петербург, ноябрь 1992 г.). Б. Н. Путилов, «Фольклор ГУЛАГа как факт культуры»: «Без образцов такого речевого фольклора не обходится ни один литературный текст на темы ГУЛАГа. Упомяну здесь лишь не столь известную повесть Ильи Поляка «Песни задрипанного ДПР» («Октябрь», 1990, № 1), насыщенную образчиками и речевого фольклора, и фольклора песенного. Ценность его примеров — в том, что они открываются нам в живом контексте, в атмосфере вовлеченного в ГУЛАГ детства».

На книгу имеются многочисленные ссылки в словаре М. А. Грачева и В. М. Мокиенко «Историко-этимологический словарь воровского жаргона», Санкт-Петербург, Фолио-Пресс, 2000.

В историко-теоретическом журнале «Киноведческие записки», № 78, 2006 год, Н. Шафер называет повесть «исповедальной», «повествованием о пленниках собственного отечества».

Автобиография

1937: Родился в Уфе, куда мой отец был сослан как иммигрант из Румынии. Сюда же в 1935 году в потоке массовых репрессий после убийства Кирова была сослана (из Ленинграда) моя мать.

1941–1942: Житель блокадного Ленинграда (в 1989 году мне была выдана памятная медаль).

1942: Эвакуирован (полумертвым) по Дороге Жизни через Ладогу в Омск.

1946: Родители посажены в тюрьму.

1946–1948: Вместе с сестрой и братом, находясь в Лужском ДПР, был отлучен от школы на два года. Восемь раз убегал из ДПР.

1948–1951: Воспитанник Ленинградского Детского Дома № 26, Прилукская улица, дом 10.

1951 — Исключен из детдома, из школы и из комсомола за недостойное поведение.

1951–1956: Ссылка в Ишим вместе с родителями. В течение первого года наша семья, состоящая из пяти человек, жила в землянке размером 3x2,5x2 м.

1956: Снята судимость с родителей.

1957: Окончил десять классов с серебряной медалью, отучившись в семи школах пяти городов Союза.

1962: Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета.

1966: Защитил кандидатскую диссертацию.

1975: Защитил докторскую диссертацию.

1968–1989: Научный сотрудник, зав. лабораторией математического обеспечения, профессор математики.

1978, октябрь, ноябрь — научный консультант at the World Meteorological Organization, UN, Женева.

1983: Закончил повесть о ДПР.

1990: Огрызок повести под названием «Песни задрипанного ДПР» был опубликован Московским журналом «ОКТЯБРЬ», № 1, 1990.

1991–2003: Associate Professor at Texas A&M University, NASA Senior Scientist, Software Developer at several companies.

2003: Завершил карьеру ученого.

Член New York Academy of Sciences, American Statistical Association, American Mathematical Society, American Geophysical Union, American Meteorological Society.

Автор многих научных статей и четырех монографий: Ilya

Polyak, Computational Statistics in Climatology, Oxford University Press, New York, 1996; Илья Поляк, Многомерные статистические модели климата, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1989; Илья Поляк, Методы случайных процессов и полей в климатологии, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1979; Илья Поляк, Численные методы анализа наблюдений, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1975.

Автор романа «Наука и страх», Издательство «Ретро», 2010, Ст. Петербург, Россия.

Автор миниатюр «Майсы бабы Берты», журнал «Мишпоха» № 17, 2005, Витебск.

Автор повести «Песни задрипанного ДПР», «Октябрь» № 1, 1990. В жесткой конкуренции конца 80-х с выдающимися произведениями живых и умерших знаменитых российских писателей часть повести была опубликована и получила великолепные отзывы в России и США. (Версия на английском языке: Ilya Polyak, I Am Your Prisoner for Life, Vantage Press, New York, 2000.).

(С http://samolit.com/authors/1201/)

Свидетельство о публикации № 203121500023

© Copyright: Илья Поляк, 2003